

Александр ДЮМА

Сальватор



Александр Дюма
Сальватор

Издательство «РИМИС»

1863

Дюма А.

Сальватор / А. Дюма — Издательство «РИМИС», 1863

Внимание читателя, возможно, уже знакомого с героями и событиями романа «Могикане Парижа», предлагается продолжение – роман «Сальватор». В этой книге Дюма ярко и мастерски, в жанре «физиологического очерка», рисует портрет политической жизни Франции 1827 года. Король бессилён и равнодушен. Министры цепляются за власть. Полиция повсюду засылает своих провокаторов, затевает уголовные процессы против политических противников режима. Все эти события происходили на глазах Дюма в 1827—1830 годах. Впоследствии в своих «Мемуарах» он писал: «Я видел тех, которые совершали революцию 1830 года, и они видели меня в своих рядах... Люди, совершившие революцию 1830 года, олицетворяли собой пылкую юность героического пролетариата; они не только разжигали пожар, но и тушили пламя своей кровью».

© Дюма А., 1863

© Издательство «РИМИС», 1863

Содержание

Книга I	8
Глава I	9
Глава II	13
Глава III	17
Глава IV	23
Глава V	28
Глава VI	32
Глава VII	38
Глава VIII	45
Глава IX	49
Глава X	53
Глава XI	56
Глава XII	64
Глава XIII	68
Глава XIV	72
Глава XV	79
Глава XVI	83
Глава XVII	88
ГЛАВА XVIII	92
Глава XIX	99
Глава XX	106
Глава XXI	113
Глава XXII	117
Глава XXIII	127
Глава XXIV	143
Глава XXV	146
Глава XXVI	153
Глава XXVII	159
Глава XXVII I	168
Глава XXIX	175
Глава XXX	177
Глава XXXI	186
Глава XXXII	191
Книга II	198
Глава XXXIII	199
Глава XXXIV	209
Конец ознакомительного фрагмента.	215

Александр Дюма Сальватор







Alexandre Dumas

Автор фотографического портрета А. Дюма – Феликс Надар, знаменитый французский фотограф, карикатурист, романист и воздухоплаватель.

Книга I



Глава I

Скачки с препятствиями

Ранним утром 27 марта городок Кель, если, конечно, Кель можно назвать городком, был разбужен грохотом колес двух почтовых карет, которые спускались по его единственной улочке с такой скоростью, что у всех, видевших это, появилось опасение, что при въезде на наплавной мост, соединяющий немецкий берег с французским, малейшее отклонение в сторону приведет к тому, что лошади, кареты, ямщики и путешественники рухнут в реку, образующую восточную границу Франции и имеющую поэтическое название, с которым связано так много романтических легенд.

Однако обе почтовые кареты, которые до этого как бы соревновались в скорости, проехав две трети улицы, стали замедлять ход и наконец остановились перед воротами трактира, над которыми, поскрипывая на ветру, висела жестяная вывеска с изображением человека в треуголке и ботфортах, в голубом мундире с красными отворотами и огромным плюмажем. Чуть ниже шпор этого человека можно было прочесть три слова: «У Фридриха Великого».

Трактирщик и его жена, примчавшиеся к воротам едва послышался грохот колес и потерявшие уже было из-за скорости движения карет всякую надежду заполучить постояльцев, увидели с неизъяснимым удовлетворением, что кареты остановились напротив их заведения, и устремились к экипажам: трактирщик бросился к дверцам первой кареты, а его жена – к дверцам второй.

Из первой кареты выскочил мужчина лет пятидесяти, одетый в застегнутый на все пуговицы голубой редингот и черные брюки. На голове красовалась широкополая шляпа. У него были колючие усики, твердый взгляд, постриженные ежиком волосы, густые, красиво изогнутые, черные, как и глаза, брови. Виски и усы были уже слегка тронуты сединой. Он кутался в огромную шубу.

Из второй кареты с величавым достоинством вылез рослый молодец, насколько об этом можно было догадываться по его телу, одетому в польскую куртку с золотыми шнурами и укутанному с головы до ног в венгерское меховое манто с вышивкой. Такую одежду называют там шубой.

Глядя на столь богатое одеяние, ту непринужденность, с которой она носилась, на достоинство, написанное на лице того, кто носил это одеяние, можно было поспорить, что путешественник был валахским господарем, прибывшим из Ясс или из Бухареста, или по крайней мере богатым мадьяром из Пешта, направлявшимся во Францию для ратификации какого-нибудь дипломатического документа. Но поспоривший тут же понял бы, что проиграл, рассмотрев этого благородного путешественника более тщательно. Ибо, несмотря на густые обрамлявшие лицо бакенбарды, несмотря на огромные закрученные кверху усы, которые незнакомец покусывал с ярко выраженной беззаботностью, пристрастный наблюдатель быстро смог бы узнать под этой аристократической внешностью первейшие признаки простоты и вульгарности, которые моментально опустили бы незнакомца с приписанного ему вначале ранга принца или аристократа до уровня интенданта богатого господина или третьеразрядного офицера.

Действительно, читатель уже без труда узнал в пассажире первой кареты господина Сарранти и не сомневаемся в том, что богатое одеяние не скрыло личности мэтра Жибасье, вылезшего из второй кареты.

Мы помним, что господин Жакаль, уезжая с Карманьолем в Вену, велел Жибасье ждать господина Сарранти в Келе. Жибасье проболтался на почтовом постоялом дворе четыре дня, а на пятый день примчавшийся фельдьегерем Карманьолю сообщил ему по поручению Жакаля, что господин Сарранти должен прибыть утром двадцать шестого, и ему, Жибасье, следует

отбыть в Штайнбах, где его будет ожидать у гостиницы под названием «Солнце» почтовая карета, в которой он найдет все необходимое для переодевания и исполнения полученных инструкций.

Инструкции эти были довольно простыми; но, несмотря на свою простоту, выполнить их оказалось не так легко: Жибасье надлежало всю дорогу следовать, как тень, за каретой господина Сарранти, а по приезде в Париж не выпускать его из поля зрения. И все это надо было сделать так, чтобы у господина Сарранти не возникло ни малейшего подозрения, что за ним следят.

Господин Жакаль рассчитывал, что в этом Жибасье помогут известная способность последнего менять одежду и облик.

Жибасье немедленно выехал в Штайнбах, разыскал гостиницу и карету, а в карете – целый ворох одежды, из которого он выбрал самый теплый наряд: тот, что мы описали, когда он вновь предстал нашему взору.

Но, к огромному своему удивлению, ни днем, ни вечером двадцать шестого он не увидел путешественника, который соответствовал бы данному ему описанию.

Наконец, часа в два ночи, он услышал щелканье кнута и звон бубенцов. Жибасье приказал заложить свою карету. И пока кучер запрягал лошадь, он смог убедиться, что в создавшем шум экипаже приехал именно господин Сарранти. Убедившись, что тот от него не ускользнет, Жибасье приказал ямщику не спеша трогать.

Через десять минут господин Сарранти, выпив бульон, пока меняли лошадей, выехал в том же направлении, вслед за тем, кому было поручено следовать за ним.

Случилось так, как и предвидел Жибасье. В двух лье от Штайнбаха карета господина Сарранти догнала карету Жибасье. Но поскольку почтовые правила не разрешали второму путешественнику обгонять первого без его согласия, ибо в таком случае обогнавший мог забрать единственных свежих лошадей на ближайшей почтовой станции, обе кареты некоторое время ехали друг за другом, и ямщик кареты господина Сарранти не осмеливался обгонять карету Жибасье. Наконец, сгоравший от нетерпения Сарранти попросил у Жибасье разрешения обогнать его. Разрешение было дано с такой любезностью, что господин Сарранти вылез из кареты специально для того, чтобы лично поблагодарить венгерского дворянина. После взаимных уверений в добром расположении и поклонов господин Сарранти уселся в свою карету и, окрыленный полученным разрешением, помчался со скоростью ветра.

Жибасье последовал за ним, приказав кучеру ехать с такой же скоростью, что и карета господина Сарранти.

Кучер послушно выполнил приказание, и, как мы видели, обе кареты галопом примчались в городок Кель и остановились перед воротами трактира «У Фридриха Великого».

Любезно раскланявшись, но не обменявшись ни словом, путешественники вошли в помещение трактира, прошли в столовую, сели за разные столики и потребовали подать завтрак. Господин Сарранти сделал это на великолепном французском, а Жибасье с очень сильным немецким акцентом.

Продолжая молчать, Жибасье брезгливо отведал все блюда, которые ему подали, заплатил по счету и, увидев, что господин Сарранти поднялся, медленно встал и направился к своей карете.

И кареты вновь начали бешеную гонку. Впереди мчалась карета господина Сарранти, но карета Жибасье отставала от нее не более, чем на двадцать метров.

Ямщик господина Сарранти, у двоюродного брата которого только что родился первый ребенок, решил, что очень неразумно покидать праздничный ужин ради того, чтобы скакать одиннадцать лье (туда и обратно) до следующей почтовой станции. Будучи предупрежден своим приятелем о желании пассажира ехать быстро и о хорошей плате за услугу, он пустил коней в карьер, намереваясь сэкономить часа полтора на двух прогонах и вернуться как раз к

началу танцев. Вечером, при подъезде к Нанси, на спуске лошади, ямщик и карета неожиданно перевернулись с такой колоссальной силой, что при виде этого зрелища из груди чувствительного Жибасье вырвался крик боли и он выскочил из своей кареты, чтобы прийти на помощь господину Сарранти.

Жибасье действовал так только для успокоения совести, ибо был уверен, что в результате такого падения пассажиру скорее потребуется утешение священника, нежели помощь спутника.

К огромному своему удивлению, он увидел, что господин Сарранти остался цел и даже невредим. Да и ямщик отделался только вывихом руки и ушибом ноги. Но, если Провидение, оказавшись доброй матерью, спасло людей, оно не пощадило бедных животных: одна лошадь умерла на месте, у другой была сломана нога. Одна ось кареты была сломана, а та сторона, на которую пришелся удар при падении, была похожа на стиральную доску.

Поэтому и речи не могло быть о том, чтобы продолжать путь.

Господин Сарранти изрыгнул несколько ругательств, которые показали, что он не отличается ангельским терпением. Ему пришлось бы, скрепя сердце, смириться с судьбой, если бы мадьяр Жибасье на полунемецком, полуфранцузском наречии, что, по правде говоря, не напоминало ни один, ни другой языки, не предложил бы своему несчастному спутнику продолжить путешествие в его карете.

Предложение было очень своевременным и, казалось, шло от чистого сердца. Поэтому господин Сарранти принял его не раздумывая.

Багаж из опрокинувшейся кареты был перенесен в карету Жибасье, ямщику пообещали прислать помощь из видневшегося всего в одном лье Нанси, и карета продолжила путь все с той же бешеной скоростью.

После обмена любезностями Жибасье, не уверенный в своем немецком и опасавшийся, что господин Сарранти, хоть он и корсиканец, прекрасно знает этот язык, так вот Жибасье стал тщательно избегать всяких расспросов и на все проявления любезности своего спутника ограничивался ответами да или нет, произнося эти междометия с акцентом, более или менее напоминающим французский язык.

По прибытии в Нанси путешественники остановились в гостинице «Великий Станислав». Она же была постоялым двором.

Господин Сарранти, выйдя из кареты, снова поблагодарил спутника-венгра и хотел было уйти.

– Вы неправы, мсье, – сказал ему Жибасье. – Я вижу, что вы торопитесь в Париж. Но вашу карету вряд ли починят до завтрашнего дня. Таким образом, вы потеряете целый день.

– Это меня тем более расстроило, – произнес Сарранти, – ибо подобное происшествие со мной уже случилось при выезде из Ратисбонна. И я уже потерял сутки.

Только теперь Жибасье понял причину столь обеспокоившего его опоздания господина Сарранти в Штайнбах.

– Но, – продолжал господин Сарранти, – я не стану ждать, пока починят мою карету. Я лучше найму новую.

И он велел станционному смотрителю найти для него любое средство передвижения: карету, коляску, ландо, пусть даже кабриолет, на котором он смог бы немедленно тронуться в путь.

Жибасье подумал, что, как бы скоро ни была найдена повозка, но, пока его спутник будет осматривать ее, торговаться и перегружать свои вещи, у него есть время перекусить. Последний раз он ел в восемь утра в Келе. И, хотя его желудок мог в случае крайней необходимости соперничать в неприхотливости с желудком верблюда, осторожный Жибасье, предвидя такую возможность, никогда не упускал случая заправиться.

Господин Сарранти вне сомнения счел нужным предпринять те же меры предосторожности, что и этот достойный венгр. Поэтому оба путешественника, сев, как и утром, каждый за свой стол, позвонили, вызывая официанта, и тоном, выразившим похвальное единодушие взглядов, произнесли только два слова:

– Официант, ужинать!

Глава II

Гостиница «Великий турок», площадь Сент-Андре-Дез-Арк

Тем, кто удивится тому, что человек, так спешивший, как господин Сарранти, отказался от любезного предложения Жибасье, скажем, что если и есть на свете кто-нибудь хитрее самого хитрого полицейского, это тот человек, за кем следит полицейский.

Сами понимаете: лиса и гончая.

А значит, у господина Сарранти зародились кое-какие, неясные пока, подозрения относительно этого так плохо говорящего по-французски венгра, который, однако, довольно складно отвечал на все, что слышал на французском, и в то же самое время, когда к нему обращались по-немецки, по-польски или же по-валахски (а господин Сарранти великолепно знал эти три языка), отвечал невпопад по-немецки да или же нет, кутался в свою шубу и делал вид, что дремлет.

Этих подозрений хватило для того, чтобы, чувствуя себя не в своей тарелке, пока они вместе ехали полтора лье от места поломки кареты до постоянного двора, где решили отужинать, господин Сарранти был полон решимости любыми путями отделаться от своего любезного, но уж слишком молчаливого спутника.

Вот почему, не желая ждать, пока починят карету, он приказал найти ему любую повозку и отказался садиться в карету благородного венгра.

Жибасье сам был слишком хитер, чтобы не заметить этой перемены в поведении господина Сарранти. И поэтому, продолжая ужинать, он велел заложить лошадей, объяснив, что ему необходимо быть на следующий день в Париже, где его с нетерпением ожидает австрийский посол.

Когда доложили, что лошади готовы, Жибасье, попрощавшись царственным жестом с Сарранти, напялил на голову свой меховой колпак и вышел на улицу.

Поскольку господин Сарранти очень торопился, он вполне мог поехать по прямой дороге. По крайней мере до Линьи. Там он, без сомнения, объедет слева Бар-сюр-Дюк и проследует по дороге на Ансервиль до Сен-Дизье и Витри-ле-Франсе.

А вот маршрут его после Витри-ле-Франсе был неясен. Поедет ли оттуда господин Сарранти в объезд через Шалон или же захочет проследовать по прямой через Фер-Шампе-нуаз, Куломьер, Креси и Ланьи?

Это можно было выяснить только в Витри-ле-Франсе.

Поэтому Жибасье велел ямщику ехать через Туль, Линьи и Сен-Дизье. Но в полулье от Витри он завел разговор с незадачливым кучером, в результате которого его карета оказалась лежащей на боку с поломанной передней осью.

В таком плачевном, но очень заметном положении она пролежала около получаса. Потом на вершине холма появилась почтовая карета господина Сарранти.

Подъехав к опрокинутой карете, господин Сарранти высунул голову из окна и увидел на дороге своего мадьяра, безуспешно пытавшегося с помощью ямщика поставить карету на колеса.

Со стороны господина Сарранти было бы очень невежливым оставить Жибасье в таком затруднительном положении, коль скоро тот предложил господину Сарранти в аналогичной ситуации помощь и место в своей карете.

Поэтому господин Сарранти, в свою очередь, предложил сесть к нему в карету. Жибасье скромно принял это предложение, сказав, что в Витри-ле-Франсе он избавит господина де Борни (господин Сарранти путешествовал под этой фамилией) от своего назойливого присутствия.

Кучер погрузил в карету господина де Борни огромный чемодан мадьяра, и спустя двадцать минут карета въехала в Витри-ле-Франсе.

Путешественники остановились на постоялом дворе.

Господин де Борни велел подать лошадей, а Жибасье попросил найти ему какую-нибудь коляску, чтобы незамедлительно продолжить свой путь.

Станционный смотритель показал ему старый кабриолет, который сразу же устроил Жибасье.

Господин де Борни, успокоившись относительно судьбы своего спутника, попрощался с ним и велел ямщику, как и предполагал Жибасье, ехать по дороге на Фер-Шампенуаз.

Жибасье закончил торговаться со станционным смотрителем и велел ямщику следовать той же дорогой, по которой только что укатила другая карета. Он пообещал ямщику пять франков, если тот нагонит ее.

Ямщик пустил коней в галоп, но, прибыв на следующую почтовую станцию, Жибасье так и не увидел карету господина Сарранти.

Станционный смотритель и находившийся там ямщик ответили, что ни одна карета здесь не проезжала.

Все было ясно: Сарранти принял меры предосторожности. Сказав, что поедет на Фер-Шампенуаз, он свернул на дорогу в Шалон.

Жибасье потерял след.

Нельзя было медлить ни минуты. Он должен был прибыть в Мо раньше Сарранти.

Жибасье оставил на станции свой кабриолет, достал из чемодана синюю с золотом одежду министерского фельдъегеря, надел лосины, мягкие сапожки, прицепил на спину сумку для почты, отклеил бороду и усы и потребовал верховую почтовую лошадь.

Лошадь была оседлана в мгновение ока. Жибасье вскочил в седло и помчался по дороге на Сезан, рассчитывая прибыть в Мо через Ферте-Гошер и Куломье.

Без остановки он проскакал тридцать лье и прибыл к городским воротам Мо.

Там он узнал, что ни одна карета не соответствовала его описанию и в город не въезжала.

Жибасье спешился, велел подать ужин на кухню и стал ждать.

Лошадь он оставил запряженной.

Спустя час к почтовой станции подкатила карета, которую он с таким нетерпением ждал.

Стояла темная ночь.

Господин Сарранти велел подать ему бульон в карету, наскоро перекусив, он приказал ямщику ехать в Париж через Клей. Этого Жибасье было достаточно.

Выйдя через черный ход, он вскочил на коня, проехал по узенькой улочке и оказался на парижском тракте.

Спустя десять минут показались фонари почтовой кареты, в которой ехал господин Сарранти.

Жибасье именно это и было нужно: он мог наблюдать за каретой, оставаясь невидимым. Теперь надлежало сделать так, чтобы его и не было слышно.

Он ехал по обочине, сохраняя километровое расстояние между своей лошастью и следовавшей за ним каретой.

Так они прибыли в Бонди.

А там чудесным образом фельдъегерь превратился в ямщика и с помощью пяти франков уговорил ямщика, чья очередь была выезжать, уступить ему свое место. Что и было сделано с благодарностью.

На почтовую станцию прибыл господин Сарранти.

До Парижа было довольно близко, и он не хотел задерживаться. Высунувшись из окошка кареты, он потребовал поменять лошадей.

– Сейчас дадим вам лошадей, хозяин, и самых лучших! – сказал ему Жибасье.

Он держал под уздцы двух великолепных белых першеронов, которые ржали и били копытами.

– Ну, не балуй, волчья сыть! – крикнул Жибасье, заводя жеребцов в упряжку с ловкостью профессионального ямщика.

Затем, когда лошади были запряжены, лжеямщик, сняв шляпу, приблизился к дверце кареты и спросил:

– А куда вас доставить в Париже, хозяин?

– Площадь Сент-Андре-дез-Арк, гостиница «Великий турок», – сказал господин Сарранти.

– Ладно, – произнес Жибасье, – считайте, что вы уже там.

– И когда же это случится? – спросил господин Сарранти.

– О! – буркнул Жибасье, – через час с четвертью примерно.

– Погоняйте скорее! Я прибавлю вам десять франков, если мы будем на месте через час.

– Через час мы там будем, хозяин.

Жибасье вскочил на козлы и пустил лошадей с места в карьер.

На сей раз он был уверен, что Сарранти от него не скроется.

Вскоре они подъехали к городской заставе. Таможенники быстро произвели досмотр, которым они устаивают обычно людей, путешествующих на перекладных, произнесли свое сакраментальное «*проезжайте!*», и господин Сарранти, выехавший семь лет назад из Парижа через заставу у Фонтенбло, вернулся во французскую столицу через заставу Птит-Вийет.

А уже через четверть часа карета галопом въехала во двор гостиницы «Великий турок» на площади Сент-Андре-дез-Арк.

В гостинице оказалось лишь два свободных номера, расположенных один напротив другого на одной лестничной клетке: № 6 и № 11.

Коридорный гостиницы повел господина Сарранти в номер шестой.

Когда он спустился вниз, Жибасье окликнул его:

– Эй, приятель!

– Что тебе нужно, ямщик? – презрительно отозвался коридорный.

– Ямщик, ямщик! – повторил Жибасье. – Ну и что из того, что я – ямщик? Это что – позорная профессия?

– Вроде бы нет. Но я назвал вас ямщиком только потому, что вы работаете ямщиком.

– Ну тогда ладно!

И Жибасье, ворча, направился было к лошадям.

– А что, собственно, вам от меня было нужно? – спросил вдогонку коридорный.

– Мне? Ничего...

– Но ведь вы только что сказали...

– Что?

– Эй, приятель!

– А! Ну да... Тут дело такое: господин Пуарье...

– Какой господин Пуарье?

– Ну, господин Пуарье, как же!

– Не знаю я никакого господина Пуарье.

– Господин Пуарье, владелец фермы в наших краях, неужели не знаете? У господина Пуарье стадо в четыре сотни голов! И вы не знаете господина Пуарье?!.

– Я же вам уже сказал, что не знаю.

– Тем хуже для вас! Так вот, он приедет сюда в одиннадцатичасовой карете из Пиат-д'Этен. Вы, надеюсь, знаете расписание прибытия кареты из Пиат-д'Этен?

– Нет.

– А что вы тогда вообще знаете? Чему научили вас ваши отец и мать, если вы не знаете ни господина Пуарье, ни кареты из Пиат-д'Этен?.. Да, надо признать, это недосмотр со стороны ваших родителей.

– Ну так что же вы хотите сказать по поводу господина Пуарье?

– А! Так вот, я хотел было передать вам сотню су от господина Пуарье... Но, поскольку вы с ним не знакомы...

– Но мы ведь можем и познакомиться.

– Ну, если вы его не знаете...

– Ладно, но почему это он решил вручить мне сто су? Ведь не за мои же прекрасные глаза!

– О, конечно же, нет, тем более что вы косоваты, дружок!

– Это не важно! Но зачем же это господин Пуарье поручил вам передать мне сто су?

– Затем, чтобы вы оставили ему комнату в гостинице. У него какие-то дела в предместье Сен-Жермен, вот он и сказал мне: «Шарпильон!..» Это наша фамилия, она перешла ко мне по наследству от отца, а ему от деда...

– Очень приятно, господин Шарпильон, – ответил коридорный.

– Так вот, он мне сказал: «Шарпильон, отдай сто су девице из «Великого турка», что на площади Сент-Андре-дез-Арк, и пусть она придержит для меня комнату». Так где же девица?

– Искать ее не имеет смысла. Я точно так же могу оставить для него номер.

– Ну нет! Вы ведь его не знаете...

– А мне и не надо его знать для того, чтобы оставить ему комнату.

– Точно! А вы далеко не так глупы, как кажетесь на первый взгляд!

– Спасибо!

– Вот ваши сто су. Вы, надеюсь, узнаете его, когда он приедет?

– Господина Пуарье?

– Да.

– Особенно, если он назовет себя?

– Конечно же, назовет! У него нет причин скрывать свое имя.

– Тогда его проводят в комнату номер одиннадцать.

– Когда увидите добродушного толстяка в кашне, закрывающем половину лица, и в плаще из коричневого кастора, можете смело говорить: «Это господин Пуарье». А теперь, спокойной вам ночи! Хорошенько натопите номер одиннадцать, потому что господин Пуарье плохо переносит холод... Ах, да, вот еще что... Полагаю, что он будет доволен, если найдет в комнате хороший ужин.

– Хорошо! – сказал коридорный.

– Ах, чуть было не забыл!.. – произнес лже-Шарпильон.

– Что еще?

– Да главного-то я вам не сказал! Он пьет только бордо.

– Хорошо! У него на столе будет стоять бутылка бордо.

– Ну, тогда больше и желать нечего. Кроме разве того, что такие глаза, как у тебя, позволяют смотреть в сторону Бонди, чтобы увидеть, не горит ли Шарантон.

И, громко захохотав, довольный своей шуткой, мнимый ямщик покинул гостиницу «Великий турок».

А спустя четверть часа перед дверями гостиницы остановился кабриолет. Из него вылез мужчина, полностью отвечающий описанию, данному Шарпильоном. Когда его признали за долгожданного господина Пуарье, он разрешил коридорному с почестями проводить себя в одиннадцатый номер. Там его ждал прекрасный ужин, а на некотором удалении от ярко пылавшего камина стояла и доходила до нужной температуры бутылка бордо, которое так ценят истинные гурманы.

Глава III

Предают только свои

Пять минут спустя господин Пуарье, обследовав все углы и закоулки, уже чувствовал себя в комнате под номером одиннадцать так, словно прожил в ней всю свою жизнь.

Господин Пуарье был очень общителен, что позволяло ему быстро сходить с людьми и привыкать к месту проживания. И все же он заявил коридорному, что не нуждается в прислуживании, предпочитает обедать в покое и одиночестве, не любит, когда в его стакан подливают вино, хотя он еще не выпит до дна, а тарелку убирают из-под носа, хотя она еще достаточно полна.

Оставшись один и дождавшись, пока на лестнице стихнут шаги удаляющегося коридорного, мнимый Пуарье или, если хотите, подлинный Жибасье, приоткрыл входную дверь.

Именно в этот момент начала открываться дверь номера господина Сарранти.

Жибасье, оставив свою дверь едва приоткрытой, прильнул ухом к косяку.

Господин Сарранти давал горничной, которая пришла готовить ему постель, указания, из которых следовало, что он вернется в номер через часок-другой.

– Ах-ах! – сказал себе Жибасье. – Похоже, что, несмотря на столь поздний час, мой сосед собирается прогуляться. Посмотрим, куда это он направится.

Погасив обе горевшие на столе свечи, Жибасье открыл окно до того, как господин Сарранти вышел на улицу.

Секунду спустя он увидел, как тот перешагнул порог гостиницы и пошел по улице Сент-Андре-дез-Арк.

– Уверен, что он вернется, – решил Жибасье. – Ведь он не знал, что я услышу его распоряжения. Однако не будем лениться! Работу надо выполнять на совесть. А посему следует узнать, куда же он идет.

Быстро спустившись на улицу, он проследовал за Сарранти по улице Бюсси, через Сен-Жерменский рынок, площадь Сен-Сюльпис и улицу По-де-Фер, где увидел, как объект наблюдения вошел в один из домов, даже не посмотрев на номер.

Жибасье был более любопытен и посмотрел: это был дом № 28.

Пройдя до конца улицы, Жибасье спрятался в нише дворца Косе-Бриссак и стал ждать.

Ожидание было недолгим: господин Сарранти очень скоро вновь показался на улице.

Но теперь, вместо того, чтобы пойти назад по улице По-де-Фер, он направился вперед, пройдя мимо Жибасье, повернувшегося к стене из стыдливости и осторожности. Потом господин Сарранти свернул на улицу Вожирар, прошел по ней до театра «Одеон», миновал вход для артистов, затем пересек площадь Сен-Ашель и, свернув на улицу Почты, подошел к какому-то дому. На сей раз он взглянул на его номер.

Этот дом читателям прекрасно знаком. А те, кто его не узнали, сейчас вспомнят, стоит нам лишь только намекнуть. Он стоит в Виноградном тупике, смотрит окнами на улицу Говорящего колодца и представляет собой нечто похожее на волшебный стакан, в котором, подобно мускатным орехам, исчезли карбонарии, столь безуспешно разыскиваемые в доме господином Жакалем, и столь чудесным образом найденные им после головокружительного спуска Жибасье.

Бывший каторжник побледнел, увидев эту знаменитую улицу, а на ней сам колодец, в котором он провел в тоске много часов. По телу его пробежали мурашки, на лбу выступили капельки холодного пота. Впервые после отъезда из Отель-Дье в Кель его охватило неприятное чувство.

Улица была безлюдной. Господин Сарранти, подойдя к дому, остановился, несомненно ожидая прихода еще четверых собратьев, без которых он не мог войти. Как мы помним, в этот дом впускали только по пять человек, ни больше ни меньше.

Вскоре на улице появились трое мужчин, закутавшихся в плащи. Они направились прямо к господину Сарранти. Обменявшись условными знаками, они стали ждать пятого.

Жибасье огляделся, желая убедиться, что пятого пока нет. Никого не увидев и ничего не услышав, он решил, что настала пора показать свое мастерство.

Зная от господина Жакаля о тайнах этого дома, знакомый с масонскими знаками всех тайных лож, он направился прямо к группе ожидавших и подал условный знак: трижды вывернул ладонь наружу.

Тогда один из четверых вставил в замок ключ и все пятеро вошли в дом.

Внутри дома все отремонтировали и покрасили. Следы прохождения Карманьоля сквозь стену и падение «Слоеного пирога» сквозь решетку были ликвидированы.

На сей раз предложение спуститься в катакомбы не поступило. Четверо не знакомых между собой предводителя были собраны здесь для того, чтобы выслушать доклад господина Сарранти.

Тот объявил им, что не пройдет и трех дней, как герцог Рейштадский прибудет в Сен-Лье-Таверну и будет скрываться там до того момента, когда настанет пора поднять знамя, за которым пойдут люди.

Поскольку члены братства использовали любую возможность для того, чтобы сбить со следа полицию, было решено, что, когда похоронные дроги герцога де Ларошфуко прибудут на следующий день, все члены масонских лож и вент карбонариев соберутся либо в церкви Вознесения, либо на прилегающих к ней улицах. Там они получают последние указания Верховной венты.

Но при любых ситуациях до прибытия кортежа с герцогом Рейштадским будет работать постоянно действующий комитет.

После этого они расстались. Шел второй час ночи.

Жибасье опасался только одного: неожиданно встретиться у дверей с тем членом масонской ложи, вместо которого он вошел в дом. Но, к счастью, того на улице не было. Он, несомненно, приходил, но, не найдя и бесполезно прождав четырех собратьев, решил, видно, что собрание перенесено, и убрался восвояси.

Господин Сарранти расстался с четырьмя своими спутниками у дверей, и Жибасье, несколько не сомневаясь в том, что тот возвратится в гостиницу «Великий турок», исчез за первым же поворотом. А потом со всех ног бросился бежать в гостиницу. Опередив Сарранти минут на десять, он уселся за стол и принялся за еду с аппетитом путешественника, только что проскакавшего без остановок тридцать пять – сорок лье, и с удовлетворением человека, добросовестно выполнившего свой долг.

И вскоре наградой ему стали звуки шагов поднимавшегося по лестнице господина Сарранти, чью поступь Жибасье уже смог бы различить из тысячи других.

Дверь комнаты номер шесть открылась и снова закрылась.

Затем до Жибасье долетел звук дважды повернутого в замке ключа. Это был верный признак того, что господин Сарранти не намерен более никуда выходить. По крайней мере до завтрашнего утра.

– Спокойной ночи, соседка! – прошептал Жибасье.

А затем вызвал коридорного.

Тот немедленно примчался на вызов.

– Завтра утром... а скорее уже сегодня, в семь часов пришлите ко мне рассыльного, – сказал ему, потягиваясь, Жибасье. – Ему надо будет доставить в город срочнейшее послание.

– Не желаете ли, мсье, отдать это письмо мне сейчас? – спросил коридорный. – Тогда вас не поднимут с постели в столь ранний час.

– Во-первых, – сказал Жибасье, – мое письмо не простая фитюлька. А во-вторых, – добавил он, – я нисколько не обижусь, если меня разбудят рано.

Коридорный покорно поклонился и убрал со стола остатки ужина. Жибасье велел слуге оставить ему великолепного холодного цыпленка и недопитую бутылку бордо, сказав при этом, что он, подобно Людовику XIV, не любил спать, не имея под рукой чего-нибудь *на всякий случай*.

Коридорный поставил на полку камина нетронутого цыпленка и начатую бутылку вина. А потом вышел, пообещав прислать рассыльного ровно в семь часов утра.

Когда коридорный ушел, Жибасье запер дверь на ключ, открыл секретер, зная заранее, что найдет там перо, чернила и бумагу, и принялся описывать для господина Жакаля свои дорожные впечатления от Кёля до Парижа.

Написав письмо, он лег спать.

В семь часов утра в его дверь постучал рассыльный.

Жибасье, уже одетый и готовый к боевым действиям, открыл дверь и крикнул:

– Войдите!

Рассыльный вошел.

Жибасье бросил на него испытывающий взгляд, и раньше, чем этот человек открыл рот, узнал в нем чистокровного уроженца Оверни. Следовательно, он мог вполне довериться ему и вручить свое послание.

Вручив рассыльному двенадцать су вместо десяти, Жибасье объяснил ему, как добраться до дворца на Иерусалимской улице, предупредив, что человек, которому следовало передать письмо, должен был возвратиться из далекого путешествия сегодня утром или же в течение этого дня.

Он предупредил его также о том, что если нужный человек вернулся, следовало вручить ему письмо от имени господина Баньереса из Тулона. Если же того человека не окажется на месте, письмо следовало передать его секретарю.

Получив все нужные сведения, овернец ушел.

Прошел час. Дверь господина Сарранти по-прежнему оставалась закрытой. Было слышно, как он ходил взад-вперед по комнате, передвигая зачем-то мебель.

Чтобы как-то убить время, Жибасье решил позавтракать.

Вызвав звонком коридорного, он велел ему накрыть на стол, подать цыпленка и остатки бордо и исчезнуть.

Только он успел воткнуть вилку в ножку цыпленка и поднести к крылышку нож, как закрипели петли двери соседа.

– Черт подери! – буркнул он, вставая из-за стола. – Мы, похоже, отправляемся на раннюю прогулку.

Бросив взгляд на настенные часы, он увидел, что они показывали четверть девятого.

– Хм! Н-да! – пробормотал он. – Не столь уж она и ранняя.

Господин Сарранти начал спускаться по лестнице.

Как и накануне вечером, Жибасье устремился к окну. Но на сей раз открывать его не стал, а только слегка раздвинул занавески. Но ждал он напрасно: господин Сарранти на площади так и не появился.

– Ах-ах! – сказал себе Жибасье. – Что же это он там внизу делает? Уж не расплачивается ли? Ведь не мог же он выйти так быстро, пока я подходил к окну... Если только, – подумал он, – ему не пришлось в голову пройти вдоль стены. Но и в этом случае он не должен был уйти далеко.

И Жибасье, быстро открыв окно, свесился, чтобы осмотреть всю площадь.

Но не увидел никого, кто бы походил на господина Сарранти.

Он подождал минуты три-четыре и, не понимая, почему господин Сарранти все еще не вышел на улицу, собрался уже было спуститься вниз и порасспросить о нем прислугу. Но в этот самый момент увидел, что открылась входная дверь и господин Сарранти, перешагнув порог, снова направился, как накануне вечером, в сторону улицы Сент-Андре-дез-Арк.

– Догадываюсь, куда ты пойдешь, – прошептал Жибасье. – Снова на улицу По-де-Фер. Ты вчера уже поцеловал закрытую дверь, сегодня ты вряд ли будешь счастливее. Я мог бы и не идти за тобой, но долг прежде всего.

Схватив шляпу и кашне, Жибасье спустился вниз, оставив цыпленка нетронутым и благодаря Провидение за то, что оно заставляло его совершить эту маленькую утреннюю прогулку, чтобы нагулять аппетит.

Но, к его огромному удивлению, на последней ступеньке его остановил человек, в котором по лицу и облику Жибасье признал младшего чина полиции.

– Ваши документы? – спросил мужчина.

– Документы? – удивленно переспросил Жибасье.

– Черт возьми! – повторил полицейский. – Вы же знаете, чтобы жить в меблированных комнатах, надо предъявлять документы!

– Правильно, – сказал Жибасье. – Но только я не думал, что для того, чтобы приехать из Бонди в Париж, нужен паспорт.

– Если у человека есть в Париже квартира или он останавливается у приятеля, то паспорт ему не нужен. Но если он живет в меблированных комнатах, он должен предъявить паспорт.

– Совершенно справедливо! – сказал Жибасье, знавший по собственному опыту лучше, чем кто-либо, что для того, чтобы найти убежище, очень нужен паспорт. – Сейчас я вам покажу мои документы.

И стал рыться в карманах своего плаща из кастора.

Но карманы были пусты.

– Куда же это я подевал мои документы? – пробормотал он.

Полицейский сделал жест, который означал лишь одно: «Уж коли человек не может сразу же найти документы, значит, их просто нет».

И знаком приказал усилить бдительность стоящим у дверей двум мужчинам, одетым в черные плащи и держащим в руках толстые трости.

– Ах, черт подери! – произнес Жибасье. – Я вспомнил, куда я их дел, эти проклятые бумаги!

– А! Тем лучше! – сказал полицейский.

– Я оставил их в трактире на почтовой станции в Бонди, когда менял наряд нарочного на одежду ямщика.

– Что?! – переспросил полицейский.

– Ну да! – со смехом подтвердил Жибасье. – К счастью, мне документы эти совсем не нужны.

– Как это – не нужны?

– А просто так!

И шепнул полицейскому на ухо:

– Я свой!

– Свой?

– Да! И пропустите меня поскорее!

– Ах-ах! Вы, видно, торопитесь?

– Я должен кое за кем проследить, – сказал Жибасье и заговорщически подмигнул.

– Вы за кем-то следите?

– Я слежу за одним очень опасным заговорщиком.

– Правда? И кто же он?

– Черт вас возьми! Вы его видели: это тот человек, который только что вышел. На вид лет пятидесяти, усы с проседью, волосы ежиком, военная выправка. Вы его разве не видели?

– Видел!

– Так вот, – сказал со смехом Жибасье. – Вы должны были арестовать его, а вовсе не меня!

– Да, но поскольку у него документы были в полном порядке, я отпустил его. А поскольку у вас вообще нет никаких документов, я вас арестую.

– Как? Арестуете меня?!

– Конечно! А вы как думали, неужели мне что-нибудь помешает это сделать?

– Вы меня арестовываете?!

– А кого же еще!

– Меня, личного агента господина Жакаля?!!

– Докажите это!..

– Ладно! Доказать это мне будет совсем нетрудно.

– Тогда докажите немедленно!

– Да пока я буду это делать, – вскричал Жибасье, – человек, за которым я слежу, скроется!

– Понимаю. И вы бы тоже не прочь это сделать.

– Что? Скрыться? Да зачем же мне это нужно? Вы меня, очевидно, не знаете! Нет уж, я-то скрываться не стану. Я нахожу мое новое положение очень приятным...

– Ну, хватит болтать! – сказал полицейский.

– Как? Хватит болтать?..

– Да, хватит! Или вы следуете за мной, или...

– Или что?

– Или мы будем вынуждены прибегнуть к силе.

– Но ведь я вам уже сказал, – повторил, бледнея от злости, Жибасье, – что я являюсь личным агентом господина Жакаля.

Полицейский посмотрел на него с таким презрительным видом, словно хотел сказать: «Хлыщ ты болтливый!»

Потом пожал плечами и сделал знак полицейским в черных плащах прийти ему на помощь.

Те придвинулись с видом людей, привыкших к подобным упражнениям.

– Поостерегитесь, дружок! – сказал Жибасье.

– Я не считаю себя другом людей, у которых нет при себе документов, – ответил на это полицейский.

– Мсье Жакаль сурово накажет вас.

– Мне предписано доставлять в префектуру полиции путешественников, у которых нет паспортов. Поскольку у вас паспорта нет, я отведу вас в префектуру полиции. Все очень просто.

– Черт возьми! Я ведь вам сказал...

– Покажите-ка ваш *глаз*.

– Глаз? – произнес Жибасье. – Ну, для младших чинов полиции, как вы, иметь один глаз достаточно, но для меня...

– Да, вижу, что у вас оба глаза на месте. Это хорошо. Значит, вы сможете узнать тот путь, по которому мы будем следовать. Вперед!

– Смотрите, вы сами этого захотели!

– Полагаю, что сам.

– В дальнейшем не вините никого в том, что с вами произойдет.

– Идем, идем! И так уже заболтались. Вы пойдете сами, или мне придется прибегнуть к силе?

И полицейский вынул из кармана красивые наручники, так и напрашивавшиеся на запястья Жибасье.

– Хорошо! – произнес Жибасье, осознав, в каком нелепом положении он оказался, и понимая, что оно могло стать еще нелепее. – Я следую за вами.

– В таком случае я имею честь предложить вам мою руку, а эти два господина составят ваш эскорт, – сказал полицейский. – Хотя, честно говоря, мне думается, что вы попытаетесь скрыться за первым же поворотом.

– Я выполнил свой долг, – сказал Жибасье, подняв руку, как бы призывая небо в свидетели того, что он боролся до конца.

– Пошли! Давайте вашу руку, и без фокусов.

Жибасье знал, каким образом рука арестованного ложится на руку человека, производящего арест. И поэтому не стал себя упрашивать, а облегчил задачу полицейскому.

Тот сразу же обратил на это внимание.

– Ага! – сказал он, – с вами это случается не впервой!

Жибасье посмотрел на полицейского взглядом человека, который думает про себя: «Ладно! Смеется тот, кто смеется последним!» А вслух произнес решительным голосом:

– Пошли!

Жибасье и полицейский вышли из гостиницы «Великий турок», держа друг друга под руку, как два старых хороших приятеля.

За ними следом направились два переодетых полицейских, которые изо всех сил делали вид, что они не принадлежат к обществу монсеньора.

Глава IV

Триумф Жибасье

Итак, Жибасье отправился с полицейским, или скорее полицейский повел Жибасье на Иерусалимскую улицу.

Ввиду тех мер предосторожности, которые принял любитель проверять паспорта, бежать, понятно, было невозможно.

Добавим еще, что Жибасье, и это делает ему честь, мысль о побеге и в голову не пришла.

Больше того: ироническое выражение его физиономии, сострадательная улыбка, игравшая на его губах, взгляды, бросаемые им на полицейского, та беззаботность и высокомерный вид, с которым он позволял вести себя в префектуру полиции, говорили о том, что совесть его чиста. Одним словом, он, казалось, смирился со своей участью и шел скорее как горделивый мученик, чем сломанная судьбой жертва.

Время от времени полицейский искоса на него поглядывал.

Чем ближе они подходили к префектуре, тем светлее становилось лицо Жибасье. Поскольку он заранее представлял себе ту головомойку, которая обрушится по возвращении господина Жакаля на голову этого несчастного полицейского.

Эта уверенность в собственной правоте, обычно сияющая ореолом над головами невинных, начала пугать конвоира Жибасье. Во время первой четверти пути он был совершенно уверен в том, что поймал важную птицу. Когда они прошли половину пути, его начали терзать сомнения. А когда осталось пройти последнюю четверть, он был уже уверен в том, что сотворил глупость.

Ему начало казаться, что гнев господина Жакаля, которым грозил ему Жибасье, уже разразился над его головой.

В результате чего рука полицейского начала постепенно разжиматься, предоставляя руке Жибасье свободу действий.

Жибасье заметил предоставленную ему относительную свободу, но поскольку он знал причину расслабления мускулов своего спутника, сделал вид, что ничего не замечает.

Полицейский, надеявшийся на то, что пленник придет ему на помощь, очень обеспокоился тем, что по мере того, как он ослаблял хватку, рука Жибасье сжималась все крепче и крепче.

Получалось, что пленник не хотел его отпустить.

– Черт возьми! – подумал полицейский. – Не дал ли я маху?

Он остановился, чтобы взвесить свое положение, осмотрел Жибасье с головы до ног и увидел, что тот, в свою очередь, тоже меряет его насмешливым взглядом. Это еще более обеспокоило добросовестного служаку:

– Мсье, – произнес он, – вы ведь знаете строгость наших правил. Нам приказывают: «Арестовать!», и мы арестовываем. Поэтому иногда мы совершаем достойные сожаления ошибки. Честно говоря, чаще мы хватаем все-таки настоящих преступников, но бывают случаи, когда по ошибке арестовываем и честных людей.

– Вы так считаете? – с издевкой спросил Жибасье.

– Да, и иногда попадают очень честные люди, – повторил полицейский.

Жибасье посмотрел на него взглядом, говорившим: «И я этому живое доказательство».

Открытость этого взгляда окончательно добила полицейского, и он, перейдя на самый изысканно-вежливый тон, добавил:

– Боюсь, мсье, что я только что совершил одну из таких непростительных ошибок... Но ее еще можно исправить...

– Что вы хотите этим сказать? – презрительно спросил Жибасье.

– Я хочу сказать, мсье, что я, вероятно, арестовал честного человека.

– А мне кажется, черт побери, что вы боитесь! – заявил каторжник, сердито глядя на полицейского.

– Я поначалу принял вас за подозрительного типа, но теперь я вижу, что ошибся, что вы свой человек.

– Свой? – презрительно переспросил Жибасье.

– А поэтому, – униженно пробормотал полицейский, – как я уже сказал, эту небольшую ошибку еще можно исправить...

– Ну, нет, мсье, время уже ушло, – живо ответил на это Жибасье. – Из-за этой вашей ошибочки человек, за которым я слежу, скрылся... И кто же этот человек? Заговорщик, который через неделю, возможно, свергнет правительство...

– Если вы хотите, мсье, – ответил полицейский, – я мог бы помочь вам следить за ним. Не дьявол же он... Уж мы вдвоем...

Но Жибасье не имел ни малейшего намерения делить с кем бы то ни было славу ареста господина Сарранти.

– Нет, мсье, – сказал он, – пожалуйста, закончите то, что вы начали.

– Нет, не буду! – произнес полицейский.

– Нет, будете! – сказал Жибасье.

– Никогда! – снова произнес полицейский. – И в доказательство этого я уйду.

– Уходите?

– Да.

– Как это уходите?..

– Очень просто. Ногами. Приношу вам свои извинения и уйду.

И полицейский уже начал было поворачиваться на каблуках, но тут Жибасье, схватив его за руку, снова развернул к себе лицом:

– Ну уж нет! – сказал он. – Вы арестовали меня для того, чтобы проводить в префектуру полиции, и должны довести дело до конца!

– Никуда я вас не поведу.

– Ах, черт вас подери! Вы туда меня обязательно отведете! И расскажете там, как все произошло. Если я упущу порученного мне человека, господин Жакаль должен знать, почему это случилось.

– Нет, мсье, и еще раз нет!

– В таком случае я арестую вас и доставлю в префектуру полиции, ясно?

– Вы арестуете меня?

– Да, я.

– А по какому праву?

– По праву более сильного.

– А если я позову моих помощников?

– Если вы это сделаете, я призову на помощь прохожих. Вас народ не очень-то любит, господа легавые. Если я расскажу людям о том, что сначала вы меня арестовали без всякой на то причины, а теперь хотите отпустить, испугавшись наказания за злоупотребление властью... А ведь здесь и река неподалеку!..

Полицейский побледнел, как полотно. Вокруг них, действительно, уже начали собираться прохожие. По опыту своему полицейский знал, что в те времена люди не испытывали нежных чувств к полиции. Он посмотрел на Жибасье с мольбой во взгляде, но не смог расстрогать его.

Но Жибасье был хорошо знаком с правилами господина де Талейрана и не поддался первому порыву. Прежде всего ему надо было оправдаться перед господином Жакалем.

И поэтому он сжал, словно клещами, запястье полицейского и, превратившись из пленника в жандарма, потащил упиравшегося полицейского в префектуру.

Во дворе префектуры было необычно много народа.

Что там делала эта толпа людей?

В предыдущей главе мы уже говорили, что в воздухе появились как бы первые признаки восстания.

Толпа, собравшаяся во дворе префектуры полиции, состояла из людей, которым предстояло сыграть не последнюю роль в восстании.

Жибасье, с молодости привыкший входить во двор префектуры в наручниках, а покидать его в карете с решетками на окнах, почувствовал неизъяснимое наслаждение от того, что входил сейчас в этот двор не как пленник, а как стражник.

Появление Жибасье было похоже на триумфальное шествие. Он высоко держал голову и гордо раздувал ноздри, а его пленник следовал за ним подобно тому, как захваченный фрегат следует на буксире за многопушечным кораблем, идущим на всех парусах с развернутым вымпелом.

В почтенной толпе на некоторое время воцарилось недоумение. Все полагали, что Жибасье находится на каторге в Тулоне, а тут он появляется, словно начальник при исполнении служебных обязанностей.

Но Жибасье, увидев, что его приняли не за того, кем он является в настоящее время, принялся приветствовать всех направо и налево, кивая одним дружески, другим покровительственно. Эти приветствия только усилили гул толпы проходимцев, а некоторые из них ответили на его приветствия с теплотой, которая свидетельствовала о том, что они были счастливы снова увидеться с собратом по профессии.

В результате многочисленных рукопожатий и приветственных слов смущение бедного полицейского стало так велико, что Жибасье начал поглядывать на него с некоторой жалостью.

Затем Жибасье был представлен старейшине преступного мира, уважаемому всеми фальшивомонетчику, который, как и Жибасье, вернулся из мест не столь отдаленных благодаря заключенному с господином Жакалем соглашению. Выпустили его из Бреста, а посему они с Жибасье друг друга не знали. Но Жибасье в своих скитаниях на галерах по Средиземному морю так часто слышал об этом покрытом славой старике, что уже давно желал пожать его заслуженную руку.

Старейшина по-отцовски сказал Жибасье:

– Сын мой, я давно желал увидеться с вами. Я очень хорошо знал вашего почтенного отца...

– Моего отца? – произнес Жибасье, который родителя и в глаза не видел. «Этому молодцу повезло больше, чем мне», – подумал он.

– И я с огромной радостью, – продолжал старейшина, – вижу в вашем лице черты этого уважаемого человека. Если вам нужен добрый совет, вы можете обращаться ко мне, сын мой. Я всегда готов оказать вам услугу.

Вся шайка с завистью услышала, как их главарь оказал Жибасье столь великую честь.

Все окружили бывшего каторжника, и за пять минут господин Баньерес из Тулона получил в присутствии совершенно ошалевшего от подобного триумфа полицейского тысячу предложений оказать любую услугу и тысячу слов, выражавших расположение и дружбу.

Жибасье посмотрел на него с видом человека, который хочет сказать: «Ну, что? Я ведь вас не обманывал?»

Полицейский повесил нос.

– А теперь, – сказал ему Жибасье, – признайтесь честно: вы ведь свалили дурака?

– Признаюсь, я – осёл, – ответил полицейский, готовый подтвердить любые слова Жибасье.

– Ну ладно, – промолвил Жибасье. – Коли вы это понимаете, мое самолюбие удовлетворено и я обещаю, что буду снисходителен к вам, когда вернется господин Жакаль.

– Когда вернется господин Жакаль? – переспросил полицейский.

– Да, когда господин Жакаль вернется, я ограничусь лишь тем, что представлю ему вашу ошибку, как простое рвение по службе. Видите, я человек отходчивый.

– Но господин Жакаль уже вернулся, – пробормотал полицейский, который опасался, что Жибасье передумает, и решил воспользоваться его хорошим настроением.

– Как! Господин Жакаль уже вернулся? – воскликнул Жибасье.

– Да. Это так.

– И когда же?

– Сегодня в шесть часов утра.

– И вы мне об этом не сказали! – загремел Жибасье.

– Но ведь вы меня об этом не спрашивали, ваше превосходительство, – униженно пробормотал полицейский.

– Вы правы, друг мой, – произнес, смягчившись, Жибасье.

– *Друг мой!* – прошептал полицейский. – Ты назвал меня своим другом, о великий человек! Что же я могу для тебя сделать? Приказывай!

– Да пойти со мной к господину Жакалю, черт возьми! И немедленно!

– Пошли! – решительно произнес полицейский, сделав метровый шаг, несмотря на то, что его рост позволял шагать только по два с половиной фута.

Жибасье попрощался со всеми взмахом руки, пересек двор, прошел под сводом, ведущим к двери, потом повернул налево к небольшой лестнице, по которой, как мы помним, входил и Сальватор, затем поднялся на третий этаж, прошел по темному коридору и подошел наконец к двери кабинета господина Жакаля.

Дежурный полицейский, признав не Жибасье, а его спутника, немедленно распахнул двери кабинета господина Жакаля.

– Да что с вами, болван? – послышался голос господина Жакаля. – Я ведь вам сказал, я не принимаю никого, кроме Жибасье!

– Я здесь, господин Жакаль! – громко сказал Жибасье.

А затем, повернувшись к полицейскому, произнес:

– Слышали, он не принимает никого, кроме меня?

Полицейский оперся о стену, чтобы не рухнуть на колени.

– Ладно, – сказал ему Жибасье. – Следуйте за мной. Я обещал вам быть снисходительным и сдержу свое обещание.

И вошел в кабинет господина Жакаля.

– Как, это вы, Жибасье? – сказал удивленный начальник. – Я назвал ваше имя на всякий случай...

– И оказали мне большую честь, господин Жакаль.

– Так вы что же, бросили того, за кем вам поручено было следить? – спросил господин Жакаль.

– Увы, мсье, – ответил Жибасье. – Это он меня покинул.

Господин Жакаль сурово насупил брови. Жибасье толкнул локтем полицейского, как бы говоря: «Видите, в какое положение вы меня поставили?» А вслух с виноватым выражением на лице произнес:

– Мсье, спросите вот у этого человека. Я не хочу усугублять его положение. Пусть он все расскажет сам.

Господин Жакаль поднял очки на лоб, чтобы увидеть, о ком идет речь.

– А, это ты, Фурришон, – сказал он. – Подойди поближе и расскажи нам, что ты натворил и почему мой приказ не был выполнен.

Фурришон лукавить не стал. Смирившись с судьбой, он, словно перед судом, рассказал только правду и ничего, кроме правды.

– Вы – просто осёл! – сказал полицейскому господин Жакаль.

– Именно так и сказал мне его светлость господин граф Баньерес де Тулон, – ответил полицейский с видом глубочайшего раскаяния.

Господин Жакаль, казалось, задумался, вспоминая, кто же этот умный человек, который сумел выразить раньше него точно такое же мнение о Фурришоне.

– Это я, – сказал, поклонившись, Жибасье.

– Ах так! Отлично, отлично, – произнес господин Жакаль. – Значит, вы сказали ему, что вы *свой*?

– Да, мсье, – ответил Жибасье. – Но должен вам признаться, что я пообещал этому бедолаге, видя его глубокое раскаяние в содеянном, что призову вас быть к нему снисходительным. Клянусь, что он согрешил только из-за чрезмерного рвения по службе.

– По просьбе нашего любимого и уважаемого Жибасье, – величественно произнес господин Жакаль, – я полностью прощаю вам ваш промах. Ступайте с миром и впредь будьте умнее!

Затем жестом руки показал несчастному полицейскому, что тот может быть свободным. Полицейский, пятясь, покинул кабинет.

– А теперь, дорогой мой Жибасье, – сказал господин Жакаль, – не соблаговолите ли разделить со мной мой скромный завтрак?

– С искренней радостью, – ответил Жибасье.

– Тогда пройдем в столовую, – сказал господин Жакаль и пошел вперед.

Жибасье проследовал за ним.

Глава V

Дар провидения

Господин Жакаль жестом пригласил Жибасье сесть.

Стул, предназначавшийся Жибасье, стоял напротив стула господина Жакаля, и их теперь разделял стол.

Господин Жакаль жестом разрешил Жибасье сесть, но тот, желая показать хозяину, что и ему не чужды были законы светского обращения, произнес:

– Прежде всего позвольте мне, дорогой мсье Жакаль, поздравить вас с возвращением в Париж.

– Соблаговолите принять от меня подобные поздравления по тому же самому поводу, – учтиво ответил господин Жакаль.

– Хочу надеяться, – сказал Жибасье, – что ваше путешествие прошло вполне удачно.

– Удачнее и быть не может, дорогой мсье Жибасье. Но, прошу вас, давайте прекратим обмениваться любезностями. Усаживайтесь, пожалуйста.

Жибасье сел.

– Отведайте вот этой отбивной.

Жибасье положил отбивную в свою тарелку.

– Подайте вашу рюмку.

Жибасье протянул.

– А теперь, – произнес господин Жакаль, – ешьте, пейте и слушайте, что я вам скажу.

– Я весь внимание, – сказал Жибасье, погружая свои великолепные зубы в мясо отбивной.

– Итак, дорогой мсье Жибасье, – продолжил господин Жакаль, – из-за глупости этого полицейского вы потеряли след порученного вам человека?

– Увы! – ответил Жибасье, кладя обглоданную дочиста косточку на краешек тарелки. – Я просто в отчаянии от этого!.. Получить такое важное задание, так великолепно – иначе не скажешь – начать его выполнение и пойти ко дну в самом порту!

– Это – несчастье.

– Я сотню лет не смогу простить себе этого...

И Жибасье жестом выразил всю глубину своего отчаяния.

– А вот я, – спокойно произнес господин Жакаль, сделав глоток бордоского и прищелкнув языком, – буду более снисходительным: я вам это прощаю!

– Нет-нет, мсье Жакаль! Нет, я не достоин прощения, – сказал Жибасье. – Я вел себя, как последний болван. Скажу больше, я оказался даже глупее этого полицейского.

– А что бы вы смогли с ним сделать, дорогой мсье Жибасье? Мне кажется, что при данных обстоятельствах очень подходит пословица: «Сила солону ломит»...

– Мне следовало сбить его с ног и побежать вслед за Сарранти.

– Да вы бы и двух шагов не смогли сделать! На вас тут же набросились бы его помощники.

– О! – только и воскликнул Жибасье, потрясая кулаками, как бог рукопашного боя Аякс.

– Но я вам повторяю, что вы прощены, – снова произнес господин Жакаль.

– Но если вы меня прощаете, – сказал Жибасье, разом прекратив свою очень выразительную пантомиму, – значит, вы знаете, как найти *нашего* человека. Вы ведь позволите мне так его называть?

– Что ж, придумано неплохо, – ответил господин Жакаль, с удовлетворением отметив про себя, что Жибасье оказался достаточно умен для того, чтобы сообразить, что коль скоро начальник не беспокоится о пропаже нужного им человека, то это означает, что у него нет причин волноваться на сей счет. – Совсем неплохо! В награду за это, дорогой мсье Жибасье, я разрешаю вам и впредь называть мсье Сарранти *нашим* человеком. Он действительно ваш,

поскольку вы его потеряли после того, как обнаружили, и мой, поскольку я снова нашел его после того, как вы его потеряли.

– Быть того не может, – удивленно произнес Жибасье.

– Чего же?

– Что вы его нашли.

– И все же это – именно так.

– Но как все произошло? Ведь с того момента, как я потерял его след, не прошло и часа!

– А я нашел его всего лишь пять минут тому назад.

– И теперь прочно сели ему на хвост? – спросил Жибасье.

– Да нет! Вы ведь знаете, что в отношении его следует действовать особенно тонко. Я, конечно, сяду ему на хвост, или, вернее, это сделаете вы... Только на этот раз больше его не теряйте, поскольку я, возможно, не смогу найти его так же быстро.

Жибасье тоже очень надеялся вновь найти Сарранти. Он помнил, что накануне на Почтовой улице четверо заговорщиков и господин Сарранти договорились встретиться в церкви Вознесения, но опасался, что господин Сарранти что-нибудь заподозрит и не явится в условленное место.

Впрочем, Жибасье не стремился заранее показать, что у него есть след.

Вот он и решил отнести на счет своей гениальности *обнаружение следа* Сарранти, говоря языком охотников.

– И как же я смогу снова его найти? – спросил он господина Жакаля.

– Идя по его следу.

– Но ведь я потерял его...

– След никогда не теряется, Жибасье, если охотой занимаются такой загонщик, как я, и такая ищейка, как вы.

– В таком случае, – сказал Жибасье, уверенный в том, что господин Жакаль хвалится, и решив вызвать его на откровенность, – нам нельзя терять ни минуты.

И вскочил, словно бы желая немедленно пуститься на розыски господина Сарранти.

– От имени Его Величества, чью корону вы имеете честь защищать, я благодарю вас за ваше стремление поскорее взяться за дело, дорогой мсье Жибасье, – сказал господин Жакаль.

– Я всего лишь самый ничтожный, но самый преданный подданный короля! – произнес Жибасье, скромно опустив голову.

– Хорошо! – промолвил на это господин Жакаль. – Будьте уверены в том, что ваша преданность будет вознаграждена. Королей можно обвинить в чем угодно, но только не в неблагодарности.

– Нет, благодарными могут быть только народы, – ответил Жибасье, по-философски подняв глаза к небу. – Ах!..

– Браво!

– Во всяком случае, дорогой мсье Жакаль, не принимая в расчет неблагодарность королей и признательность народов, позвольте мне заверить вас в том, что я целиком и полностью в вашем распоряжении.

– Хорошо. Но будьте любезны скушать крылышко вот этого цыпленка.

– Но пока я буду есть это крылышко, мсье Сарранти от нас ускользнет!..

– Никуда он не денется: он нас ждет.

– Где же?

– В церкви.

Жибасье посмотрел на господина Жакаля с возрастающим удивлением. Каким же это образом господин Жакаль узнал то, что было известно только ему одному?

И решил узнать, докуда же простирается осведомленность господина Жакаля.

– В церкви! – воскликнул он. – Я так и думал!

– Почему?

– Потому что человек, столь стремительно скачущий по дорогам, – ответил Жибасье, – может поступать так только для того, чтобы спасти свою душу.

– Вы снова приятно меня удивляете, дорогой мсье Жибасье! – ответил на это начальник полиции. – Я вижу, вы очень наблюдательны, и поздравляю вас с этим. Ибо отныне вы будете заниматься только наблюдением. И повторяю вам, что вы найдете нужного вам человека в церкви.

Жибасье решил узнать, все ли было известно господину Жакалю.

– И в какой же он церкви? – спросил он, надеясь, что господин Жакаль хотя бы чего-то не знает.

– В церкви Вознесения, – просто ответил господин Жакаль.

Это еще больше удивило Жибасье.

– Вы ведь знаете, где находится церковь Вознесения? – переспросил господин Жакаль, видя, что Жибасье не отвечает.

– Конечно, черт возьми! – пробормотал Жибасье.

– Но, несомненно, понаслышке, поскольку не думаю, что вы – очень ревностный верующий.

– У меня, как и у других людей, своя вера, – ответил Жибасье, с блаженным видом возведя очи горе.

– Я был бы не против, если бы вы мне о ней рассказали, – произнес господин Жакаль, наливая Жибасье кофе. – Когда у нас выпадет свободная минутка, я с удовольствием послушаю вашу теологическую платформу. Вы ведь знаете, у нас на Иерусалимской улице много великих богословов. Долгое пребывание в замкнутом пространстве, очевидно, привело вас к медитации. И когда у нас будет свободное время, я с удовольствием выслушаю вашу теорию на этот счет. Но пока, к несчастью, время нас подгоняет, и сегодня мы этого удовольствия получить не сможем. Но поскольку вы мне пообещали, это всего лишь небольшая отсрочка.

Жибасье, слушая начальника, смаковал свой кофе и хлопал глазами.

– Итак, – продолжил господин Жакаль, – вы сможете найти нужного вам человека в церкви Вознесения.

– На заутренней, на обедне или же на вечерне? – уточнил Жибасье, и на лице его было написано непонятное, одновременно лукавое и наивное, выражение.

– На большой мессе.

– Значит, в половине двенадцатого?

– Если хотите, будьте там в половине двенадцатого. Но нужный вам человек придет не раньше полудня.

Именно это время и было назначено накануне.

– Но ведь уже одиннадцать! – воскликнул Жибасье, взглянув на настенные часы.

– Да успокойтесь! Этак вы нетерпеливы! Успеете вы еще помолиться.

И господин Жакаль налил водки в чашку Жибасье.

– *Gloria in excelsis!*¹ – произнес Жибасье, поднимая чашку, словно это была дароносица.

Господин Жакаль кивнул как человек, уверенный в том, что эта честь была им вполне заслужена.

– А теперь, – сказал Жибасье, – разрешите мне сказать вам кое-что. Но не затем, чтобы умалить вашу проницательность, перед которой я склоняю голову и которой восхищен...

– Говорите!

– Я знал все то, о чем вы только что мне рассказали...

– Неужели?

¹ «Gloria in Excelsis Deo» (лат.) – «Слава в вышних Богу». (Прим. изд.)

– Да, знал. И вот откуда...

И Жибасье рассказал господину Жакалю обо всем, что произошло на Почтовой улице. Как он выдал себя за заговорщика, как вошел в дом, как узнал о том, что встреча была назначена на полдень в церкви Вознесения.

Господин Жакаль слушал с вниманием, которое выражало немое уважение мудрости и ловкости собеседника.

– Значит, – сказал он, когда Жибасье закончил свой рассказ, – вы полагаете, что на этих похоронах будет много народа?

– По меньшей мере пять тысяч человек.

– А в самой церкви?

– Сколько смогут поместиться. Тысячи две-три.

– В такой толпе вам будет нелегко найти нужного человека, дорогой мой Жибасье.

– Ну что ж! В Евангелии сказано: «Ищи и обрящешь».

– Но я смогу облегчить вашу задачу!

– Вы!

– Да. Ровно в полдень он будет стоять у третьей слева от входа колонны и разговаривать с монахом-доминиканцем.

Теперь дар провидения господина Жакаля так поразил Жибасье, что он, подавленный таким превосходством, молча поклонился, взял шляпу и вышел.

Глава VI

Два джентльмена с большой дороги

Жибасье вышел из дома на Иерусалимской улице как раз в тот момент, когда, оставив у Кармелиты портрет святого Гиацинта, Доминик большими шагами спускался по улице Турнон.

Во дворе префектуры толпы уже не было: там находилась только одинокая группка из трех людей.

От нее отделился какой-то человек. В этом приближавшемся к нему маленьком худеньком человечке с землистым цветом лица, черными блестящими глазами и сверкающими зубами Жибасье узнал своего коллегу Карманьоля, подручного господина Жакаля, того самого, кто в Кёле передал ему инструкции их общего начальника.

Жибасье остановился с улыбкой на губах.

Они обменялись приветствиями.

– Вы сейчас направляетесь в церковь Вознесения? – спросил Карманьоль.

– А разве мы не должны отдать последние почести останкам великого филантропа? – ответил вопросом на вопрос Жибасье.

– Разумеется, – сказал Карманьоль. – Я ждал, когда вы выйдете от господина Жакаля, чтобы переговорить с вами о порученном нам задании.

– С превеликим удовольствием. Давайте говорить на ходу. Так не будет казаться, что время идет очень медленно. Мне, во всяком случае.

Карманьоль согласился.

– Вы знаете, что нам надо будет там сделать?

– Я должен не спускать глаз с одного человека, который будет стоять у третьей слева от входа колонны и разговаривать с неким монахом, – сказал Жибасье, все еще не пришедший в себя от столь точных инструкций.

– А я иду туда для того, чтобы арестовать этого человека.

– Как это – арестовать?

– Очень просто. В нужное время. Вот это я и должен был вам передать.

– Вам поручено арестовать мсье Сарранти?

– Ни в коем случае! Я арестую мсье Дюбрея. Он сам себя так называет, ему не на что будет пожаловаться.

– Значит, вы арестуете его как заговорщика?

– Нет, как бунтовщика.

– Значит, возможен серьезный бунт?

– Насчет серьезного вряд ли. Но волнения будут.

– А не слишком ли неосторожным будет, дорогой коллега, – сказал Жибасье, остановившись, чтобы придать вес своим словам, – не будет ли неосторожным затеять смуту в такой день, когда весь Париж будет на ногах?

– Вы правы. Но ведь пословица говорит: «Кто не рискует, тот не выигрывает».

– Это несомненно, но на сей раз мы ставим на карту всё.

– Но играть-то мы будем краплеными картами!

Это немного успокоило Жибасье.

Но все же на лице его осталось обеспокоенное, вернее, задумчивое выражение.

Было ли это следствием тех страданий, которые перенес Жибасье на дне Говорящего колодца и которые накануне снова нахлынули на него? Или это усталость от стремительной гонки и быстрого возвращения наложила на его чело обманчивую печать сплина? Как бы то ни было, но граф Башрес де Тулон казался в этот момент очень озабоченным или сильно обеспокоенным.

Карманьоль заметил это и не смог удержаться, чтобы не поинтересоваться причиной, когда они свернули с набережной на площадь Сен-Жермен-л'Оксерруа.

– Вы чем-то озабочены? – спросил он.

Жибасье вышел из задумчивости и тряхнул головой.

– Что? – переспросил он.

Карманьоль повторил свой вопрос.

– Да, вы правы, друг мой, – ответил Жибасье, – меня удивляет одна мысль.

– Черт возьми! Не много ли чести для одной мысли! – воскликнул Карманьоль.

– Но она не дает мне покоя.

– Скажите же, в чем дело! И если я смогу избавить вас от сомнений, я буду считать себя счастливейшим из смертных.

– Дело вот в чем: мсье Жакаль сказал мне, что я смогу найти нашего человека ровно в полдень в церкви Вознесения рядом с третьей колонной слева от входа.

– Да, около третьей колонны.

– Он будет разговаривать с каким-то монахом?

– Со своим сыном, аббатом Домиником.

Жибасье посмотрел на Карманьоля с тем же выражением на лице, что и в разговоре с господином Жакалем.

– Н-да, – сказал он. – Я-то считал себя осведомленным... Теперь мне кажется, что я ошибался.

– К чему такое самоуничижение? – спросил Карманьоль.

Жибасье несколько секунд молчал. Было видно, что он прилагал невероятные усилия для того, чтобы пронзить своими рысьими глазами тот мрак тайны, который его окружал.

– Так вот, – произнес он наконец, – во всем этом кроется какая-то огромная ошибка.

– С чего вы это взяли?

– А если все это правда, то я чувствую по отношению к нему одновременно удивление и восхищение.

– К кому же это?

– К мсье Жакалю.

Карманьоль сдернул с головы шляпу жестом хозяина бродячего цирка, говорящего с мэром или другим представителем власти.

– И в чем же, по-вашему, ошибка? – спросил он.

– Да в этой самой колонне и в монахе... Я допускаю, что мсье Жакаль знает о том, что было, допускаю и то, что он знает обо всем, что происходит сейчас...

Карманьоль подтверждал каждую фразу Жибасье кивком головы.

– Но чтобы он знал и то, что произойдет в будущем... Вот этого я никак понять не могу, Карманьоль.

Карманьоль захохотал, обнажив свои белые зубы.

– А как вы объясняете то, что он знает обо всем, что было и есть? – спросил он.

– Ну в том, что мсье Жакаль догадался, что Сарранти пойдет в церковь, нет ничего удивительного: когда человек рискует своей жизнью, делая попытку свергнуть правительство, он, естественно, обращается за помощью к религии и просит заступничества святых. Нет ничего удивительного и в том, что мсье Жакаль угадал, что Сарранти пойдет именно в церковь Вознесения: именно этой церкви сегодня суждено стать очагом восстания.

Карманьоль продолжал кивками головы подтверждать то, что говорил Жибасье.

– Опять же ему было очень просто догадаться, что мсье Сарранти будет находиться в церкви не в одиннадцать часов, а где-то с половины двенадцатого до без четверти двенадцать: заговорщик, половину ночи посвятивший своим козням, если только он не обладает сверхкрепким здоровьем, не пойдет радовать душу первой утренней мессой. В том, что он угадал,

что Сарранти будет стоять у колонны, я тоже не вижу ничего удивительного: после трех-четырех дней и ночей скачки без сна и отдыха человек должен чувствовать усталость и испытывать потребность к чему-то прислониться. Вот он и прислонится спиной к колонне, чтобы отдохнуть. И, наконец, я допускаю, что путем логической дедукции мсье Жакаль угадал, что мой человек будет стоять скорее слева, чем справа от входа, поскольку главарь оппозиции, естественно, должен выбрать левую сторону. Все это, конечно, необычно, умно, но ничего удивительного в этом нет, поскольку даже я об этом смог догадаться. Но вот что меня удивляет, озадачивает, приводит в полное недоумение...

Жибасье умолк, словно пытаясь разгадать эту загадку огромным усилием своего интеллекта.

– Так что же это?.. – спросил Карманьоль.

– Так это то, каким образом мсье Жакаль смог угадать, к какой именно колонне прислонится спиной Сарранти, в какое именно время он это сделает и почему какой-то монах будет разговаривать с ним как раз в то время, когда он будет подпирать эту колонну.

– Как?! – воскликнул Карманьоль. – И из-за этого-то у вас такое озабоченное выражение на лице, господин граф?!

– Да, именно из-за этого, – ответил Жибасье.

– Так это же объясняется столь же просто, как и все остальное.

– Ну да?

– Проще и быть не может.

– Что вы говорите?

– Честное слово!

– Ну тогда сделайте одолжение и откройте мне по-дружески эту тайну.

– С огромным удовольствием.

– Слушаю вас.

– Знаете ли вы Барбет?

– Я знаю улицу с таким именем: она начинается от улицы Трех Павильонов и заканчивается у Старой улицы Тампля.

– Это не то.

– Я знаю, что есть ворота Барбет, которые были частью построенной Филиппом-Августом крепостной стены, но ворота эти названы в честь Этьена Барбетта, парижского дорожного смотрителя, управителя монетного двора и прево торговой гильдии.

– Это тоже не то.

– Я знаю также, что существует дворец Барбет, в котором Изабелла Баварская родила дофина Карла VII. Именно у дверей этого дворца дождливой ночью 23 ноября 1407 года был убит вышедший из него герцог Орлеанский...

– Довольно! – воскликнул Карманьоль, тяжело дышавший, словно человек, которого заставляют проглотить лезвие сабли, – довольно! Еще несколько слов, Жибасье, и я пойду требовать для вас кафедру истории.

– Что поделать, – произнес в ответ Жибасье, – меня погубила именно ученость. Но что вы имеете в виду, говоря слово Барбет: улицу, ворота или дворец?

– Ни то, ни другое, ни третье, о, ученейший бакалавр, – сказал Карманьоль, глядя на Жибасье с восхищением и перекладывая кошелек из правого кармана в левый, другими словами, убирая его подальше от своего спутника, и, возможно, не без основания полагая, что следует ожидать чего угодно от человека, который признался, что знает так много, и, несомненно, утаил, что знает еще больше.

– Нет, – продолжил Карманьоль. – Я говорю о моей Барбет: она сдает напрокат стулья в церкви Святого Якова и живет в Виноградном тупике.

– О! Что это такое – пракатчица стульев из Виноградного тупика, – презрительно произнес Жибасье. – Ну и знакомые у вас, Карманьоль!

– Знакомства надо иметь повсюду, господин граф.

– Ну, так что же дальше?.. – спросил Жибасье.

– Так вот я и говорю, что Барбет сдает напрокат стулья, и такие стулья, на которые мой приятель «Длинный Овес»... Вы ведь знаете «Длинного Овса»?

– Видел.

– Ну вот, на этих стульях не гнушается сидеть даже мой приятель «Длинный Овес».

– Но какое отношение имеет к тайне, которую я хочу узнать, какая-то женщина, сдающая внаем стулья, на которых не гнушается сидеть ваш приятель «Длинный Овес»?

– Самое непосредственное.

– Продолжайте, – сказал Жибасье, останавливаясь, хлопая глазами и вращая большими пальцами сложенных на животе рук. Иными словами, используя все оттенки голоса и все жесты для того, чтобы показать: «Ничего не понимаю».

Карманьоль тоже остановился. Его улыбка источала огромную радость победителя.

Часы церкви Вознесения пробили три раза.

Собеседники, казалось, забыли обо всем на свете, слушая этот бой.

– Без четверти двенадцать, – произнесли они хором. – Ладно, время у нас еще есть!

Это восклицание доказывало, что каждый из них придавал большое значение начатому разговору.

Но поскольку интерес Жибасье был большим, чем интерес Карманьоля, ибо это Жибасье расспрашивал Карманьоля, а тот лишь отвечал, то разговор продолжил именно Жибасье:

– Слушаю вас.

– Вы, вероятно, не ведаете того, дорогой коллега, потому что вы несколько по-другому относитесь к нашей святой вере, что все женщины, сдающие напрокат стулья в церквях, прекрасно знают друг друга.

– Признаюсь, я этого совершенно не ведаю, – сказал Жибасье с полной откровенностью, присущей людям сильным.

– Так вот, – продолжал Карманьоль, довольный тем, что может сообщить нечто новое такому образованному человеку, – эта женщина, что сдает внаем стулья в церкви Святого Якова...

– Барбет? – вставил Жибасье, чтобы показать, что не пропускал мимо ушей ни единого слова собеседника.

– Да, Барбет. Так вот она очень дружна с одной из своих коллег в Сен-Сюльписе, которая проживает на улице По-де-Фер.

– Вот оно что! – воскликнул Жибасье, перед которым забрезжила разгадка.

– Вы начинаете кое-что понимать, не так ли?

– Пока еще смутно, но я что-то чую, о чем-то догадываюсь...

– Короче, как я уже сказал, наша женщина, сдающая внаем стулья в Сен-Сюльписе, работает консьержкой в доме, до дверей которого вы вчера ночью проследовали за мсье Сарранти и в котором проживает его сын, аббат Доминик.

– Продолжайте, продолжайте, – пробормотал Жибасье, не желавший ни за что на свете потерять путеводную нить, за которую он только что ухватился.

– Так вот, первой мыслью, которая пришла в голову мсье Жакалю после получения сегодня утром письма с изложением вашего вчерашнего маршрута слежки, была мысль о том, что поскольку вы проследовали за мсье Сарранти до дверей дома на улице По-де-Фер, отправить за мной и спросить, нет ли у меня знакомых в этом самом доме. Сами понимаете, мсье Жибасье, какова была моя радость, когда я узнал, что именно в этом доме несла охрану подружка моей знакомой. Мне оставалось только сказать, что задание понял, и помчаться к

моей Барбет. Я знал, что найду у нее «Длинного Овса»: именно в это время он пьет у нее кофе. Значит, я помчался в Виноградный тупик. И точно, «Длинный Овес» был там. Я шепнул ему на ухо пару слов, он о чем-то переговорил с Барбет, и та немедленно пошла навестить свою подружку, которая сдает внаем стулья в Сен-Сюльписе.

– О, неплохо, совсем неплохо! – сказал Жибасье, начавший угадывать первые буквы шарады. – Продолжайте, я весь внимание.

– Итак, сего дня утром, в половине восьмого, Барбет отправилась на улицу По-де-Фер. Я повторяю, что «Длинный Овес» несколькими словами ввел ее в курс дела. Поэтому первое, что она заметила в уголке одного из окон, было письмо, адресованное мсье Доминику Сарранти.

– Слушайте, – сказала Барбет своей подружке, – так, значит, ваш монашек еще не вернулся домой?

– Нет, – ответила та. – Но он может прийти с минуты на минуту.

– Удивительно, что он так подолгу не бывает дома.

– Да разве узнаешь, чем занимаются эти монахи? А почему это вы о нем заговорили?

– Просто увидела, что для него есть письмо, – ответила Барбет.

– Да, это письмо на его имя пришло вчера вечером.

– Странно, – снова сказала Барбет, – почерк очень похож на женский.

– Да нет же, – ответила ее подружка. – Какие могут быть женщины... Аббат Доминик живет здесь вот уже пять лет, и я ни разу не видела здесь ни одной женщины.

– Зря вы так в этом уверены...

– Да я просто знаю: письмо это написал мужчина. К тому же он очень меня напугал.

– Он что, оскорбил вас, кумушка?

– Нет, слава богу, этого не было. Но видите ли, я, вероятно, вздремнула... А когда открыла глаза, увидела перед собой высокого мужчину во всем черном.

– А это, случаем, был не дьявол?

– Нет. Ведь после его ухода должно было пахнуть серой... Он спросил, не вернулся ли аббат Доминик. Я ответила, что пока его нет дома. «Так вот, я сообщаю вам, что он вернется либо сегодня ночью, либо завтра утром», – сказал он мне. Это было, по-моему, очень странно!

– Конечно.

«Ах, – сказала я ему, – значит, он вернется ночью или завтра утром! Право слово, я рада узнать об этом. – Он что, ваш духовник? – спросил он с улыбкой. – Мсье, – сказала я ему в ответ, – знайте, что я не исповедуюсь молодым людям его возраста. – Вот оно что... Ладно, тогда, будьте любезны, передать ему... Хотя нет, сделаем лучше так... У вас найдутся перо, чернила и бумага? – Черт возьми, и вы еще спрашиваете! – Я оставлю ему записку, дайте мне все, что нужно».

Я дала ему перо, чернила и бумагу, и он написал это письмо. «А теперь, – сказал он, – нет ли у вас сургуча или воска? – Ну, уж чего нет, того нет, – сказала я ему».

– А у вас и правда их не было? – поинтересовалась Барбет.

– Были! Но в честь чего это я должна давать всяким незнакомым мне людям мой сургуч и мой воск?

– И правда, если давать всем подряд, то и разориться можно.

– Ну, разориться-то не разоришься, а вот людям, которые хотят запечатать письма, доверять особенно не станешь.

– И к тому же, когда эти люди уйдут, очень неудобно читать запечатанные письма. Но в таком случае, – продолжала Барбет, бросив взгляд на письмо, – каким же это образом оно оказалось запечатанным?

– Это другая история! Он стал рыться в бумажнике, и рылся так долго, что в конце концов нашел старый огрызок сургуча.

– И вы, значит, не знаете, о чем говорится в этом письме?

– Слово даю, что не знаю. Да и что интересного в том, чтобы узнать, что мсье Доминик является сыном этого человека, что он будет ждать мсье Доминика сегодня в полдень в церкви Вознесения у третьей слева от входа колонны и что в Париже он находится под фамилией Дюбрей?

– Так, значит, вы все же сумели прочесть это письмо?

– О! Я только слегка приоткрыла его: мне было очень интересно узнать, почему это он так хотел заполучить сургуч, чтобы запечатать послание.

В этот момент послышался бой колокола Сен-Сюльпис.

– Ах! – воскликнула консьержка с По-де-Фер. – Я чуть было не забыла!

– О чем же?

– Да о том, что сегодня в девять часов похороны. А мой прощелыга-муженек отправился куда-то пьянствовать. Ему ни до чего нет дела! На кого же я смогу оставить дом? Не кошка же будет его сторожить?!

– Может, я пока посижу? – спросила Барбет.

– И то правда, – сообразила ее подружка. – Не окажете ли вы мне такую услугу?

– Какие мелочи! Разве мы не должны помогать друг другу в этом мире?

Получив это заверение, консьержка отправилась в Сен-Сюльпис на свою вторую работу.

– Понятно, – произнес Жибасье. – А когда она ушла, Барбет тоже приоткрыла это письмо.

– Нет! Она подержала его над паром, прекрасно его распечатала и переписала. Таким образом, через десять минут у нас в руках было все письмо.

– И что же в нем говорилось?

– Все то же, о чем рассказала консьержка дома номер 28. Кстати, можете сами его прочесть.

И Карманьоль, вынув из кармана бумагу, стал вслух зачитывать письмо, в то время как Жибасье читал его про себя. Там было написано следующее:

«Дорогой сын, я прибыл в Париж сегодня вечером под фамилией Дюбрей и сразу же отправился навестить вас. Мне сказали, что вас нет дома, но что первое мое письмо вам было передано и, следовательно, вы не задержитесь надолго. Если вы вернетесь домой сегодня ночью или завтра утром, вы сможете найти меня в церкви Вознесения: я буду стоять, прислонившись к третьей колонне слева от входа».

– Ага! – сказал Жибасье. – Отлично!

И, поскольку за разговорами о своих делах и о делах других людей они подошли уже к ступенькам портика церкви Вознесения, они вошли в церковь с началом полуденного боя часов.

У третьей слева от входа колонны стоял, прислонившись к ней спиной, господин Сарранти, а рядом с ним на коленях стоял никем не замеченный Доминик и целовал руку отца.

Впрочем, мы ошиблись, Жибасье и Карманьоль увидели его сразу же.

Глава VII

Как организуются беспорядки

Двум вновь вошедшим было достаточно одного только взгляда, и они в то же мгновение оба круто развернулись и направились в противоположную сторону, то есть к хорам.

А когда обернулись и пошли назад, то увидели, что Доминик продолжал оставаться на коленях, но господина Сарранти у колонны не было.

Мы видим, еще бы немного, и непогрешимость господина Жакаля была бы поставлена Жибасье под сомнение. Однако же его восхищение начальником полиции только возросло: сцена, которую он описал, длилась всего мгновение, но ведь она имела место.

– Кхм, – произнес Карманьоль. – Монашек на месте, а вот нашего человека я что-то не вижу.

Жибасье поднялся на носки, вперил свой натренированный взгляд в глубину церкви и улыбнулся.

– Зато его вижу я, – сказал он.

– И где же он?

– Справа от нас, наискосок.

– Не вижу.

– Смотрите лучше.

– Смотрю.

– И что же вы видите?

– Какого-то академика, который нюхает табак.

– Это для того, чтобы проснуться: он думает, что он на заседании... А что вы видите за академиком?

– Какого-то мальчишку, который крадет часы.

– Это для того, чтобы его старый отец мог узнавать время, Карманьоль... А за мальчишкой?

– Какого-то молодого человека, который вкладывает записку в молитвенник девушки.

– И будьте уверены, Карманьоль, эта записка не имеет никакого отношения к похоронам... А позади этой счастливой парочки?

– Человека с таким грустным лицом, что можно подумать, что это его хоронят. Я вижу его на всех похоронах.

– В глубине души, дорогой Карманьоль, он, несомненно, питает меланхолическую мысль, что не сможет побывать на собственном погребении. Но скоро мы дойдем до нашей цели, друг мой. Кого вы видите позади этого грустного старца?

– А! И правда, наш человек... Он разговаривает с мсье де Лафайеттом.

– Правда? Так это и есть мсье де Лафайетт? – переспросил Жибасье с тем оттенком почтения в голосе, с которым самые ничтожные люди говорили об этом благородном старце.

– Как! – воскликнул удивленный Карманьоль. – Вы не узнали мсье де Лафайетта?

– Я покинул Париж накануне того самого дня, когда меня должны были представить ему как перуанского кацика, прибывшего для изучения французской конституции.

В тот момент, когда оба приятеля, заложив руки за спину и изобразив на лицах безмятежность, начали медленно приближаться к группе популярных оппозиционеров, состоявшей из генерала де Лафайетта, господина де Моранда, генерала Пажоля, Дюпона (из Эра) и еще нескольких известных людей, так вот именно в этот самый момент Сальватор указал на полицейских своим друзьям.

Жибасье не упустил ни малейшего движения в группе молодых людей. Он, казалось, обладал каким-то особенным чутьем, сильно развитым зрением: он видел одновременно все,

что творилось справа и слева от него, подобно косоглазым, и все, что происходило спереди и сзади, как хамелеон.

– Кажется мне, дорогой Карманьоль, – сказал Жибасье, указывая своему приятелю глазами на группу из пяти молодых людей, – что вот эти господа нас узнали. А посему нам лучше немедленно расстаться. Кстати, так мы сможем надежнее приглядывать за нашим другом, встретиться мы всегда сможем в надежном месте.

– Вы правы, – сказал Карманьоль, – лишняя предосторожность никогда не помешает. Заговорщики более хитры, чем можно предположить.

– Это с вашей стороны довольно смелое высказывание, Карманьоль. Но как бы то ни было, лучше всего нам поверить в то, что вы сейчас сказали.

– Вы ведь помните, что арестовать мы должны только одного из них?

– Разумеется. А как нам быть с монахом? Он ведь поднимет против нас все духовенство.

– Арестуем его как человека по фамилии Дюбрей за скандал, который он устроит в церкви.

– Только так.

– Хорошо! – сказал Карманьоль и пошел вправо. Его спутник в это время метнулся влево. Описав кривую, каждый из них оказался рядом со своей жертвой: Карманьоль справа от отца, а Жибасье – слева от сына.

В это время началось богослужение.

Месса была произнесена елеинно и выслушана с благоговением.

Когда месса была прочитана, молодые люди из школы в Шалоне, принесшие гроб в церковь, подошли, чтобы снова поднять его и нести на кладбище.

Но в тот самый момент, когда они нагнулись для того, чтобы совместными усилиями поднять свою ношу в едином порыве, какой-то высокий человек во всем черном без знаков различия словно вырос из-под земли и тоном привыкшего командовать человека приказал:

– Не прикасайтесь к гробу, господа!

– Почему? – спросили удивленные молодые люди.

– Я не намерен отчитываться перед вами, – ответил человек в черном. – Не трогайте гроб!

А затем обратился к распорядителю похорон:

– Где ваши носильщики? Где люди, которые должны нести гроб?

Распорядитель похорон приблизился.

– Но, – пробормотал он, – я думал, что тело должны будут нести именно эти господа.

– Этих господ я не знаю, – оборвал его человек в черном. – Я спрашиваю вас, где ваши носильщики? Немедленно позовите их сюда!

Легко понять, какой гул поднялся в церкви в результате этого инцидента. Со всех сторон послышался грозный рокот, напоминавший грохот волн перед началом шторма. Из груди всех присутствующих вырвался устрашающий рев.

Незнакомец, вне сомнения, чувствовал за своей спиной огромную силу, поскольку встретил этот гул с презрительной улыбкой.

– Позвать сюда носильщиков! – повторил он.

– Нет, нет, нет! Никаких носильщиков! – закричали ученики.

– Никаких носильщиков! – повторила толпа.

– По какому праву, – продолжали ученики, – вы хотите помешать нам нести останки нашего благодетеля? У нас есть на это разрешение его родных!

– Ложь! – сказал незнакомец. – Родственники, напротив, категорически возражают, чтобы тело усопшего несли каким-то особым способом.

– Это правда, господа? – спросили молодые люди, повернувшись к сыновьям покойного – графу Гаэтану и Александру де Ларошфуко, которые подошли, чтобы следовать за телом

отца. – Правда ли, господа, что вы не разрешаете нам нести останки нашего благодетеля и вашего отца, который и для нас был, как отец родной?

Все это происходило среди не поддающегося описанию гвалта.

Но, когда люди слышали этот вопрос, когда увидели, что граф Гаэтан приготовился отвечать, со всех сторон послышались крики:

– Тихо! Тихо! Замолчите!

Сразу же в церкви, как по мановению волшебной палочки, воцарилась абсолютная тишина, и все слышали, как граф Гаэтан торжественно, мягко и с признательностью в голосе произнес:

– Семья нисколько не противится этому. Господа, она просит вас об этом.

При этих словах раздались крики радости, потрясшие здание церкви от купола до основания.

Однако распорядитель похорон уже заставил подойти к гробу своих носильщиков, и те уже взялись за ручки. Но, услышав слова графа Гаэтана, они передали гроб молодым людям, которые, подняв его на плечи, благоговейно вынесли дорогие им останки из церкви.

Процессия довольно спокойно пересекла двор и вышла на улицу Сент-Оноре.

Человек, который затеял весь этот скандал, исчез, словно испарился. Все присутствующие напрасно расспрашивали о нем, но никто не видел, ни когда он вышел, ни куда пошел.

Оказавшись на улице Сент-Оноре, кортеж перестроился: за гробом встали сыновья герцога де Ларошфуко, за ними большое число пэров Франции, потом депутаты, люди, прославившиеся личными заслугами или высокопоставленные по рождению, друзья или сторонники герцога.

Герцог де Ларошфуко был генерал-лейтенантом. Посему для отдания воинских почестей покойному был выделен почетный караул.

Казалось, все вошло в мирное русло, но в тот самый момент, когда этого меньше всего ожидали, вдруг опять словно из-под земли появился тот же самый человек, который затеял скандал в церкви.

Узнавшая его толпа испустила вопль возмущения.

Но тот, приблизившись к офицеру, командовавшему почетным караулом, сказал ему на ухо несколько слов, которых никто не расслышал.

Затем он громко потребовал от офицера проявить силу и оказать поддержку агентам, для того, чтобы помешать молодым людям нести гроб и установить его на катафалк, на котором останки покинут пределы Парижа.

При этих словах, сопровождаемых на сей раз призывом к применению военной силы, со всех сторон раздались угрожающие крики.

Среди этого шума можно было отчетливо услышать такие слова:

– Не слушайте его!.. Да здравствует гвардия! Долой шпииков! Долой комиссара полиции! Вздернуть этого комиссара на фонаре!

И, как естественное продолжение этих криков, по колонне от хвоста до головы прошло движение, похожее на волну прилива.

Когда эта волна докатилась до комиссара, он был вынужден попятиться назад.

Обернувшись на крики, он бросил на толпу угрожающий взгляд.

– Мсье, – обратился он снова к офицеру, – я требую, чтобы вы применили силу.

Офицер посмотрел на своих людей: они были тверды и нахмурены. Он понял, что они выполнят любой его приказ.

Снова раздались крики:

– Да здравствует гвардия! Долой ищеек!

– Мсье, – резко повторил, снова обращаясь к офицеру, человек в черном, – в третий и последний раз я требую от вас помощи! У меня есть приказ, и горе вам, если вы помешаете мне его выполнить!

Офицер, на которого подействовали повелительный тон комиссара и его угрозы, вполголоса отдал приказ солдатам, и мгновение спустя на ружьях заблестели примкнутые штыки.

Это, казалось, привело толпу в совершеннейшее негодование.

Со всех сторон полетели призывы к мщению, угрозы расправы.

– Долой гвардию! Смерть комиссару! Долой правительство! Смерть Корбьеру! На фонарь иезуитов! Да здравствует свобода печати!

Солдаты двинулись вперед, чтобы завладеть гробом.

Теперь, если читателю хочется перейти от общего к частному и от толпы к некоторым составляющим ее личностям, поможем ему бросить взгляд на поведение героев нашей книги в тот момент, когда гроб спускался на плечах учеников школы в Шалоне по ступенькам церкви Вознесения и когда траурная процессия выходила на улицу Сент-Оноре.

Господин Сарранти и аббат Доминик, за которыми неотступно следовали Жибасье и Карманьоль, при выходе из церкви подошли друг к другу, ничем не показывая, что они знакомы, и заняли место в конце улицы Мондови, то есть рядом с площадью Оранжери, напротив сада дворца Тюильри.

Господин де Моранд и его друзья сконцентрировались на улице Мон-Табор и стали ждать, когда кортеж тронется в путь.

Сальватор и четверо молодых людей остановились на улице Сент-Оноре рядом с пересечением ее с улицей Нев-дю-Люксамбур.

Движением толпы, сплотившей свои ряды, молодых людей отнесло примерно за двадцать метров от решетки ограждения церкви Вознесения.

Они обернулись, услышав крики, с которыми возмущенная толпа встретила применение вооруженной силы против участников траурного шествия.

Но среди тех, кто особенно рьяно выказывал свое возмущение, самыми горластыми были люди с низкими лбами и бегающими взглядами, которые, казалось, были очень умело расставлены в толпе.

Жан Робер и Петрюс с отвращением отвернулись. В тот момент их главным желанием было вырваться из этой давки, над которой летало нечто злое. Но сделать это было невозможно: они оказались в западне. Им было трудно двинуться с места, а все их усилия оказались подчинены одному только инстинкту самосохранения: им оставалось только постараться, чтобы их не задавили в толпе.

Сальватор, этот странный человек, который, казалось, был столь же хорошо знаком с тайными сторонами жизни аристократии, как и с тайнами полиции, знал большинство этих людей не только по облику, но, странная вещь, и по имени. Имена эти были для любознательного поэта с возвышенными чувствами Жана Робера вехами, стоявшими на неизведанном пути, который вел на круги ада, описанные Данте.

Этими людьми были «Длинный Овес», Мальдаплом, «Стальная Жила», Майошон, короче, вся та шайка, которая, как читатель помнит, осаждала домишко на Почтовой улице, в которой один из проходимцев, бедняга Волован, совершил столь опасный и столь неудачный прыжок. Там стояли, рассредоточившись и следя за глазами и руками Сальватора, мимикой и жестами призывающего к большой осторожности, Крючок и его приятель Жибелот; они прекрасно устроились, а последний продолжал обозначать свое присутствие резким запахом вальерьянки, так досаждавшим Людовику в кабаре, что на углу улицы Обри-ле-Буше, где и началась та долгая история, которую мы излагаем нашему читателю. В толпе стояли Фафиу с божественным Коперником; их объединяло стремление Коперника не ссориться с Фафиу, который, в свою очередь, никак не желал ругаться с Коперником.

Таким образом, мы понимаем, что Коперник простил Фафиу тот неуважительный поступок, отнеся его на счет расшатанных нервов, с которыми приятель не смог совладать. Но Коперник попросил Фафиу впредь этого не делать, в чем Фафиу и поклялся, но с той оговоркой в душе, с какой клянутся иезуиты, утверждая, что клятву можно и не выполнять.

В десяти шагах от этих двух артистов, удачно разделенный с ними плотной людской массой, стоял Жан Торо, держа под руку, как жандармы обычно держат арестованных и как Жиба-сье недавно держал своего незадачливого полицейского, так вот Жан Торо держал под руку высокую блондинку, эту базарную Венеру с телом гибким, как у змеи, по прозвищу Фифина.

Мы сказали *удачно* потому, что Жан Торо учуял Фафиу точно так же, как Людовик учуял Жибелота, хотя не можем обвинить бедного парня в том, что от него исходил такой же аромат. Но мы знаем, какую глубокую ненависть, какое давнее презрение питал могучий столяр по отношению к своему худенькому сопернику.

Неподалеку от них находились два приятеля, завязавшие в кабаре драку с молодыми парнями. «Мешок с алебастром», этот каменщик, сбросивший во время пожара своего ребенка и свою жену с третьего этажа на руки Эркюля Фарнезы по кличке Жан Бычок и потом выпрыгнувший сам. Этот «Мешок с алебастром», белый, как и тот материал, с которым он обычно работал и от которого и произошло его прозвище, стоял под руку с гигантом, чье лицо было настолько же черным, насколько оно было белым у «Мешка с алебастром». Этот гигант, похожий на титана, супруга Ночи, был рослым угольщиком, и Жан Бычок, когда у него был день веселья и педантизма, дал ему прозвище Туссен-Лувертюр.

Кроме того, в толпе находились все те одетые в черное люди, которые стояли во дворе префектуры полиции в ожидании последних инструкций господина Жакаля и знака выступить.

В тот момент, когда солдаты с примкнутыми штыками стали приближаться к гробу, двадцатка человек, в благородном порыве, бросились вперед и встали между штыками и учениками школы в Шалоне, которые продолжали нести тело.

Офицер, у которого все спрашивали, осмелится ли он пустить в ход штыки своих солдат против молодых людей, единственным преступлением которых было желание воздать последнее почести своему благодетелю, ответил, что получил от комиссара полиции строжайший приказ и не желает, чтобы его разжаловали в рядовые.

И на всякий случай потребовал в последний раз, чтобы те, кто хотел помешать ему исполнить свой долг, отошли в сторону. Обратившись к молодым людям, защищенным этой живой стеной, он приказал опустить гроб на землю.

– Не опускайте! Не подчиняйтесь ему! – закричали со всех сторон. – Мы все поддержим вас!

И молодые люди, действительно, своими словами и решительным поведением показали, что готовы рисковать жизнью, но не отступить.

Офицер приказал своим людям продолжать движение; поднявшиеся было вверх штыки снова опустились.

– Смерть комиссару! Смерть офицеру! – завопила толпа.

Человек в черном поднял руку, послышался свист дубинки, и кто-то, получив удар по виску, рухнул, обливаясь кровью, на мостовую.

В то время город еще не знал страшных волнений, которые произойдут 5 и 6 июня и 13 и 14 апреля, и окровавленный человек еще был чем-то необычным.

– Убийцы! – закричала толпа. – Убийцы!

Словно ожидая этих слов, две или три сотни полицейских выхватили из-под плащей точно такие же дубинки, действие одной из которых было только что наглядно продемонстрировано.

Это было началом боевых действий.

Все, у кого оказались палки, подняли их над головой, те, у кого в карманах были ножи, достали их.

Хорошо подготовленный бунт начался взрывом. Публика, говоря театральным языком, была подогрета.

Жан Торо, человек сангвинической храбрости, иными словами, человек первого порыва души, моментально позабыл молчаливые рекомендации Сальватора.

– Ага! – сказал он, отпуская руку Фифины и поплеывая на руки, – думаю, что мы сможем от души повеселиться!

И, как бы пробуя свои силы, подхватил ближайшего к нему полицейского, приподнял его над собой, готовясь его куда-нибудь бросить.

– Ко мне! Помогите, друзья! – закричал полицейский, чей голос слабел с каждой минутой, потому что железные руки Жана Торо сжимались все сильнее.

«Стальная Жила», услышав этот призыв к помощи, ящерицей прошмыгнул сквозь толпу, подскочил к Жану Торо сзади и уже поднял над его головой короткую обитую свинцом палку, но тут «Мешок с алебастром», встав между шпиком и плотником, ухватился за палку, а в это время подоспевший тряпичник, безусловно желая оправдать свое прозвище, подставил ногу, и «Стальная Жила» упал.

Начиная с этого самого момента, началась невообразимая свалка, слышались пронзительные крики оказавшихся втянутыми в драку женщин.

Полицейский, которого Жан Торо поднял над собой, словно Геракл Антея, выронил дубинку, и она отлетела к ногам Фифины. Та подняла ее и, засучив рукава до локтя, с расстрепанными на ветру белокурыми волосами начала наносить удары направо и налево по головам всех, кто пытался к ней приблизиться. Два-три удара, нанесенных этой Брадамантой, привлекли внимание двух или трех полицейских, и она непременно получила бы свою долю тумачков, но тут к ней пробилась Коперник и Фафиу.

Вид приближающегося к Фифине Фафиу наполнил яростью Жана Торо. Швырнув полицейского в толпу, он повернулся к скомороху.

– Попался! – крикнул он.

Протянув руку, он схватил Фафиу за шиворот.

Но едва он его схватил, как получил по голове удар освинцованной дубинки, заставивший его выпустить жертву.

Он тут же узнал ударившую его руку.

– Фифина! – взревел он с пеной ярости на губах. – Ты что, хочешь, чтобы я тебя прибил?

– Ну ты, подонок! – сказала она. – Попробуй только поднять на меня руку!

– Да я не на тебя ее поднял, а на него!

– Посмотрите-ка на этого плотняшку, – сказала она «Мешку с алебастром» и Крючку. – Ведь он хочет задушить человека, который только что спас мне жизнь!

Жан Торо вздохнул, словно прорычал. А потом крикнул Фафиу:

– Пошел вон! Если хочешь остаться в живых, поменьше встречайся на моем пути!

Пока происходила эта сцена, справа от Жана Торо и его приятелей по кабаре, посмотрим, что же случилось слева от группы Сальватора и наших четырех молодых людей.

Как мы уже видели, Сальватор рекомендовал Жюстену, Петрюсу, Жану Роберу и Людовику соблюдать строжайший нейтралитет. Однако Жюстен, самый спокойный с виду из всех четверых, первым нарушил приказание.

Расскажем сначала, как они стояли.

Жюстен находился слева от Сальватора, в то время как трое остальных держались немного сзади.

Вдруг Жюстен услышал в трех шагах от себя крик боли и детский голос:

– Ко мне, мсье Жюстен! Помогите!

Услыхав свое имя, Жюстен рванулся вперед и увидел Баболена, катавшегося по земле под ударами полицейского.

Быстрым, как полет мысли, движением, он резко оттолкнул полицейского и нагнулся, чтобы помочь Баболену подняться с земли. Но в тот самый момент, когда он наклонился, Сальватор увидел, что над головой Жюстена была занесена дубинка полицейского. Бросившись вперед, он вытянул руки, чтобы уберечь голову Жюстена от неминуемого удара. Но, к его огромному удивлению, дубинка так и осталась поднятой, а до его ушей донесся ласковый голос:

– А, здравствуйте, дорогой мсье Сальватор! Как я рад снова увидеться с вами!

Это был голос господина Жакаля.

Глава VIII

Арест

Господин Жакаль, узнав в Жюстене друга Сальватора и любовника Мины и увидев опасность, которая ему угрожала, бросился вперед одновременно с Сальватором для того, чтобы отвести угрозу.

Вот так и встретились обе руки.

Но покровительство господина Жакаля на этом не закончилось.

Жестом руки приказав своим людям не трогать этих людей, он отвел Сальватора в сторону.

– Дорогой мсье Сальватор, – сказал он ему, поднимая на нос очки, чтобы за разговором не упустить ничего из того, что творилось в толпе, – дорогой мой мсье Сальватор, я хочу дать вам хороший совет.

– Слушаю вас, дорогой мсье Жакаль.

– Дружеский совет... Вы ведь знаете, что я – ваш друг?

– Во всяком случае, льщу себя такой надеждой, – ответил Сальватор.

– Ну так вот, посоветуйте мсье Жюстену и всем лицам, которым найдете нужным, – он глазами указал на Петрюса, Людовика и Жана Робера, – посоветуйте им, повторяю, уйти отсюда и... сами сделайте то же самое.

– Это еще почему, дорогой мсье Жакаль? – воскликнул Сальватор.

– Потому что с ними может случиться несчастье.

– Ба!

– Да-да! – кивнул господин Жакаль.

– Значит, здесь возможен бунт?

– Очень этого опасаясь. Все, что сейчас происходит, очень напоминает мне начало восстания.

– Да, все восстания и беспорядки начинаются одинаково, – сказал Сальватор. – Правда, – добавил он тут же, – не все они одинаково заканчиваются.

– Ну, эта смута закончится, как надо, я в этом уверен, – ответил господин Жакаль.

– О! Коль скоро вы в этом уверены!.. – произнес Сальватор.

– У меня нет в этом никаких сомнений.

– Черт возьми!

– А посему, сами понимаете, несмотря на особое покровительство, которое я могу оказать вашим друзьям, может случиться так, что, как я уже сказал, с ними приключится какое-нибудь несчастье. Вот я и прошу вас уговорить их уйти отсюда.

– Я не стану этого делать, – сказал Сальватор.

– Почему же?

– Потому что они решили остаться здесь до самого конца.

– Для чего же?

– Просто из любопытства.

– Фу! – сказал господин Жакаль. – Слушайте, это несерьезно.

– Тем более, что, как вы уже сказали, мы можем быть уверены в том, что верх одержат силы правопорядка.

– Но это не помешает тому, что ваши молодые люди, оставшись...

– Что же?

– Рискуют...

– Чем?

– Дьявол! Тем, чем люди рискуют во время беспорядков: их могут убить.

- В таком случае, мсье Жакаль, сами понимаете, я их жалеть не буду.
- Вот как? Вам их будет не жалко?
- Да! Они получают то, что заслужат.
- Как это: то, что заслужат?
- Очень просто! Им захотелось посмотреть на беспорядки, пусть же они испытают на себе все последствия своего любопытства.
- Им захотелось посмотреть на беспорядки? – переспросил господин Жакаль.
- Да, – ответил Сальватор.
- Значит, они знали, что будут волнения? Выходит, ваши друзья были в курсе того, что должно будет произойти?
- Да, они были полностью об этом осведомлены, дорогой мсье Жакаль. Самые бывалые моряки не смогли бы предугадать приближение бури с большей точностью, чем мои друзья учуяли приближение бунта.
- Правда?
- Несомненно. Признайтесь, дорогой мсье Жакаль, что надо быть совершенным глупцом, чтобы не понять, что происходит.
- Ну хорошо! И что же, по-вашему, происходит? – спросил господин Жакаль, водружая очки на нос.
- А вы сами не знаете?
- Абсолютно.
- Тогда спросите вон у того господина, которого сейчас арестовывают вот там.
- Где это? – спросил господин Жакаль, не потрудившись даже поднять на лоб очки, что ясно показывало, что он, так же, как и Сальватор, прекрасно видел, что арест действительно имел место. – Какого еще господина?
- Ах да, я и забыл, – сказал Сальватор. – У вас ведь такое плохое зрение, что этого вы увидеть никак не можете. И все же попытайтесь... Посмотрите, вон там, в двух шагах от монаха.
- Да, действительно, вроде бы я вижу кого-то в белом.
- О, небо! – воскликнул Сальватор. – Но ведь это же аббат Доминик, друг бедняги Коломбана. А я-то полагал, что он находится в Бретани в замке Пеноель.
- Он там, действительно, был, – сказал господин Жакаль. – Но сегодня утром вернулся в Париж.
- Сегодня утром? Благодарю вас за ценные сведения, мсье Жакаль, – с улыбкой произнес Сальватор. – Ну, а рядом с ним, видите?..
- А! Честное слово, вижу! И правда, арестовали какого-то человека. Мне от всего сердца жаль этого гражданина.
- Так вы его не знаете?
- Нет.
- А тех, кто его арестовывает?
- У меня такое слабое зрение... И потом, мне кажется, что их там очень много.
- Меня интересуют те двое, которые держат его за шиворот.
- Да, да, мне знакомы эти молодцы. Но только, где же это я их видел? Вот в чем вопрос.
- Так и не вспомнили?
- Честное слово, нет.
- Может быть, хотите, чтобы я вам подсказал?
- Вы доставили бы мне этим большое удовольствие.
- Значит, так: одного из них, того, что пониже, вы видели в тот момент, когда он отправлялся на каторгу, а другого, что повыше ростом, когда он с каторги возвращался.
- Да! Да! Да!
- Теперь вспомнили?

– Да я ведь знаю их, как облупленных: это мои служащие. Но, черт побери, что они там делают?

– Полагаю, что выполняют ваше задание, дорогой мсье Жакаль.

– Тьфу! – сказал господин Жакаль. – А может быть, они работают по своей собственной инициативе. Знаете, с ними иногда случается и такое.

– Э, глядите-ка, и впрямь, – сказал Сальватор. – Один из них срезает цепочку со своего пленника!

– А я вам что говорил... Ах, дорогой мсье Сальватор, в полиции работает много нечестных людей!

– Кому вы это рассказываете, мсье Жакаль?

И, вероятно, не желая, чтобы его дальше видели в обществе господина Жакаля, Сальватор отступил на шаг и попрощался.

– Мне доставило большое удовольствие встретиться с вами, мсье Сальватор, – сказал начальник полиции и быстрыми шагами направился в другую сторону. Туда, где Жибасье и Карманьоль пытались произвести арест господина Сарранти.

Мы говорим *пытались* потому, что, хотя двое полицейских и держали господина Сарранти за ворот, тот отнюдь не считал себя арестованным.

Сначала он попытался отговориться.

На слова «Именем короля, вы арестованы!», сказанные ему одновременно в оба уха Карманьолем и Жибасье, он ответил громко:

– Вы арестовываете меня? За что же?

– Не надо скандала! – сказал ему на это Жибасье. – Мы вас знаем.

– Вы меня знаете? – воскликнул Сарранти, взглянув поочередно на обоих полицейских.

– Да, вас зовут Дюбрей, – произнес Карманьоль.

Мы помним, что господин Сарранти написал своему сыну, что в Париж он прибыл под фамилией Дюбрея и что господин Жакаль рекомендовал полицейским арестовать этого упорного заговорщика именно под этой фамилией, чтобы не придавать аресту политической окраски.

Увидев, что его отца арестовывают, Доминик, влекомый первым душевным порывом, бросился к родителю.

Но господин Сарранти сделал ему знак остановиться.

– Не вмешивайтесь в это дело, мсье, – сказал он монаху. – Произошла какая-то ошибка, и я уверен, что завтра я буду выпущен на свободу.

Монах подчинился этим словам, в которых был приказ, и отступил назад.

– Разумеется, так оно и будет, – сказал Жибасье. – Если мы ошиблись, завтра вас выпустят.

– Вначале скажите мне, – произнес Сарранти, – по чьему приказу меня арестовывают.

– Вы арестованы на основании ордера на арест некоего мсье Дюбрея, на которого вы настолько похожи, что я не могу не исполнить свой долг и не задержать вас до выяснения вашей личности.

– И почему же вы, так опасаясь скандала, арестовываете меня именно здесь, а не в другом месте?

– Да потому, что мы арестовываем людей там, где мы их встречаем! – сказал на это Карманьоль.

– Не говоря уже о том, что мы охотимся за вами начиная с сегодняшнего утра, – добавил Жибасье.

– Как это с утра?

– Да, – сказал Карманьоль, – с тех пор, как вы ушли из гостиницы.

– Из какой гостиницы? – спросил Сарранти.

– Из гостиницы на площади Сент-Андре-дез-Арк, – ответил Жибасье.

При этих словах в мозгу Сарранти словно сверкнула молния догадки. Ему показалось, что он уже где-то видел лицо, слышал голос Жибасье.

Ему тут же вспомнилось его путешествие, венгр, фельдъегерь, ямщик... Все это было словно в тумане, но настолько явственно, что он инстинктивно понял: сомнений быть не могло.

– Негодяй! – вскричал корсиканец, побледнев, как полотно, и сунув руку под одежду.

Жибасье увидел, как сверкнуло лезвие кинжала, и, возможно, смерть настигла бы его столь же стремительно, как гром следует за молнией, если бы Карманьоль, вовремя заметивший и понявший движение пленника, не схватился обеими руками за руку, державшую оружие.

Почувствовав, что зажат этими двумя людьми, Сарранти, собрав все силы, которые может только придать человеку его воля в решающий момент, сумел освободить руку и метнулся с кинжалом в руке в плотную толпу людей.

– С дороги! – крикнул он. – С дороги!

Но Жибасье и Карманьоль уже бросились за ним следом и успели условным сигналом позвать на помощь своих коллег.

В мгновение ока вокруг Сарранти образовалось непреодолимое кольцо. Двадцать дубинок поднялись над головами, и он, несомненно, моментально пал бы, как бык на бойне под молотами забойщиков скота, если бы вдруг не раздался чей-то голос:

– Живым! Брать только живым!

Полицейские немедленно узнали голос господина Жакаля и, зная, что на них смотрит начальник, набросились на господина Сарранти.

Образовалась ужасная свалка. Один человек какое-то мгновение отбивался от двадцати, потом упал на колени, а вскоре пропал из виду...

Увидев, что отец его упал, Доминик рванулся к нему на помощь, но в этот самый момент ревушая от ужаса толпа хлынула, как поток, вдоль по улице и разделила отца и сына.

Чтобы не быть унесенным людским потоком, монах ухватился за решетку дворца. Когда же толпа промчалась мимо, господина Сарранти и людей, с которыми он бился, уже не было...

Глава IX

Официальные газеты

Мы привели всего несколько сенок, которые разыгрывала полиция господина Делаво 30 марта благословенного года 1827.

Почему произошел этот скандал? В чем была причина этого странного надругательства над останками благородного герцога?

Это было известно каждому.

Правительство не могло простить господину де Ларошфуко-Лианкуру искренности его политических взглядов. Чтобы один из Ларошфуко принадлежал к оппозиции, да еще и голосовал с нею заодно!.. По правде говоря, это было оскорбление короля, и правительство просто обязано было наказать герцога за это.

Все забыли о том, что один из Ларошфуко был в XVII веке участником Фронды. И что он был уже наказан дважды: вначале ранен выстрелом из аркебузы в лицо, а потом поражен неверностью в сердце.

Правительство мало-помалу отняло у господина де Ларошфуко – современного, разумеется, – все неоплачиваемые должности и все функции, связанные с благотворительностью. Но, не удовлетворившись тем, что сумело досадить ему при жизни, оно захотело наказать его и после смерти, помешав признательной толпе засвидетельствовать любовь и уважение, которое внушил населению Парижа герцог во время своей продолжительной жизни, посвященной только двум предметам: состраданию и воспитанию.

Таким образом, толпа прекрасно знала, кто отдавал приказы, и справедливо или нет, но козлом отпущения политики правительства в 1827 году все называли господина де Корбьера.

В конце повествования мы увидим ужасающие сцены беспорядка, подавленные выступления народа, которые сама же полиция инспирировала в то время. А пока мы полагаем, что основных сцен этого дня вполне достаточно для того, чтобы дать читателю представление о той ужасной давке и кровавой потасовке, которые имели место во время похорон всеми уважаемого герцога.

Расскажем еще о причинах образования того потока из мужчин, женщин и детей, который разлучил Доминика и господина Сарранти, сына и отца.

В тот момент, когда буря возмущения достигла своего апогея, когда со всех сторон слышались призывы к убийству, вопли мужчин, визги женщин и плач детей, то есть в тот момент, когда солдаты с примкнутыми штыками, наступая на учеников из школы в Шалоне, хотели любым путем добраться до гроба, внезапно раздался протяжный крик, сопровождавшийся зловещим шумом. Эти крик и шум как по мановению волшебной палочки перекрыли и заставили смолкнуть все крики и стоны человеческого моря.

На мгновение наступила ужасающая своей неестественностью тишина. Можно было подумать, что изо всех грудей разом улетела жизнь.

Крик этот вылетел из окон, расположенных, словно театральные ложи, над сценой, где разыгралась драма.

Этот крик испустила толпа, увидевшая, как один из несших гроб молодых людей был ранен штыком. А этот услышанный всеми зловещий шум был глухим шумом падения гроба с останками герцога: солдаты тянули его в одну сторону, молодые люди – в другую, и в конце концов он тяжело упал на мостовую.

В то же мгновение словно молния ударила в толпу, и очевидцы этой ужасной сцены в испуге разом отпрянули в стороны, оставив в середине образовавшегося пустого пространства одних перепуганных молодых людей.

Это движение, неправильно истолкованное теми, кто услышал удар гроба о мостовую, но не понял его причины, и послужило причиной повального бегства людей во все стороны на прилегающие улицы и, в частности, на улицу Мондови.

Один из молодых людей остался лежать на мостовой рядом с гробом: он получил ранение штыком в бок. Приятели подхватили его под руки и потащили с собой.

При этом за ними на мостовой оставался кровавый след.

Хозяевами положения остались офицер, комиссар полиции и солдаты.

Как и предсказывал Сальватор, сила была на стороне правопорядка. Сам же Сальватор, оставаясь на прежнем месте, держал одной рукой Жюстена, а другой Жана Робера и говорил Петрюсу и Людовику:

– Если вам дорога жизнь, оставайтесь на месте!

Смущенные и угнетенные содеянным солдаты подошли к полуразбитому гробу и принялись собирать разбросанные по грязной мостовой перепачканные покрывала и знаки отличия покойного.

Мы уже сказали, что после этого первого крика, крика ужасного, крика пронзительного, крика предсмертного, заставившего часть толпы броситься в те стороны, где люди надеялись найти укрытие, наступила мертвая тишина, которая была гораздо более выразительной, чем все вопли.

Действительно, самые решительные протесты, выражение самого глубокого возмущения не смогли бы нести в себе больше горьких упреков, больше кровавых угроз, чем это уважительное отношение толпы к трупу, чем это молчаливое и тихое осуждение людей, надругавшихся над останками.

В наступившей абсолютной тишине человек в черном, спровоцировавший все это святотатство, комиссар полиции, бросился к гробу, заставил носильщиков подойти к гробу, приказав им поставить его на катафалк, и повелительным жестом повелел офицеру оказать при необходимости посильную помощь.

Но внезапно комиссар полиции и офицер смертельно побледнели и лица их покрылись холодным потом: они увидели, что из щели треснувшего в нескольких местах гроба к ним протянулась, словно предупреждение из могилы, высохшая рука покойника, которая, казалось, отделилась от тела и готова была упасть на мостовую.

Скажем сразу же тем, кто попытается обвинить нас в попытке испугать читателя, что в результате расследования, произведенного по поводу этого скандального события, было установлено, что, когда гроб с телом герцога де Ларошфуко был доставлен в Лианкур, место захоронения семьи Ларошфуко, потребовалось провести часть ночи, предшествующей преданию тела земле, в работах не только по ремонту гроба, который, как мы уже сказали, был наполовину разбит, *но и по восстановлению в их нормальном положении конечностей, которые отделились от тела.*²

Сразу же поспешим добавить, чтобы больше не возвращаться к этой печальной теме, что народное возмущение выразилось только криками, пролетевшими из конца в конец Франции.

Все газеты, не подчиненные правительству, описали эту ужасную сцену с гневом и возмущением, которые только и заслуживала эта гнусная профанация.

Обе палаты тоже не остались в стороне. Особенно палата пэров. Поскольку речь шла об одном из ее членов, палата не ограничилась лишь тем, что яростно осудила это надругательство над человеком, единственным преступлением которого было то, что он проголосовал против правительства: палата поручила своему великому референдарии провести расследование этого факта, а когда этот высокопоставленный человек докладывал палате результаты своего расследования, он обвинил во всеуслышание полицию в том, что именно она сознательно

² Ашиль де Волабель. История двух Реставраций. Том VI, глава VII.

спровоцировала этот скандал. Скандал тем более постыдный, что многочисленные прецеденты вполне оправдывали способ перенесения гроба на плечах и что до этого много раз, в частности на похоронах Делиля, Беклара и господина Эммери, наставника семинарии в Сен-Сюльписе, полиция разрешала нести останки их друзьям и ученикам. Помимо всего прочего, гроб с телом господина Эммери учащиеся его семинарии пронесли на руках до самого кладбища в Исси.

Господин де Корбьер выслушал все эти упреки и воспринял их со свойственным ему холодным высокомерием, которое иногда вызывало у палаты в отношении него бурю возмущения. Он не только не нашел нужным произнести хотя бы слово осуждения в адрес полицейского, надругавшегося над останками достойного человека, над которым правительство глумилось при его жизни, но, поднявшись на трибуну, заявил:

– Если бы ораторы, выступления которых мы здесь слышали, ограничились тем, что выразили свои оскорбленные чувства, я бы уважил их боль и сохранил бы молчание. Но здесь была высказана критика в адрес правительства!.. Поведение префекта полиции и его подчиненных было таким, как и положено. Действуя иначе, они нарушили бы свой долг и заслужили бы мое самое суровое порицание!

Палата поблагодарила своего великого референдаря за отчет и решила дожидаться окончания начатого судебного расследования. Расследование это, естественно, вскоре завершилось успешно, но безрезультатно.

Газеты оппозиции и независимые издания выразили на следующий день на своих первых страницах возмущение, которым было охвачено население, а правительственная пресса опубликовала доклад, представленный явно правительством или же префектурой полиции. Будучи опубликованным в трех различных газетах, он мало чем отличался по форме и по содержанию.

Вот приблизительное содержание этого доклада, целью которого было переложить всю ответственность за произошедшее накануне на *бонапартистов*:

«Гидра анархии снова поднимает голову, хотя все считали, что она была навсегда отсечена. Пламя революции, которое все считали погасшим, снова вспыхнуло из пепла и стучится в наши двери. Революция приближается с оружием в руках незаметно и тихо, монархии вновь придется столкнуться лицом к лицу со своим заклятым врагом.

Будьте бдительны, верные слуги Его Величества! Вставайте, преданные сторонники монархии! Алтарь, трон, вера и король в опасности!

Произошедшие вчера достойные сожаления события привели к насилию. Были слышны угрозы, призывы к мятежу и убийству.

К счастью, префект полиции за двадцать четыре часа до этого уже держал в своих руках основные нити заговора. Благодаря усердию и рвению этого умелого руководителя заговор был сорван, и префект полиции надеется, что сумеет утихомирить бурю, которая снова угрожала потопить государственный корабль.

Главарь этого широко раскинувшего свои щупальца заговора арестован. Он находится сейчас в руках правосудия, и друзья правопорядка, преданные подданные короля, узнают цену этого ареста, когда мы сообщим им о том, что главарем заговора, имевшего целью свержение короля и возведение на престол герцога Рейштадского, является не кто иной, как знаменитый корсиканец Сарранти, недавно возвратившийся из Индии, где и родился этот заговор.

Дрожь охватывает при мысли о том, в какой опасности были правительство и Его Величество. Но возмущение немедленно уступает место ужасу, и лишний раз убеждаешься, как следует относиться к людям, которые преданно служили узурпатору, а теперь служат его сыну, когда становится известно, что этот самый Сарранти, несколько дней скрывавшийся в Париже, семь лет тому назад бежал из столицы, избегая ареста по обвинению в совершении грабежа и убийства.

Все, кто в те времена читал газеты, помнят, возможно, что в деревушке Вири-сюр-Орж в 1820 году произошло ужасное преступление. Один из самых уважаемых людей кантона, вер-

нувшись вечером к себе домой, увидел, что его денежный сейф взломан, гувернантка убита, два юных племянника похищены, а воспитатель детей исчез.

Этим воспитателем был не кто иной, как господин Сарранти.

Следствие по этому делу уже начато».

Глава X Родство душ

Выразительный взгляд, брошенный господином Сарранти на аббата Доминика, и те несколько фраз, которые были произнесены им во время ареста, потребовали от бедного монаха полной выдержки, крайней скрытности.

Будучи разлученным с отцом, Доминик помчался вверх, по улице Риволи. Там он встретил группу возбужденных и разгоряченных людей и понял, что ядром этой группы, быстро двигавшейся в направлении Тюильри, был господин Сарранти. Поэтому Доминик последовал за полицейскими, но следил за ними осторожно и издали из-за своего одеяния, заметного с первого взгляда.

Действительно, в то время Доминик был, возможно, единственным в Париже монахом-доминиканцем.

На углу улицы Сент-Никез группа остановилась, и Доминик, дошедший до угла площади Пирамид, увидел, как тот, кто, казалось, был начальником полицейских, подозвал фиакр и, когда он подъехал, велел усадить туда господина Сарранти.

Доминик проследовал за фиакром через площадь Каррусель так быстро, насколько позволяли ему одеяния, и оказался у набережной Тюильри, когда фиакр заворачивал на Новый мост.

Было ясно, что фиакр направляется в префектуру полиции.

Увидев, что фиакр скрылся за углом набережной Люнетт, аббат Доминик почувствовал, как вся кровь в его венах прихлынула к сердцу, а в голове у него стали роиться тысячи самых страшных мыслей.

К себе он вернулся полностью уничтоженным, уставшим телом и с разбитым сердцем.

Два дня и две ночи, проведенные в дилижансе, все волнения и тревоги, пережитые за прошедший день, сомнения в причинах ареста отца – всего этого было вполне достаточно для того, чтобы сломать человека более крепкого телом, надломить душу более стойкую.

Когда он вошел в свою комнату, на дворе уже стояла ночь. Не имея ни сил, ни желания есть, он упал на кровать и попытался немного отдохнуть. Но на него нахлынули видения, тысячи призраков вились над головой, и спустя четверть часа он снова был на ногах, шагая из угла в угол по комнате, словно для того, чтобы заснуть, ему надо было истратить остаток сил, или скорее унять сжигающую его лихорадку.

Беспокойство заставило его выйти на улицу. Было темно, его одежда казалась уже не столь заметной в темноте и не привлекала к нему всеобщего внимания. Он направился к префектуре полиции, которая поглотила, как ему виделось, его отца. Она представлялась ему пропастью, куда прыгнул пловец Шиллера и откуда, подобно этому пловцу, люди выходили испуганными видениями обитавших там чудовищ.

Однако войти туда он не посмел. Ведь если бы узнали, что Сарранти его отец, явка туда была бы равносильна разоблачению.

Разве господина Сарранти арестовали не как Дюбрея? Не лучше ли оставить за ним право использовать это вымышленное имя, которое никак не указывало на то, что под ним скрывается опасный и упорный заговорщик?

Доминик еще не знал причины возвращения отца во Францию, но смутно догадывался о том, что побудило его на возвращение дело всей его жизни: возведение на престол императора или, поскольку император умер, герцога Рейштадского.

Два часа кряду сын бродил, как тень, вокруг этой темницы отца, шагая от улицы Дофина до площади Арле и от набережной Люнетт до площади перед Дворцом Правосудия, не имея ни малейшей надежды снова увидеться с тем, кого он искал, поскольку только чудом он смог

бы увидеть, как отца перевозили бы из префектуры в какую-нибудь тюрьму. Но чудо это мог сотворить только Господь Бог, и добрый, и простой Доминик бессознательно молил Бога об этом чуде.

Но на сей раз надеждам его не суждено было сбыться. В полночь он вернулся домой, лег на постель, закрыл глаза и, обессиленный, заснул.

Но едва он заснул, на него напали самые страшные сновидения. Ему пригрезились кошмары в виде гигантской летучей мыши, которая всю ночь парила над его головой. Когда наступил рассвет, Доминик проснулся. Но сон, вместо того, чтобы восстановить его силы, только увеличил усталость. Доминик встал, пытаясь спросонья вспомнить о ночных видениях. Ему показалось, что среди этого хаоса бури он заметил, как пролетел светлый и чистый ангел.

Ему привиделось, как к нему подошел юноша с нежным и кротким лицом, протянул руку и на незнакомом языке, который все же был понятен, сказал: «Положись на меня, я помогу тебе».

Лицо этого юноши казалось Доминику знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах он видел его. Был ли этот юноша реальностью или только одним из неясных воспоминаний нашей предыдущей жизни, которые иногда мелькают в нашем мозгу с быстротой мысли? Не был ли он воплощением надежды, мечтой проснувшегося человека?

Доминик, стараясь увидеть хотя бы что-нибудь в темных закоулках своего мозга, задумчиво уселся у окна на тот же стул, на котором он сидел накануне, любясь картиной «*Святой Гиацинт*», ныне отсутствовавшей в комнате. И тут ему на память пришли воспоминания о Кармелите и Коломбане, а, вспомнив об этих своих друзьях, он вспомнил и о Сальваторе.

Именно Сальватор был тем ангелом в ночи, именно этот прекрасный юноша с нежным и кротким лицом стоял у его изголовья и прогнал прочь от его кровати тучи отчаяния.

И тогда перед его глазами встала вся та душераздирающая сцена, в которой появился Сальватор. Он снова увидел себя сидящим в павильоне Коломбана в Ба-Медоне, тихо произносящим молитвы о мертвых, вознеся к небу глаза, полные слез.

Вдруг в комнату, где находился покойник, вошли, склонив обнаженные головы, двое юношей: это были Жан Робер и Сальватор.

Увидев Доминика, Сальватор испустил нечто вроде радостного восклицания, внутренний смысл которого он так бы и не понял, если бы Сальватор, подойдя поближе, не произнес голосом одновременно твердым и взволнованным: «Отец мой, вы сами, не подозревая того, спасли жизнь человеку, который стоит перед вами. И человек этот, которого вы больше ни разу не видели, ни разу не встретили, испытывает к вам глубокую признательность... Не знаю, смогу ли я когда-нибудь вам понадобиться, но я клянусь самым святым, что есть на свете, клянусь над телом этого благородного человека, только что испутившего последний вздох, клянусь собой, в том, что моя жизнь принадлежит всецело вам». Тогда Доминик ответил: «Я принимаю вашу клятву, мсье, хотя и не знаю, когда и каким образом я сумел оказать вам услугу, о которой вы говорите. Но все люди – братья и приходим мы на свет Божий для того, чтобы помогать друг другу. Поэтому, брат мой, когда вы мне понадобитесь, я приду к вам за помощью. Скажите мне ваше имя и где я могу вас найти?»

Мы помним, что Сальватор подошел к конторке Коломбана, написал на листке свое имя и адрес и протянул бумагу монаху, который свернул записку и положил ее в свой часослов.

Доминик живо пошел в библиотеку, взял со второй полки нужную книгу, открыл ее и нашел бумажку на той же самой странице, куда он ее и положил.

И тогда, словно бы все это происходило сегодня, он вспомнил одежду, голос, черты лица, мельчайшие подробности своей встречи с Сальватором и признал в нем того самого юношу с нежным лицом и ласковой улыбкой, которого он видел во сне.

– Значит, – произнес он, – колебаться не приходится, это – знамение небес. Этот юноша, как мне показалось, находится, уж не знаю почему, в хороших отношениях с одним из высших

чинов полиции, с тем самым, с которым он, как я видел вчера, разговаривал у церкви Вознесения. Через этого полицейского он, возможно, сможет узнать причину ареста отца. Нельзя терять ни минуты, надо бежать к мсье Сальватору!

Он быстро привел в порядок свои монашеские одеяния.

Когда он уже собрался уходить, в комнату вошла консьержка, держа в одной руке чашку молока, а в другой газету. Но у Доминика не было времени на то, чтобы читать газету и завтракать. Поэтому он велел консьержке поставить чашку и положить газету на подоконник, рассчитывая, что вернется через час-другой, и сказав ей, что ему надо срочно на время уйти.

Потом он стремительно сбежал по лестнице и через десять минут уже был на улице Макон перед домом, где проживал Сальватор.

И стал безрезультатно искать молоток или звонок.

Дверь открывалась днем при помощи цепочки, которая поднимала задвижку. На ночь цепочка убиралась и дверь оставалась закрытой.

То ли потому, что никто еще из дома не выходил, то ли потому, что цепочка случайно слетела, открыть дверь не представлялось никакой возможности.

Поэтому Доминику пришлось стучать сначала кулаком, потом подобранным неподалеку камнем.

Ему пришлось бы стучать так бесконечно долго, если бы голос Роланда не предупредил Сальватора и Фраголу о том, что к ним пришел с визитом неожиданный гость.

Фрагола насторожилась.

– Это друг, – сказал Сальватор.

– А ты откуда узнал?

– Слышишь, как весело и ласково лает собака? Открой окно, Фрагола, и увидишь, что это – друг.

Фрагола открыла окно и узнала аббата Доминика, которого видела в день смерти Коломбана.

– Это монах, – сказала она.

– Какой монах?.. Аббат Доминик?

– Да.

– О! Я ведь говорил тебе, что это друг!.. – воскликнул Сальватор.

И он быстро спустился по ступенькам вслед за Роландом, который бросился вниз, едва открылась дверь.

Глава XI

Бесполезная информация

Сальватор нежным и уважительным жестом протянул навстречу аббату Доминику обе руки.

– Это вы, отец мой! – воскликнул он.

– Да, – серьезным тоном ответил монах.

– О! Добро пожаловать, проходите, пожалуйста!

– Вы, значит, меня узнаете?

– Разве не вы мой спаситель?

– Вы мне уже это говорили, и при слишком печальных обстоятельствах, чтобы я стал вам об этом напоминать.

– Я вам это снова повторяю.

– А помните, что вы при этом еще сказали?

– Что если я когда-либо вам понадобится, вы можете рассчитывать на мою помощь.

– Видите, я не забыл ваших слов. И теперь пришел к вам именно потому, что нуждаюсь в вашей помощи.

Говоря все это, они вошли в ту маленькую столовую, которая была украшена античным рисунком из Помпеи.

Юноша предложил монаху стул и, жестом отогнав Роланда, обнюхивавшего одежду аббата Доминика, словно старавшегося выяснить для себя, при каких же обстоятельствах они встречались, сел рядом. Роланд, которому хозяин не разрешил принимать участие в разговоре, забился под стол.

– Слушаю вас, отец мой, – сказал Сальватор.

Монах положил свою тонкую белую ладонь на руку Сальватора. Несмотря на бледность, ладонь его была горячеей.

– Человек, к которому я испытываю глубокую привязанность, – сказал аббат Доминик, – только вчера приехал в Париж и был арестован вчера, когда находился рядом со мной на улице Сент-Оноре, около церкви Вознесения. А я не смог помочь ему, поскольку мне помешала вот эта одежда.

Сальватор кивнул.

– Я видел его, отец мой, – сказал он. – И должен воздать ему должное: он упорно защищался.

Аббат вздрогнул, вспомнив вчерашнюю сцену.

– Да, – сказал он, – и боюсь, как бы эта самооборона не была поставлена ему в вину.

– Значит, – продолжал Сальватор, пристально взглянув на монаха, – вы знакомы с этим человеком?

– О, я ведь вам уже сказал, что питаю к нему глубокую привязанность.

– И в каком же преступлении его обвиняют? – спросил Сальватор.

– Вот этого-то я и не знаю. И именно это мне и хотелось бы узнать. Поэтому я и прошу вас оказать мне услугу и помочь мне узнать причину его ареста.

– И это все, чего вы желаете, отец мой?

– Да. Я видел, как вы приехали в Ба-Медон в сопровождении человека, который показался мне одним из высших чинов полиции. Вчера я снова видел, как вы разговаривали с этим же человеком. Вот я и подумал, что через него вы, может быть, сможете узнать, в каком преступлении обвиняется мой... мой друг.

– Как зовут вашего друга, отец мой?

– Дюбрей.

– Чем он занимается?

– Он бывший военный и живет, полагаю, на свои доходы.

– Откуда он приехал?

– Из дальних стран... Из Азии...

– Значит, он путешественник?

– Да, – ответил аббат, грустно покачав головой. – А разве все мы в этом мире не путешественники?

– Сейчас я надену плащ, отец мой, и пойду с вами. Я вас не задержу, поскольку грустное выражение вашего лица подсказывает мне, что вы находитесь во власти сильного волнения.

– Да, очень сильного, – ответил монах.

Сальватор, на котором была надета блуза, вышел в соседнюю комнату и скоро появился в плаще.

– Я в вашем полном распоряжении, отец мой, – сказал он.

Аббат живо поднялся, и они спустились вниз.

Роланд поднял голову и проводил их умным взглядом до двери. Увидев, что дверь за ними закрылась, а в нем, вероятно, не нуждаются, поскольку знака следовать за ним хозяин не подал, пес снова положил голову на передние лапы и тяжело вздохнул.

Подойдя к двери, Доминик остановился.

– Куда мы идем? – спросил он.

– В префектуру полиции.

– Прошу вашего разрешения взять фиакр, – сказал монах. – Мои одеяния очень приметны, и у моего друга могут быть неприятности, если узнают, что я им интересуюсь. Поэтому, полагаю, эта предосторожность будет не лишней.

– Я и сам собирался предложить вам это, – сказал Сальватор.

Молодые люди подозвали фиакр и сказали, куда ехать. Сальватор вышел из фиакра сразу же, как они проехали мост Сен-Мишель.

– Я буду ждать вас на углу набережной и площади Сен-Жермен-л'Оксерруа, – сказал монах.

Сальватор кивнул в знак согласия. Фиакр покатил дальше по улице Барильери, а Сальватор направился в сторону набережной Орфевр.

В префектуре господина Жакаля не было. Произошедшие накануне события взволновали Париж. Поэтому полиция опасалась, или, точнее, ждала, что на улицах будут происходить манифестации. Все полицейские во главе с господином Жакалем были в городе, а дежурный не знал, в котором часу вернется господин Жакаль.

Поэтому ждать его в префектуре не имело никакого смысла: лучше было отправиться на его поиски.

Глубокое знание характера господина Жакаля и инстинкт заговорщика подсказали Сальватору, где можно найти префекта полиции.

Он вышел на набережную, свернул направо и поднялся на Новый мост.

Не успел он сделать по мосту и десятка шагов, как его догнала какая-то карета. Услышав призывный стук по стеклу окошка, он остановился.

Карета тоже остановилась.

Открылась дверца.

– Садитесь! – послышался чей-то голос.

Сальватор уже собрался было отказаться, сославшись на то, что ему надо было встретиться с ожидавшим его другом, но тут он узнал человека, который приглашал его сесть в карету: это был генерал Лафайет.

И Сальватор без колебаний сел рядом.

Карета снова тронулась, но очень медленно.

– Вы – мсье Сальватор, не так ли? – спросил генерал.

– Да. И я дважды счастлив, генерал, что нахожусь рядом с вами, представителем Верховной венты.

– Это так. Я узнал вас, вот почему и остановился. Вы ведь глава ложи, не так ли?

– Да, генерал.

– Сколько у вас людей?

– Я не могу сказать точно, генерал. Но их у меня много.

– Двести? Триста?

Сальватор улыбнулся.

– Генерал, – сказал он. – В тот день, когда я вам буду нужен, обещаю, что выставлю три тысячи бойцов.

Генерал с удивлением взглянул на Сальватора.

Сальватор подтвердил кивком головы.

На лице юноши было написано такое выражение доверия, что сомневаться в правдивости его слов не приходилось.

– Чем больше их у вас, тем скорее вы должны узнать новость.

– Какую же?

– Венское дело провалилось.

– Так я и думал, – сказал Сальватор. – Потому-то я и приказал моим людям не принимать участия во вчерашних событиях.

– И правильно сделали. Сегодня полиция ждет бунта.

– Знаю.

– А ваши люди?..

– Приказ, отданный мною вчера, действителен и сегодня. Теперь, генерал, смею вас спросить, из надежного ли источника новость, которую вы мне только что сказали?

– Я узнал ее от мсье де Моранда, которому передал это герцог Орлеанский.

– А принц, несомненно, знает какие-то подробности?

– Подробности положительного характера. Вчера пришла почта под видом торговой переписки дома Акроштайна и Эскелеса из Вены с домом Ротшильдов в Париже. В ней было предупреждение принцу.

– Так, значит, заговор был выдан?

– Пока неизвестно, провалился ли он по причине деятельности полиции или в результате одной из тех случайностей, которые укрепляют или изменяют лицо империй. Вы, конечно, знаете, о чем там было договорено?

– Да, один из главных руководителей заговора нам об этом рассказал. Герцог Рейштадский через свою любовницу установил связь с одним из старых подданных Наполеона, генералом Лебатаром де Пьемом. Юный принц согласился бежать, и побег его должен был состояться в тот день, когда на бронзовой табличке с надписью «ХАИРЕ», что прикреплена на воротах некой виллы, расположенной между воротами Майдлинга и подножием горы Верт, не будет доставать одной буквы. Вот все, что мне известно.

– Так вот, 24 марта в той надписи не было буквы «Е». В семь часов вечера герцог набросил на плечи пальто и вышел на улицу. Когда он подошел к воротам Майдлинга, путь ему преградил один из охранников, а охранники дворца Шенбрюнн – все являются жандармами.

– Это я, – сказал принц. – Вы что, не узнаете меня?

– Узнаю, монсеньор, – ответил охранник, отдавая честь, – но...

– Это вы будете стоять здесь через пару часов?

– Нет, монсеньор. Сейчас половина восьмого, а меня сменят ровно в девять.

– Ну хорошо. Тогда передайте тому, кто вас сменит, что я вышел погулять. Чтобы, если он меня не узнает, впустил меня назад. После горячего любовного свидания было бы грустно проводить остаток холодной ночи на дороге.

Сказав это, принц вложил в ладонь жандарма четыре золотые монеты.

– Поделитесь с вашим сменщиком, – сказал он стражнику. – Было бы несправедливо, если бы тот, кто меня выпустил, получил всё, а тот, кто впустит, ничего.

Солдат взял золотые, и герцог вышел за ворота. У подножия горы Верт его ожидали карета и четверо сопровождающих верхом. Герцог сел в карету, кучер пустил лошадей в галоп, четверо всадников помчались вслед за каретой.

Одним из этих всадников был генерал Лебатар де Пьемон. Он должен был три первых перегона проскакать верхом, а потом пересест в карету и продолжать путь с герцогом. Беглецы объехали замок Шенбрюнн, потом через Баумгаартен и Хюттельдорф добрались до Вайдлигена. Там находится мост, по которому надо ехать в Вену. На этом мосту была опрокинута повозка с предназначенными на продажу тушами коров. Туши слетели с опрокинутой повозки и образовали посреди моста препятствие, которое мешало проехать карете.

– Расчистите дорогу! – крикнул генерал трем своим спутникам.

Те соскочили с коней и начали уже было разбирать завал, но в тот же самый момент увидели, как из соседней таверны вышел, блестя шлемом и эполетами, генерал Худон. Позади него шли человек двадцать солдат.

– Разворачивай! – приказал генерал переодетому ямщиком человеку.

Тот, понимая опасность ситуации, уже начал разворачивать лошадей, но тут на дороге, по которой беглецы недавно проехали, послышался топот лошадей кавалерийского отряда.

– Спасайтесь, генерал! – крикнул герцог. – Нас предали!

– А как же вы, монсеньор?..

– Успокойтесь, со мной ничего плохого не случится... Спасайтесь же! Спасайтесь!

– И все же, монсеньор...

– Я же вам сказал: спасайтесь! В противном случае вы погибнете!.. Если хотите, я приказываю вам бежать именем моего отца!

– Именем императора, – послышался громкий голос, – стойте!

– Слышали? – сказал герцог. – Бегите, я так хочу! Умоляю вас!

– Вашу руку, монсеньор...

Герцог высунул руку в окошко кареты, и генерал поцеловал ее. Потом, вонзив шпоры в бока коня и натянув поводья, заставил животное прыгнуть через перила моста... Послышался звук падения лошади и человека в воду, и все! Ночь была слишком темной, чтобы можно было увидеть, что с ними случилось. Что же касается герцога, то его доставили в Вену, во дворец австрийского императора.

– И вы полагаете, генерал, – спросил Сальватор, – что эта повозка перевернулась по чистой случайности? Что солдаты тоже случайно оказались по обе стороны моста?

– Это не исключено, но герцог Орлеанский так не думает. Он считает, что полиция господина Меттерниха была предупреждена французской полицией. Во всяком случае, вы предупреждены... Будьте осторожны!

Генерал приказал кучеру остановиться.

– Будьте спокойны, генерал! – сказал Сальватор.

Видя, что он не решается выйти из кареты, Лафайет спросил:

– Что еще?

– Не соизволите ли вы на прощание оказать мне ту же честь, которую оказал герцог Рейштадский генералу Лебатару де Пьемону?

И он взял руку генерала с намерением ее поцеловать. Но тот отдернул руку и подставил для поцелуя щеку.

– Поцелуйте меня, – сказал он, – и потом облобызайте вместо моей руки руку первой же встреченной вами красивой женщины.

Сальватор поцеловал генерала, вылез из кареты, и она покатила в сторону Люксембургского дворца.

А Сальватор вернулся назад через улицу Дофина и мост Искусств.

На углу набережной и площади Сен-Жермен-л'Оксерруа его ждал фиакр.

Тревога бедного Доминика стала бы еще сильнее, узнай он то, что генерал Лафайет только что рассказал Сальватору!

Сальватор в двух словах объяснил Доминику, что господина Жакаля на месте не оказалось и, не говоря, кто его задержал, попытался объяснить причину своего опоздания.

Но, повторяем, Сальватор знал, где он мог найти господина Жакаля.

И поэтому он, не колеблясь, велел кучеру ждать его с братом Домиником на углу улицы Нев-дю-Люксамбур и, пока фиакр колесил по набережным, пешком отправился на улицу Сент-Оноре.

Как он и предполагал, улица Сент-Оноре была забита народом, начиная от церкви Сен-Рош.

Париж славится тем, что там есть «сегодняшние зеваки» и «зеваки завтрашние»: «сегодняшние зеваки» принимают участие в каком-либо событии, а «завтрашние зеваки» приходят на другой день посмотреть на место, где произошло это событие.

Поэтому десять – двенадцать тысяч «завтрашних зевак» пришла в этот день с женами и детьми полюбопытствовать на то место, где накануне произошло столь скандальное событие.

Можно было подумать, что люди прогуливаются в праздничный день в Сен-Клу или в Версале.

Вот именно среди этих зевак Сальватор и рассчитывал найти господина Жакаля.

И он нырнул в эту толчею.

Не будем говорить, что прежде чем он достиг улицы Мира, он встретился глазами со взглядами многих людей, что многие руки прикоснулись к его руке, хотя не было произнесено ни единого слова: был сделан только жест, означавший: «Ничего».

Перед фасадом гостиницы «Майен» Сальватор остановился. Он увидел того, кто ему был нужен.

Одетый в партикулярный плащ, в шляпе под Боливара и с зонтом под мышкой, господин Жакаль, беря щепотки табака из шартрской табакерки, увлеченно рассказывал кому-то, естественно, всячески понося полицию, о произошедших накануне событиях.

В тот момент, когда господин Жакаль поправил на носу очки, его взгляд встретился со взглядом Сальватора. Хотя господин Жакаль ничем это и не показал, Сальватор понял, что префект полиции его увидел.

Действительно, спустя некоторое время взгляд господина Жакаля снова устремился в том же направлении, и в его взгляде читался вопрос:

– Вы что-то хотите мне сказать?

– Да, – ответил Сальватор.

– Тогда идите вперед, я следую за вами.

Сальватор зашел под свод ворот какого-то дома.

Господин Жакаль последовал за ним.

Сальватор приблизился, кивнул, но руки не подал.

– Можете мне не верить, мсье Жакаль, – сказал он, – но я искал именно вас.

– Я вам верю, мсье Сальватор, – произнес с лукавой улыбкой начальник полиции.

– Да, и мне помог случай, – продолжал Сальватор. – Я только что из префектуры.

– Правда? – сказал господин Жакаль. – Неужели вы не поленились зайти ко мне?

– Да. И ваш дежурный может вам это подтвердить. Но поскольку он не смог сказать мне, где вас можно разыскать, мне оставалось об этом только гадать. И тогда я отправился на ваши поиски, веря в свою счастливую звезду.

– И чем я могу вам служить, дорогой мсье Сальватор? – спросил господин Жакаль.

– Чем? Боже, ну, разумеется, можете, – ответил молодой человек. – Вы можете оказать мне большую услугу, если, конечно, захотите.

– Дорогой мсье Сальватор, вы так редко предоставляете мне такую возможность, что я не могу упустить случая.

– Дело вот в чем, – сказал Сальватор. – Все очень просто, и вы можете сами в этом убедиться. Вчера во время свалки был арестован друг моих друзей.

– Ага! – выдохнул господин Жакаль.

– Вас это удивляет? – спросил Сальватор.

– Да нет, поскольку, как мне сказали, вчера было произведено много арестов. Но скажите мне, о ком вы говорите, дорогой мсье Сальватор.

– Все очень просто. Я вчера указал вам на него в тот момент, когда его арестовывали.

– Ах так!.. Значит, это тот самый?.. Удивительное дело!..

– Вы видели его среди арестованных?

– Не могу ответить вам точно. У меня ведь слабое зрение! Но если вы скажете мне его имя...

– Его зовут господин Дюбрей.

– Дюбрей? Постойте-ка, – произнес господин Жакаль, хлопнув себя по лбу, словно человек, старающийся собраться с мыслями. – Дюбрей?.. Да, да, да, мне знакомо это имя.

– Но если вам нужны подробности, я мог бы разыскать в толпе двух полицейских, которые его арестовывали. Их лица мне так хорошо запомнились, что, уверен, я смогу их узнать...

– Вы так считаете?

– Тем более, что я их уже видел в церкви...

– Это лишнее. Так что же вы хотели бы узнать об этом несчастном?

– Я хотел бы знать всего-навсего причину ареста этого, как вы изволили выразиться, несчастного.

– Ах! Этого я вам сейчас сказать не смогу.

– Но вы по крайней мере можете сказать мне, где он в настоящий момент находится?

– Естественно, в доме заключения... Если только не было какого-либо особого указания перевести его в тюрьму «Консьержери» или в «Форс».

– Вы говорите как-то уклончиво.

– Что поделать, дорогой мсье Сальватор! Вы застали меня врасплох.

– Вас, мсье Жакаль! Да возможно ли вас застать врасплох?

– Что ж! Вы такой же, как и все. Из-за того, что меня зовут Жакалем, у вас возникают аналогии и вы считаете меня хитрецом, подобным лису.

– Черт возьми! Такая уж у вас репутация!

– Так вот: я – обратная сторона Фигаро. Клянусь вам, что я стою много меньше, чем моя репутация. Нет, я всего лишь человек, и в этом моя сила. Все меня считают хитрым, все боятся моего коварства и попадают на мою человечность. В тот день, когда дипломат перестанет лгать, он сможет провести всех своих собратьев по профессии: ведь им и в голову не придет, что он говорит правду.

– Помилуйте, дорогой мсье Жакаль, вы ведь не хотите меня уверить в том, что отдали приказ арестовать человека, не имея никаких причин для этого.

– Послушать вас, так можно подумать, что это я – король Франции.

– Нет. Вы – король Иерусалимский.

– Вице-король, и всего лишь префект полиции! Разве в моем королевстве не правят в первую очередь мсье Корбьер и мсье Делаво?

– Это значит, – произнес Сальватор, пристально глядя на начальника полиции, – вы отказываетесь дать мне ответ?

– Да разве я отказываюсь, мсье Сальватор? Я просто говорю честно, что не могу этого сделать. Ну что я могу вам сказать?.. Арестован мсье Дюбрей?

– Да, мсье Дюбрей.

– Ну, так вот: какая-то причина для его ареста была.

– Вот я вас и спрашиваю о причине.

– Он, вероятно, нарушил общественный порядок...

– Это не причина... Я видел, как его арестовывали. Он, напротив, вел себя очень спокойно.

– Ну, тогда, значит, была какая-то другая причина для ареста.

– Неужели такое у вас случается?

– Ах, – сказал господин Жакаль, беря понюшку табаку, – ведь только один святой отец безгрешен. Да и потом...

– Позвольте мне прокомментировать ваши слова, дорогой мсье Жакаль!

– Давайте. Но, по правде говоря, это для меня слишком большая честь.

– Вы не знали в лицо того человека, которого арестовали?

– Я видел его впервые.

– И вы не знали его имени?

– Дюбрей... Нет, не знал.

– И не знаете причин его ареста?

Господин Жакаль опустил очки на нос.

– Абсолютно не знаю, – сказал он.

– Из чего я делаю вывод, – продолжал Сальватор, – что причина его ареста весьма незначительна, а, следовательно, заключение его не должно продлиться долго.

– О, конечно! – ответил со слащавым видом господин Жакаль. – Вы именно это хотели узнать?

– Да.

– Так что же вы мне это раньше не сказали? Я не хочу сказать, что ваш друг будет выпущен на свободу в то время, когда мы с вами разговариваем. Но, поскольку он – ваш протеже, вам абсолютно не о чем беспокоиться. По возвращении в префектуру я распахну двери перед этим молодцом.

– Спасибо! – сказал Сальватор, с благодарностью глядя на полицейского. – Значит, я могу на вас рассчитывать?

– Это значит, что ваш друг может спать спокойно. В моих архивах... я говорю искренне, нет ни единого компрометирующего документа на мсье Дюбрея. Это все, что вам от меня было нужно?

– Да, все.

– По правде говоря, мсье Сальватор, – продолжал полицейский, видя, что толпа начала расходиться, – услуги, о которых вы меня попросили, очень напоминают собравшуюся толпу людей, когда думаешь, что держишь их в руках, а они, словно мыльные пузыри, исчезают.

– Наверное, – сказал со смехом Сальватор, – к тому и другому нужно отнестись серьезнее, ведь и то и другое явление нечастое и потому особо ценное.

Господин Жакаль поднял очки на лоб, посмотрел на Сальватора, понюхал табаку и снова спустил на нос очки.

– И что с того? – спросил он.

– А то, что я с вами прощаюсь, дорогой мсье Жакаль, – ответил Сальватор.

И, поклонившись полицейскому, и, как и при встрече, не подав ему руки, пошел по улице Сент-Оноре к стоявшему на углу улицы Нев-дю-Люксамбур фиакру, в котором его ждал Доминик.

Открыв дверцы кареты, он протянул Доминику руки.

– Вы – мужчина, – сказал он, – вы – христианин. Следовательно, вы знаете, что такое боль и покорность судьбе...

– Бог мой! – произнес монах, сложив белые тонкие руки.

– Так вот. Положение вашего друга серьезно, даже очень серьезно!

– Значит, он вам все рассказал?

– Напротив, он ничего мне не сказал. Это-то меня и пугает. Он не знал вашего друга в лицо, он впервые слышит фамилию Дюбрей, он не знает причины его ареста... Крепитесь, отец мой, повторяю, положение очень и очень серьезное!

– Что же делать?

– Возвращайтесь домой. Я попробую что-нибудь узнать. Вы тоже постарайтесь разведать по вашим каналам. И положитесь на меня.

– Друг, – сказал Доминик, – уж коль вы так добры...

– Что еще? – спросил Сальватор, глядя на монаха.

– Позвольте мне попросить у вас прощения за то, что я не все вам сказал.

– Еще не поздно. Говорите же.

– Так вот, знайте, что человек, которого арестовали, не Дюбрей, и он не мой друг.

– Вот как?

– Его зовут Сарранти. Это мой отец.

– Ага! – воскликнул Сальватор. – Теперь я все понял!

Затем, взглянув на монаха, сказал:

– Идите в первую церковь, которая попадется вам на пути, и молитесь, брат мой!

– А вы?

– Я... я попробую что-нибудь сделать.

Монах схватил руку Сальватора и, прежде чем тот успел воспротивиться этому, поцеловал ее.

– Брат мой, – сказал Сальватор. – Я уже сказал вам, что предан вам телом и душой, но нас не должны видеть вместе. Прощайте!

Он захлопнул дверцу кареты и быстрыми шагами удалился.

– В церковь Сен-Жермен-де-Пре! – сказал монах вознице.

И пока фиакр с присущей ему скоростью двигался в сторону моста Согласия, Сальватор быстрыми шагами направлялся к улице Риволи.

Глава XII

Привидение

Церковь Сен-Жермен-де-Пре с ее римским портиком, массивными колоннами, низкими сводами, запахами VIII века являлась одной из самых мрачных церквей в Париже, и, следовательно, в ней можно было скорее всего оказаться в одиночестве и обрести возвышенность души.

Поэтому Доминик, этот терпеливый монах, но человек строгих правил, не без причин избрал именно церковь Сен-Жермен-де-Пре для того, чтобы умолить Бога помочь отцу.

Молился он долго, а когда вышел из церкви, спрятав руки в большие рукава своих одежд и склонив голову на грудь, было уже начало пятого вечера.

Он медленно побрел по улице По-де-Фер, находясь во власти надежды – следует признать, очень неясной и робкой, – что его отец, освободившись, придет к нему домой.

А посему первым вопросом, который он задал доброй женщине, одновременно консьержке и экономке аббата, был вопрос, не спрашивал ли его кто-нибудь, пока он отсутствовал.

– Да, спрашивал, отец мой, – ответила консьержка. – К вам приходил какой-то господин...

Доминик вздрогнул.

– Как его имя? – спросил он.

– Он не назвал себя.

– Вы его не знаете?

– Нет... Я видела его в первый раз.

– Вы уверены, что это не тот, кто позавчера вставил для меня письмо?

– О, нет! Того господина я бы узнала: другого такого мрачного лица в Париже не встретишь.

– Бедный отец! – прошептал Доминик.

– Человек, который дважды приходил сюда, – продолжала консьержка, – потому что он приходил два раза: в первый раз в полдень, а во второй раз в четыре часа, был худым и лысым. Ему на вид лет шестьдесят, маленькие, глубоко сидящие глазки, как у крота, и болезненный вид. Кстати, вы, возможно, его скоро сами увидите, поскольку он сказал мне, что должен что-то купить и вернуться... Мне впускать его?

– Конечно, – рассеянно сказал аббат, которого в данный момент не интересовало ничего, кроме новостей об отце.

Взяв ключ, он уже направился было наверх.

– Но, мсье аббат... – произнесла женщина.

– Что?

– Вы, выходит, пообедали в городе?

– Нет, – ответил аббат, отрицательно покачав головой.

– Тогда, выходит, вы весь день ничего не ели?

– Я об этом как-то и не подумал... Сходите, пожалуйста, к ресторатору и принесите мне что-нибудь.

– Если мсье аббат не возражает, – сказала сердобольная женщина, бросив взгляд на свою печь, – у меня есть хороший бульон...

– Прекрасно!

– Потом я брошу на сковороду пару отбивных: это будет много лучше, чем взять мясо у ресторатора.

– Поступайте, как считаете нужным.

– Через пять минут бульон и отбивные будут у вас в комнате.

Аббат кивнул головой в знак согласия и пошел к себе.

Войдя в комнату, он распахнул окно. В окно сквозь ветви деревьев Люксембургского сада, на которых уже набухли почки, пробились последние золотые лучи заходящего солнца.

В воздухе стояла та легкая синеватая дымка, которая предвещала наступление весны.

Аббат сел, опершись локтем на подоконник, слушая щебет вольных воробьев, готовившихся разлететься по своим гнездам.

Консьержка, как и было обещано, принесла бульон и две отбивных. Не прерывая задумчивости монаха, поскольку уже привыкла видеть его в таком состоянии, она поставила все на стол, а стол придвинула поближе к нему.

Аббат любил крошить хлеб на подоконник, а птицы, привыкнув к такому подношению, обычно слетались к окну подобно тому, как древнеримские нищие собирались за подаванием у дверей Луккула или Цезаря.

Но вот уже целый месяц окно оставалось закрытым, целый месяц птицы напрасно взывали к своему другу, усаживаясь на подоконник и с любопытством глядя через стекло внутрь комнаты.

Но комната была пуста: аббат Доминик находился в Пеноеле.

Когда же птицы увидели, что окно открыто, их гомон усилился. Можно было подумать, что они сообщали друг другу эту благую весть. Наконец несколько птиц, отличавшихся, по-видимому, хорошей памятью, осмелились на всякий случай пролететь в непосредственной близости от монаха.

Шум их крыльев вывел аббата из задумчивости.

– А! – сказал он. – Бедные создания, я про вас совсем забыл. Но вы-то меня помните, значит, вы лучше меня!

Взяв кусок хлеба, он, как и раньше, раскрошил его по подоконнику.

И сразу же к окну подлетели не два-три наиболее смелых воробья, а все старые знакомые слетелись на угощение.

– Свободны, свободны, свободны! – прошептал Доминик. – Вы свободны, милые птицы, а мой отец находится в тюрьме!

Он снова упал в кресло, где за минуту до этого сидел, погруженный в глубокое раздумье.

Потом машинально выпил бульон и съел отбивные стой корочкой, которая осталась от хлеба после того, как он угостил мякишем воробьев.

Солнце постепенно, но неумолимо скрывалось за горизонтом и своими лучами золотило уже только верхушки деревьев и верхушки труб. Птички улетели в гнезда, и их щебет постепенно стих.

По-прежнему машинально Доминик взял газету и развернул ее.

Две первые колонки повествовали о происшедших накануне событиях. Аббат Доминик, зная о том, что произошло, не хуже репортера правительственной газеты, даже не стал их читать. Но когда он дошел до третьей колонки, его словно ослепило. По всему телу с головы до ног пробежала судорога, а на лбу выступила испарина. Еще не успев прочесть текста, он увидел, трижды повторенную, свою фамилию, вернее, фамилию отца.

Почему же это имя господина Сарранти трижды встречалось на страницах этой газеты?

Бедный Доминик почувствовал столь же сильное волнение, какое, вероятно, чувствовали гости на пиру царя Валтазара в тот момент, когда невидимая рука начертала на стене три пылающих слова, предупреждавших о смерти.

Он протер глаза, словно бы его ослепило зрелище крови. Потом попытался было прочесть, но державшие газету руки так сильно дрожали, что строчки текста прыгали перед его глазами словно зайчики, отраженные от постоянно движущегося зеркала.

Наконец, разложив газету на коленях и прижав ее ладонями, он при слабом свете умирающего дня прочел...

Вы догадываетесь, что он смог прочитать, не так ли? Он прочитал тот ужасный доклад, который был опубликован в правительственной прессе и который мы уже доводили до вашего сведения. Это был доклад, где его отец обвинялся в ограблении и убийстве!

Гром и молния не смогли бы ослепить и оглушить человека сильнее, чем эта чудовищная статья.

Но вдруг он вскочил с кресла и с криком бросился к секретеру:

– О! Благодарю тебя, Господи! Эта клевета, дорогой мой отец, вернется в ад, откуда она и вышла!

И вынул из ящичка лист бумаги, на котором, как мы уже знаем, была изложена исповедь господина Жерара.

Он страстно поцеловал свиток, который мог спасти жизнь человека. И даже больше, чем жизнь: его честь! Честь его любимого отца!

Он развернул бумагу, чтобы убедиться в том, что это был именно тот самый документ и что он не ошибся в своем порыве. Узнав почерк, он снова поцеловал документ и, спрятав его на груди под сутаной, вышел из комнаты, запер дверь и быстрыми шагами начал спускаться по лестнице.

Навстречу аббату в это время поднимался какой-то человек. Но аббат не обратил на него никакого внимания и уже было прошел мимо, не то что не заметив, а даже и не взглянув на него. Но тот схватил аббата за рукав.

– Извините, мсье аббат, – сказал остановивший Доминика человек. – Я хотел бы с вами поговорить.

Тембр голоса незнакомца заставил Доминика вздрогнуть: этот голос был ему знаком.

– Со мной?.. Но не сейчас, – сказал Доминик. – У меня нет сейчас на вас времени.

– У меня тоже нет времени приходить еще раз, – произнес человек и сжал локоть монаха. Доминик почувствовал, как его охватил ужас.

Пальцы, сильно сжавшие его руку, походили на пальцы скелета.

Он попробовал рассмотреть, кто же это остановил его, но на лестнице было темно, а свет уходящего дня, падавший через единственное круглое окошко, освещал только несколько ступеней.

– Кто вы и что вам от меня нужно? – спросил монах, тщетно пытаясь высвободить руку из железной хватки незнакомца.

– Я – Жерар, – ответил человек. – А зачем я пришел, вы знаете.

Доминик вскрикнул.

Но это показалось ему совершенно невозможным. И, не веря ушам своим, он захотел удостовериться во всем собственными глазами.

Схватив незнакомца обеими руками, он подтащил его к освещенному красным лучом солнца единственному месту на лестнице.

Голова призрака попала под луч света.

Это действительно был господин Жерар.

Аббат попятился к стене, широко раскрыв глаза. Волосы на его голове встали дыбом, зубы громко стучали.

Некоторое время он простоял, словно человек, на глазах которого мертвец восстал из гроба. Потом глухо произнес одно-единственное слово:

– Живой!

– Конечно же, живой, – сказал господин Жерар. – Господь сжалился надо мной после моего раскаяния и послал мне хорошего молодого врача, который меня и вылечил.

– Вас? – воскликнул аббат, полагая, что все это он видит в страшном сне.

– Да, меня... Понимаю, вы считали меня мертвым, но я остался в живых.

– Так это вы дважды приходили сюда сегодня?

– И пришел в третий раз... Я вернулся бы и в десятый. Сами понимаете, мне нужно было, чтобы вы продолжали считать меня мертвым.

– Но почему именно сегодня? – машинально спросил аббат, растерянно глядя на убийцу.

– А вы разве не читали сегодняшних газет?.. – спросил господин Жерар.

– Читал, – глухим голосом ответил аббат, который начал понимать, что находится на краю пропасти.

– Ну, если читали, то вам должна быть понятна цель моего визита.

Доминик, действительно, прекрасно это понимал, и поэтому все тело его покрылось холодным потом.

– Поскольку я жив, – продолжал Жерар, понизив голос, – моя исповедь недействительна.

– Недействительна?.. – машинально повторил монах.

– Да. Ведь священникам запрещается под страхом вечной кары делать достоянием гласности исповедь без разрешения исповедуемого. Разве не так?

– Но ведь вы сами дали мне такое разрешение, – произнес монах.

– Умирая, дал. Но поскольку я остался в живых, я это разрешение забираю назад.

– Несчастный! – вскричал монах. – А как же мой отец?

– Пусть он защищается, пусть обвиняет меня, пусть доказывает! Но вы, исповедник, должны молчать!

– Хорошо, – сказал Доминик, понимая, что он не в силах бороться с неизбежностью, принявшей вид одного из основных догматов церкви. – Хорошо, негодяй, я буду молчать!

И, оттолкнув руку Жерара, собрался было вернуться к себе.

Но Жерар снова вцепился в него.

– Что вам еще от меня нужно? – спросил монах.

– Что мне нужно? – сказал убийца. – Я хочу получить бумагу, которую отдал вам в бреду.

Доминик схватился руками за грудь.

– Она у вас, – сказал Жерар. – И лежит здесь... Давайте ее сюда.

И монах снова почувствовал, как его руку сжала железная ладонь, а худые пальцы убийцы почти коснулись документа.

– Да, она здесь, – сказал аббат Доминик. – Но я даю вам клятву священника, что она здесь и останется.

– Так, значит, вы готовы нарушить обет? Вы хотите нарушить тайну исповеди?

– Я уже сказал вам, что иду на эту сделку и что, пока вы живы, я буду молчать.

– Так почему же вы тогда хотите оставить эту бумагу у себя?

– Потому что Господь справедлив. Потому что может так случиться, что по чистой случайности или во исполнение справедливости вы умрете во время суда над моим отцом. Потому, наконец, что если моего отца приговорят к смерти, я подниму эту бумагу к Богу со словами: «Господь, ты всемогущ и справедлив, накажи виновного и спаси невинного!» Вот почему, негодяй! Это – мое право, как человека и как священника, и я этим правом воспользуюсь.

Сказав это, он оттолкнул господина Жерара, который попытался было преградить ему дорогу, и поднялся по лестнице к себе, властным жестом запретив убийце идти за ним следом. Войдя в комнату, он запер дверь и упал на колени перед распятием:

– Господь мой, Повелитель, – произнес он. – Вы всё видите и всё слышите. Вы видели и слышали все, что сейчас произошло. О, Господь всемогущий, во всем этом люди помочь ничем не могут, и обращаться к ним за помощью было бы кощунственно... Взываю к вашей справедливости!

Потом добавил глухим голосом:

– Но если вы не захотите свершить правосудие, я оставляю за собой право на месть!

Глава XIII

Вечер в особняке Морандов

Спустя месяц после событий, описанных нами в предыдущих главах, а именно 30 апреля, улица Лаффит (лучше назовем ее тем именем, которое она носит в наши дни: улица Артуа) в одиннадцать часов вечера выглядела несколько необычно.

Представьте себе бульвар Итальянцев и бульвар Капуцинов до самого бульвара Мадлен, бульвар Монмартр до бульвара Бон-Нувель, а с другой стороны параллельно идущая улица Прованс и все прилегающие улочки буквально забитыми экипажами с ярко горящими фонарями. Представьте себе улицу Артуа, освещенную двумя установленными по обе стороны ворот шикарного особняка огромными рамами с фонариками; стоящих на страже у этих ворот двух конных драгун и еще двух других на перекрестке улицы Прованс, – и вы поймете, какое грандиозное зрелище являли собой взорам прохожих окрестности особняка Моранда, когда его красивая хозяйка давала *нескольким друзьям* один из тех приемов, на которые страстно желали попасть все парижане.

Проследуем же за одним из экипажей, ожидающих своей очереди, чтобы приблизиться к парадному подъезду, остановимся на некоторое время во дворе в ожидании того, что придет некто и проводит нас в дом. А пока рассмотрим повнимательнее сам особняк.

Особняк Морандов стоял, как мы уже сказали, на улице Артуа между особняком Черутти, чье имя вплоть до 1792 года и носила эта улица, и дворцом Империи.

Три жилых корпуса и стена фасада образовывали огромный квадрат. В правом корпусе находились апартаменты банкира, в среднем располагались гостиные политического деятеля, а левый корпус целиком находился в распоряжении той самой прекрасной особы, которая уже неоднократно представала перед читателями под именем Лидии де Моранд. Все три жилых корпуса соединялись между собой для того, чтобы хозяин в любую минуту дня и ночи смог посмотреть, что творится у него в доме.

Салоны для приема гостей находились на втором этаже, напротив ворот. Но по праздникам открывались двери, соединявшие между собой жилые корпуса, и гости могли тогда свободно пройти в элегантные будуары жены и строгие кабинеты мужа.

Весь первый этаж занимали служебные помещения: в левом крыле находились кухня и кладовые, в центральном располагались столовая и вестибюль, а в левом корпусе были контора и касса.

Давайте поднимемся по мраморной лестнице, чьи ступеньки покрыты огромным ковром из Салландруза, и посмотрим, нет ли среди этих толпящихся в прихожей людей друга, который представил бы нас прекрасной хозяйке дома.

Нам знакомы уже главные гости. Можно сказать, самые почетные приглашенные. Но мы недостаточно с ними близки для того, чтобы просить их оказать подобную услугу.

Слышите, объявляют их имена.

Это Лафайет, Казимир Перье, Руайе-Коллар, Беранже, Пажоль, Келен – короче, все, кто представляет во Франции круг людей, стоящих на позициях между аристократической монархией и республикой. Это – люди, поддерживающие Хартию и втихомолку подготавливающие события 1830 года. И если среди названных имен мы не встретили имени господина Лаффитта, то только потому, что он в данный момент находится в Мезоне и ухаживает с той заботой и преданностью, которые столь характерны для этого знаменитого банкира, за своим больным другом Мануэлем, которому вскоре суждено будет умереть.

Но вот, наконец, и человек, который проводит нас в дом. Переступив порог, мы отправимся туда, куда пожелаем.

Это юноша чуть выше среднего роста, одетый по моде того времени и имеющий в облике своем нечто, что неуловимо и в то же время однозначно выдает в нем художника. Судите сами: темно-зеленая одежда, украшенная лентой Почетного легиона, кавалером которого он стал совсем недавно. За какие заслуги получил он столь почетную награду? Неизвестно. Он ее не просил, а его дядя слишком большой эгоист, чтобы помочь ему в этом. К тому же дядя находится в оппозиции. На юноше жилет из черного бархата, застегнутый на одну пуговицу наверху и на три внизу, а через прорезь видно жабо из английских кружев. Короткие облегающие панталоны четко очерчивают худые стройные бедра, икры стянуты ажурными чулками из черного шелка. На ногах маленькие, женского размера туфли с золотыми пряжками. В заключение добавим ко всему этому голову двадцатишестилетнего Ван Дейка.

Вы узнали, кто это? Да, это Петрюс. Он недавно написал великолепный портрет хозяйки дома. Вообще-то он не любит заниматься портретами, но его приятель Жан Робер так горячо просил его нарисовать портрет госпожи де Моранд, что юный художник согласился. Следует сказать, что просьба его друга Жана Робера была подкреплена словами, слетевшими с неких прекрасных уст в тот момент, когда на балу у герцогини Беррийской, куда он был приглашен по неизвестно чьей рекомендации, очаровательная ручка сжала его ладонь, а слова, сопровождавшиеся милой улыбкой, были такими: «Напишите портрет Лидии, я так хочу!»

И художник, будучи не в силах ни в чем отказать этой прекрасной даме, в которой читатель уже, несомненно, узнал Регину де Ламот-Удан, графиню Рапт, открыл дверь своей мастерской для госпожи Лидии де Моранд, пришедшей на первый сеанс с мужем, желавшим непременно лично поблагодарить художника за оказанную им любезность. На следующие сеансы она приезжала в сопровождении только одного слуги.

Когда портрет был закончен, мадам де Моранд, понимая, что не могло быть и речи об уплате деньгами за любезность такому художнику, как Петрюс, такому благородному человеку, как барон де Куртене, шепнула прекрасному юному живописцу:

– Приходите ко мне когда пожелаете. Но только предупредите меня накануне запиской с тем, чтобы я смогла сделать так, чтобы вы застали у меня и Регину.

Услышав эти слова, Петрюс схватил руку госпожи де Моранд и поцеловал ее с такой страстью, что прекрасная Лидия вынуждена была сказать:

– О, мсье! Вы, должно быть, очень любите тех, кого любите!

На другой день Петрюс получил через Регину простенькую заколку для галстука. Цена ей была равна менее половины стоимости портрета, но только Петрюс с его аристократической душой был в состоянии оценить этот двойной знак благодарности.

Давайте же теперь последуем за Петрюсом. Сами видите, он имеет полное право ввести нас в банкирский дом на улице Артуа и провести по его салонам, где уже находилось столько знаменитостей.

Направимся прямо к хозяйке дома. Вот она, справа, в своем будуаре.

Когда же вы войдете в будуар, то вас сразу же охватит удивление. Куда же это подевались те знаменитые люди, чьи имена были оглашены при входе в дом, и почему это среди десяти или двенадцати женщин мы видим всего трех-четырёх молодых людей? Да потому что все эти знаменитые политики пришли к господину де Моранду. Потому что госпожа де Моранд терпеть не может политику, потому что заявляет, что не имеет по этому поводу своего мнения, но считает, что госпожа герцогиня Беррийская прелестная женщина и что король Карл X был, очевидно, образцом благородного кавалера.

Но если мужчины – а они, будьте спокойны, вскоре появятся, – если мужчины, или скорее юноши в настоящий момент находятся в численном меньшинстве, то какой здесь цветник, какие женщины!

Для начала давайте займемся будуаром.

Это красивый салон, примыкающий с одной стороны к спальне и выходящий с другой стороны на связывающую жилые корпуса дома галерею. Стены будуара затянуты небесно-голубым атласом с черным и розовым орнаментом, и на фоне этой голубизны прекрасные глаза и великолепные бриллианты подруг госпожи де Моранд блестят, словно звезды на небосводе.

Но в глаза сразу бросается та, чей портрет мы опишем подробнее, та, что наиболее симпатична, если не сказать самая красивая, та, что наиболее привлекательна, если не сказать очаровательная, та, что является хозяйкой этого дома, госпожа Лидия де Моранд.

Мы уже нарисовали, насколько это можно сделать пером, портреты трех ее подруг, или скорее трех ее сестер из Сен-Дени. Попытаемся же теперь набросать и ее портрет.

Госпоже Лидии де Моранд с виду можно было дать от силы лет двадцать. Она была сама прелесть для того, кто ценит в женщинах красоту тела, а не одну только красоту души.

Волосы у нее были просто восхитительными: они меняли свой оттенок в зависимости от прически и были светлыми, когда она их завивала, и русыми, когда носила их на прямой пробор. Но всегда они оставались блестящими и шелковистыми.

Лоб ее был красивым, умным и гордым. Белым, как мрамор, и таким же гладким.

Глаза были несколько странными: цвет их был ни голубым, ни черным, а чем-то средним между этими цветами, принимая иногда радужный оттенок опала, а иногда становясь темными, как лазуревый камень. Цвет их менялся в зависимости от освещения и, возможно, от настроения.

Нос ее был тонким, слегка вздернутым. Рот правильной формы, хотя и был несколько крупноват, но всегда свеж, словно влажный коралл, весел и чувственен.

Слегка приподнятая верхняя губа позволяла увидеть два ряда – простите меня за использование избитых сравнений, но я не могу лучше них выразить свою мысль, – именно два ряда жемчужин. Но когда губы сжимались, вся верхняя часть лица принимала крайне презрительное выражение.

Подбородок был кокетливым, приятным и розовым.

Но вот то, что придавало этому лицу его истинную красоту, делало его не только милым, но и своеобразным, мы можем сказать почти оригинальным, так это – жажда жизни, которая, казалось, так и пульсирует в ее теле вместе с кровью. Это был очень здоровый цвет ее кожи. Она была розовой и отличалась одновременно прозрачностью, столь характерной для южанок, и свежестью, присущей северянкам.

Таким образом, если бы ее увидела жительница Нормандии под цветущей яблоней в очаровательной одежде женщин из области К°, она бы немедленно приняла ее за свою землячку. А при виде ее, качающейся в гамаке в тени бананового дерева, любая южанка посчитала бы, что это – креолка с Гваделупы или Мартиники.

Мы уже намекнули чуть выше, что тело, на котором сидела эта очаровательная головка, было слегка предрасположено к полноте, но это была полнота женщин с полотен Альбана и уж никак не героинь картин Рубенса. Полнота эта никоим образом не портила ее, напротив, делало ее тело более чем соблазнительным, она делала его сладострастным.

Действительно, роскошная грудь, которой, казалось, были противопоказаны все ограничения, чинимые тугим корсетом, гордо вздымалась при каждом вздохе. Прикрытая прозрачной кисеей, эта грудь напоминала грудь тех прекрасных дочерей Спарты и Афин, которые позировали Праксителю и Фидию для их Венер и Геб.

Коль скоро эта описанная нами ослепительная красота имела своих ценителей, она имела, сами понимаете, множество врагов и хулителей. Врагами были в основном женщины, хулителями же те, кто полагал себя достойным, но не был избран. Это были отвергнутые любовники, элегантные пустоголовые красавцы, полагавшие, что женщина, обладающая такими сокровищами, должна расточать их всем и каждому, не ведая скупости.

Поэтому о госпоже де Моранд ходило множество порочащих ее сплетен. Однако же, хотя она и сохранила эту женскую соблазнительность (это была ее слабость), немногие женщины заслужили эти обвинения в меньшей мере, чем она.

А посему, когда граф Эрбель, этот истинный вольтерьянец, сказал своему племяннику: «Что такое мадам де Моранд? Это Магдалина, но не плачущая, а заполучившая влиятельного мужа», мы полагаем, что генерал был неправ. Чуть ниже мы покажем, что госпожа Лидия де Моранд Магдалине не уступала абсолютно ни в чем.

Ну, а пока, полагая, что мы показали ее достаточно подробно, закончим с описанием будуара и познакомимся или же вспомним тех, кто в настоящее время в этом будуаре находится.

Глава XIV

Где речь идет о Кармелите

Мы уже сказали, что посреди этого цветника из красивых женщин находились всего четверо или пятеро мужчин. Воспользуемся же тем, что народу в комнате пока не очень много, и прислушаемся к салонной болтовне, при которой произносится так много слов для выражения очень немногих мыслей.

Самым говорливым из этих пяти счастливых, добившихся чести находиться в будуаре госпожи де Моранд, был тот самый молодой человек, с которым мельком повстречались при печальных и мрачных обстоятельствах. Это был господин Лоредан де Вальженез, который время от времени, в каком бы углу будуара ни находился, с какой бы женщиной ни разговаривал, обменивался быстрым, как молния, и полным странного значения взглядом со своей сестрой Сюзанной де Вальженез, *подругой* бедной Мины по пансиону.

Господин Лоредан был истинным завсегдатаем салонов: никто не умел улыбаться лучше, никто не мог красноречивее выразить взглядом восхищение. Он достиг такой высоты галантности, граничащей с нахальством, что в период с 1820 по 1827 год никто не смог превзойти его в искусстве завязывать галстук: он мог, даже не снимая перчаток, сделать узел, не оставив ни складки на атласе или батисте.

В данный момент он разговаривал с госпожой де Моранд, восхищаясь ее веером в стиле рококо, с восторгом истинного ценителя и работ Ванлоо и Буше.

Человеком, который не менее, чем Лоредан, привлекал к себе взоры женщин, и скорее не своей красотой и элегантностью, а своей репутацией, завоеванной после трех-четырех успешных постановок в театре, своими разговорами, больше, возможно, оригинальными, чем умными, был поэт Жан Робер. Из потока отпечатанных приглашений, который обрушился на него после первого успеха его пьес в театре и на которые он поостерегся отвечать, два или три приглашения, написанных прекрасной ручкой Лидии, победили его щепетильность. Не являясь самым частым гостем госпожи де Моранд, он был там все-таки своим человеком, и на каждом сеансе, на котором в течение трех недель она позировала его приятелю Петрюсу, он присутствовал с каким-то трепетным чувством и старался, заводя разговор с прекрасной молодой женщиной, внести в ее портрет больше живости. Следует сказать, что Жан Робер в этом преуспел, поскольку на портрете глаза Лидии были очень блестящими, а улыбка очень живой.

Господин де Моранд в этот самый вечер – портрет был доставлен в его особняк только два дня тому назад, – так вот, господин де Моранд поблагодарил Жана Робера за его участие, с которым он помогал госпоже де Моранд вынести скучные часы позирования.

Жан Робер в первые минуты никак не мог понять, шутит ли господин де Моранд или говорит серьезно. Когда он бросил беглый взгляд на лицо банкира, ему даже показалось, что на этом лице промелькнуло этакое ироническое выражение.

Но взгляды обоих мужчин, встретившись, остались спокойными и серьезными. И господин де Моранд, слегка поклонившись, повторил эти слова:

– Мсье Жан Робер, я говорю совершенно серьезно. И мадам де Моранд меня весьма порадует, если станет поддерживать знакомство со столь заслуженным и достойным человеком, каким являетесь вы.

Потом он протянул ему руку с такой искренностью, что Жан Робер не смог не ответить тем же, хотя ответное пожатие юного поэта было не лишено некоторого колебания.

Третьим персонажем, которого мы сейчас опишем, был человек, который вел нас в дом. Это Петрюс. Мы уже знаем, кто именно его привлекает. И поэтому нет ничего удивительного в том, что, обменявшись положенными комплиментами и словами приветствия с госпожой де Моранд, с Жаном Робером, с его дядей, старым генералом Эрбелем – он сидит в углу и занят

перевариванием пищи, отчего у него на лице серьезное и гордое выражение, – поприветствовав всех остальных дам, он спустя несколько минут нашел способ приблизиться и облокотиться на козетку, на которой красавица Регина, полулежа, обрывала лепестки пармских фиалок, уверенная в том, что, когда она встанет и перейдет на новое место, оборванные ею цветы будут подобраны.

Пятым персонажем был всего-навсего некий танцор. Он принадлежит к этой очень ценной хозяйками дома породе людей, относящихся к поэзии, литературе и живописи и выполняющих роль полезных для режиссера статистов.

Итак, мы уже сказали, что Лоредан болтал с госпожой де Моранд, что Жан Робер, облокотясь на каминную полку, наблюдал за ними, что Петрюс разговаривал с Региной, улыбаясь всякий раз, когда из прекрасных ручек его божества выпадала очередная фиалка. Генерал Эрбель тщательно переваривал на софе пищу, а записной танцор устанавливал очередность дам, с которыми он будет танцевать с тем, чтобы не ошибиться в выборе партнерши для очередной кадрили, когда в наполненном ароматами духов салонах (а это должно было случиться не раньше полуночи) заиграет оркестр.

Справедливости ради следует отметить, что картина, которую мы только что попытались нарисовать, не отличалась постоянством. Ежеминутно докладывали о прибытии все новых гостей. После этого вновь прибывшие входили в гостиную. Если это была женщина, госпожа де Моранд шла ей навстречу и, в зависимости от степени близости с этой женщиной, обменивалась либо поцелуем, либо рукопожатием. Если входил мужчина, хозяйка приветливо ему кивала, сопровождая кивок головы очаровательной улыбкой и даже несколькими словами. Затем, указав женщине на свободный стул, а мужчине на галерею, предоставляла вновь прибывшим делать все, что им хочется: любоваться картинами художника-баталиста Ораса Верне, художника-мариниста Гудена или же акварелями Декампа. Или же собираться в небольшие группки и заводить разговор на интересующую их тему. А то и присоединиться к салонным разговорам, что и делали обычно люди, которые не могли разговаривать с глазу на глаз и – что труднее всего! – просто молчать.

Если бы кому пришло в голову повнимательнее за всем понаблюдать, он смог бы отметить для себя, что после всех перемещений, связанных с выполнением обязанностей хозяйки дома, после всех реверансов, рукопожатий и поцелуев, которыми она обменивалась со вновь прибывшими гостями, в каком бы месте салона мадам де Моранд ни находилась, господин Лоредан де Вальженез умудрялся постоянно оказываться рядом с ней.

Лидия заметила эту настойчивость и потому ли, что она ей и в самом деле не понравилась, либо потому, что она опасалась, как бы этого не заметил еще кто-нибудь, но она попыталась отделаться от этого слишком назойливого внимания. Сначала она под села к Регине, прервав на некоторое время нежный разговор молодых людей. Но вскоре, поняв эгоистичность своего поступка, она их покинула. Затем она попыталась спрятаться под крылышко старого вольтерьянца, который упорно спорил по поводу дат в своем разговоре с маркизой де Латурнель.

На сей раз госпожа де Моранд попыталась выведать у старого графа секрет, который так омрачал его обычно улыбающееся и больше того, всегда насмешливое лицо.

Но поскольку огорчения старого графа шли от сердца или, что для него было особенно важно, от желудка – он менее всех на свете был расположен поделиться с госпожой де Моранд своим секретом.

Некоторые слова их разговора долетели до Петрюса и Регины, прервав их нежное воркование.

Молодые люди переглянулись.

Взгляд Регины говорил:

– Мы очень неосторожно себя ведем, Петрюс! Вот уже полчаса мы самозабвенно болтаем о своем, словно мы находимся в оранжерее на бульваре Инвалидов.

– Да, – отвечал взгляд Петрюса, – мы очень неосторожны. Но ведь мы счастливы, моя Регина!

После обмена этими взглядами молодые люди обменялись на расстоянии тем мысленным поцелуем, который так радует сердце, и, поскольку их привлек разговор генерала Эрбеля с госпожой де Моранд, Петрюс с беззаботной улыбкой на устах приблизился к их дивану:

– Дядюшка, – произнес он с видом избалованного ребенка, которому позволено буквально все, – предупреждаю вас, что если вы не откроете мадам де Моранд причину ваших забот, ту тайну, о которой она уже дважды имела честь вас спросить, я клянусь нашим предком Жосленом II, которого звали Жосленом Галантным за полтора века до того, как галантность вошла в моду, так вот я клянусь этим предком, павшим на любовном поприще, что я открою истинную причину вашей заботы, как бы тщательно вы ее ни скрывали!

– Открой, мальчишка, – сказал генерал с грустью, в которой Петрюс уловил намек на то, что единственной причиной брюзгливого настроения дяди было тщательное переваривание пищи, – но предупреждаю, хорошенько подумай, прежде чем сказать, чтобы не попасть впросак.

– О, дядюшка, этого я не боюсь! – сказал Петрюс.

– Ну тогда говорите же, мсье Петрюс, меня это очень беспокоит, – снова заговорила госпожа де Моранд, которая, казалось, тоже тщательно все обдумала прежде чем начать разговор на ту тему, которая и привела ее к дивану генерала.

– Вас это беспокоит, мадам? – переспросил старый генерал. – Удивительно все это! А вы, случаем, не хотите ли меня о чем-то попросить? Может быть, вы и беспокоитесь-то потому, что опасаетесь, что мое плохое настроение сможет повлиять на мой ответ?

– О, глубокий знаток человеческих душ! – сказала госпожа де Моранд. – Кто же открыл вам тайны человеческого сердца?

– Дайте мне вашу прекрасную ручку, мадам.

Лидия стянула с руки перчатку и подала руку старому генералу.

– Какая восхитительная рука! – сказал генерал. – А я-то полагал, что таких рук на свете больше нет.

Он поднес было руку к губам, но вдруг остановился.

– Честное слово! – сказал он. – Было бы кощунством, если бы шестидесятишестилетние губы коснулись подобного мрамора.

– Что такое? – воскликнула госпожа де Моранд, обиженно надув губы. – Вы, значит, отказываетесь поцеловать мне руку, генерал?!

– Ведь эта рука предоставлена в мое распоряжение на минуту, не так ли?

– В полное распоряжение, генерал.

Генерал повернулся к Петрюсу.

– Иди-ка сюда, юноша, – сказал он ему. – Поцелуй вот эту ручку.

Петрюс повиновался.

– Вот так! А теперь берегись, поскольку после такого подарка я считаю себя вправе лишить тебя наследства.

Затем, обратившись к госпоже де Моранд:

– Отдавайте приказания, мадам, – сказал старый граф. – Ваш преданный слуга выслушает их, стоя на коленях!

– Нет! Я женщина упрямая и прежде всего хочу знать, что же вас так заботит, дорогой мой генерал!

– Вам все расскажет вот этот шельмец... Ах, мадам, в его возрасте я дал бы себя убить за то, чтобы только получить возможность поцеловать такую прекрасную ручку! Почему мы не в раю и почему я только не Адам!

– Вы сейчас говорите с таким искушением, что представляетесь одновременно и Адамом и змеем, – сказала со смехом госпожа де Моранд. – Ну же, мсье Петрюс, расскажите же нам, что такое случилось с вашим дядей!

– Хорошо, мадам, слушайте. Дело вот в чем: мой дядя имеет привычку размышлять перед совершением важных поступков в своей жизни. Поэтому он обычно любит проводить в одиночестве час перед ужином. И я полагаю...

– Что полагаете?

– Так вот, я полагаю, что столь ценное им одиночество было сегодня нарушено.

– Все это вздор, – произнес генерал. – Ты, наверное, мало подумал. Так поразмысли еще немного.

– Моему дяде, – продолжал Петрюс, не обращая внимания на возражение старого генерала, – моему дяде сегодня между пятью и шестью часами вечера нанесла визит госпожа маркиза Йоланда Пантале де Латурнель.

Регина, которая только и ждала удобного случая, чтобы приблизиться к Петрюсу, и не пропускала ни единого его слова, заставлявшего учащенно биться ее сердце, услышав имя своей тетки, решила, что появился хороший повод присоединиться к разговору.

И она, встав с козетки, неслышно приблизилась к собеседникам.

Петрюс ее не видел и не слышал, как она подошла. Но он почувствовал ее присутствие и вздрогнул всем телом.

Глаза его закрылись, голос стих.

Девушка сразу же поняла сердцем, что произошло в сердце любимого, и ее охватило странное чувство наслаждения.

– Что же это вы замолчали, мсье Петрюс? – произнесла она голосом нежным, словно колебания струн эоловой арфы. – Вы не хотите, чтобы и я послушала ваш рассказ?

– О, молодость, молодость! – прошептал граф Эрбель.

От окруживших его молодых людей исходил аромат юности, здоровья, счастья и веселья, который заставил старого генерала просветлеть лицом.

Во взгляде, который граф бросил на Петрюса, читалось, что он мог бы одним своим словом нарушить все это, но что этому закоренелому эгоисту стало жалко разрушать прекрасный воздушный замок, в котором в данный момент находился его племянник. И он решил помочь Петрюсу.

– Коль две такие прекрасные дамы просят, ты не должен молчать. Говори, коли начал.

– Что ж, если дядя разрешает, – продолжил Петрюс, вынужденный продолжать свой рассказ в том же легкомысленном тоне, – я повторяю, что у госпожи де Латурнель, как и у всех...

Петрюс хотел было сказать: «Как и у всех старух», но, заметив, что в нескольких шагах от него стояла какая-то хмурая старуха-помещица, вовремя спохватился:

– Так вот я и говорю, что у мадам де Латурнель, как и у всех маркиз, есть мопс. Маленькая такая собачка, по кличке Крупет.

– Прелестное имя! – сказала госпожа де Моранд. – Я не знала клички, но с собачкой я знакома.

– В таком случае, – продолжал Петрюс, – вы можете судить о правдивости моего рассказа. Судя по всему эта собачка обладает необычайным чутьем на мускус... Я правильно говорю, дядюшка?

– Все правильно, – сказал старый генерал.

– Кроме того, как мне кажется, запах мускуса связан с приготовлением сосисок. А поскольку мадемуазель Крупет большая любительница покушать, всякий раз, когда мадам де Латурнель приходит навестить моего дядюшку, мадемуазель Крупет отправляется на кухню. И посему я готов побиться об заклад, что сегодняшней ужин у моего дорогого дядюшки был очень и очень невкусный. Вот потому-то он теперь и такой хмурый и меланхоличный.

– Bravo, мой мальчик! Точнее угадать было просто нельзя! И все же, если бы я захотел отгадать, почему это ты сегодня такой веселый и рассеянный, я был бы намного точнее в своих догадках... Но мне не терпится поскорее узнать, что нужно от меня этой очаровательной сирене, а посему я отложу свои умозаключения до следующего раза.

Затем граф обратился к госпоже де Моранд:

– Вы говорили, мадам, что хотели меня о чем-то попросить. Я весь внимание.

– Генерал, – сказала госпожа де Моранд, глядя на старика с самой большой нежностью, – вы имели неосторожность несколько раз сказать мне, что отдаете в мое распоряжение вашу руку, ваше сердце, вашу голову – короче, все, что я пожелаю. Вы ведь говорили это, не так ли?

– Это совершеннейшая правда, мадам, – ответил граф с той любезностью, которая в 1827 году была уже редкостью даже среди старцев. – Я сказал вам, что поскольку не имею счастья жить для вас, я с огромной радостью за вас умру.

– И вы намерены это выполнить, генерал?

– Теперь еще больше, чем когда-либо!

– Так вот, вам предоставляется сегодня возможность доказать мне это.

– Эта возможность – всего только волосок, мадам, но обещаю вам ухватиться за него.

– Выслушайте же меня, генерал.

– Я наострил уши, мадам.

– Именно эту часть вашего тела и я хотела получить в свое полное распоряжение.

– Что вы этим хотите сказать?

– Мне на сегодняшний вечер нужны ваши уши, генерал.

– Так что же вы сразу не сказали, о прекрасная дама! Дайте же мне ножницы, и я отрежу их и подарю вам без страха, без сожаления и даже без упрека... Если только после ушей вы не потребуете от меня и глаз.

– О, генерал! – сказала госпожа де Моранд. – Успокойтесь! И речи быть не может о том, чтобы отделить их от тела, на котором они так превосходно сидят: просто я прошу вас в течение часа настраивать их в ту сторону, в которую я вам укажу, и слушать очень внимательно. Другими словами, генерал, я имею честь представить вам одну из лучших моих подруг по пансиону: девушку, которую мы с Региной называем нашей сестрой. Полагаю, что она достойна вашего внимания так же, как и достойна нашей дружбы. Эта девушка сирота.

– Сирота! – повторил Жан Робер. – Но ведь вы только что сказали, мадам, что вы и госпожа графиня Рапт – ее сестры!

Госпожа де Моранд улыбкой поблагодарила Жана Робера и продолжила:

– Она сирота, поскольку не имеет ни отца, ни матери... Ее отец, бравый гвардейский капитан, офицер ордена Почетного легиона, был убит в 1814 году под Шампобером. Вот почему она воспитывалась с нами в Сен-Дени. Ее мать умерла два года назад у нее на руках. Она бедна...

– Бедна! – повторил генерал. – Не вы ли только что сказали, что у нее есть две подруги?

– Бедна и горда, генерал, – продолжала госпожа де Моранд. – И она хочет получить от искусства то, чего не может заработать иголкой... Потом, она пережила глубокую боль, и боль эта не прошла, а только приглушилась.

– Глубокую боль?

– О, да! Самую глубокую боль, которую только может вынести женское сердце!.. А теперь, генерал, когда вы все это знаете, я прошу вас простить ей грустное выражение лица и послушать ее голос.

– Но, – спросил генерал, – простите за этот вопрос, но он не настолько неуместен, как это может показаться на первый взгляд: ведь в той карьере, которой хочет посвятить себя ваша подруга, красота отнюдь не лишняя штука. Так ваша подруга красива?

– Как античная Ниоба в двадцать лет, генерал.

- И она поет?..
- Не скажу, что как Паста, Малибран или Каталани. Скажу, что на них она не похожа... Нет, она не поет: она рыдает, она страдает, она заставляет рыдать и страдать.
- А какой у нее голос?
- Великолепное контральто.
- А она уже пела когда-нибудь перед публикой?
- Никогда... Сегодня она впервые выступит перед пятьюдесятью зрителями.
- И чего же вы от меня хотите?..
- Я хочу, генерал, чтобы вы, как пресыщенный дилетант, как большой ценитель и знаток, послушали ее. А когда слушаете, сделали бы то, что в подобной ситуации сделали бы для меня. Я хочу, если позволите выразиться вашим языком, чтобы вы жили для нашей любимой Кармелиты, правда, Регина? Я хочу, чтобы вся ваша жизнь была посвящена только ей. Я хочу, чтобы вы стали для всех ее рыцарем, чтобы, начиная с этого самого момента, у нее не было бы более пылкого защитника и более страстного почитателя, чем вы. Я знаю, что в Опера к вашему мнению очень прислушиваются, генерал.
- О, не краснейте, дядюшка: это всем известно, – сказал Петрюс.
- Я хочу, – снова заговорила госпожа де Моранд, – чтобы вы рекомендовали и расхваливали перед всеми вашими друзьями нашу подругу Кармелиту... Я не настаиваю, по крайней мере пока, на том, чтобы вы устроили ее в Опера. Нет, мои замыслы не идут так далеко. Но поскольку именно из вашей ложи...
- Из *дьявольской* ложи, – вставил Петрюс. – О, мадам, можете не стесняться.
- Хорошо... Поскольку из этой дьявольской ложи звучат все литавры славы, поскольку из этой дьявольской ложи выходят все будущие звезды и там же меркнут все звезды сегодняшние, я рассчитываю на вашу преданность и дружбу, генерал, и надеюсь, что вы станете расточать похвалы в адрес Кармелиты везде, где соизволите бывать: в клубе, на бегах, в «Английском кафе», у Тортони, в Опера, у Итальянцев и даже в замке, даже если ваше присутствие в моем доме и не является выражением ваших политических симпатий. Обещаете ли вы мне *продвинуть* – неплохое слово, не так ли – мою прекрасную грустную подругу так далеко, как сможете? Я буду вам за это, генерал, вечно благодарна.
- Прошу дать мне месяц, о прекрасная дама, на то, чтобы создать ей рекламу, два месяца на то, чтобы добиться ее включения в труппу, и три месяца на то, чтобы подготовить ее к первому выступлению. Если, конечно, она не захочет дебютировать в Новой опере, ибо в таком случае на все это потребуется год.
- О! Она сможет дебютировать где захотите: она поет и по-французски и по-итальянски.
- В таком случае через три месяца я приведу к вам вашу подругу, с головы до ног покрытую лавровыми венками!
- И в таком случае вы разделите их с ней, генерал, – сказала госпожа де Моранд, протянув руку и горячо сжав ладонь старого графа.
- И я тоже, генерал, – произнес нежный голосок, заставивший вздрогнуть Петрюса. – Я тоже буду вам бесконечно благодарна.
- Я ни секунды в этом не сомневаюсь, принцесса, – сказал старик, продолжавший из вежливости называть графиню Рапт девичьим титулом и посмотрев во время ответа на племянника. – Ну, так что ж, – снова произнес он, повернувшись к госпоже де Моранд, – вам остается, мадам, оказать мне честь и представить меня вашей подруге, как ее самого преданного слугу.
- Это совсем просто, генерал. Она уже здесь.
- Как – здесь?
- Да, здесь, в моей спальне... Я решила избавить ее от неудобства – для девушки это всегда неудобно – проходить через все гостиные и слышать, как объявляют твое имя. Вот почему мы здесь в нашем небольшом кругу. И именно поэтому на некоторых отосланных мною при-

глашениях указано «Десять часов», а на других «Полночь»: я хотела, чтобы Кармелита попала сначала в круг друзей, которые отнесутся к ней снисходительно.

– Благодарю вас, мадам, – сказал Лоредан, найдя предлог, чтобы включиться в разговор, – я благодарю вас за то, что вы включили меня в число избранных. Но я сержусь на вас за то, что вы посчитали меня малозначительным и не рекомендовали мне вашу подругу.

– О! – сказала госпожа де Моранд. – Вы слишком большой соблазнитель, мсье барон, для того, чтобы я рекомендовала вам красивую двадцатилетнюю девушку! Впрочем, красота Кармелиты послужит наилучшей рекомендацией для вас.

– Время выбрано очень неудачно, мадам. И позволю вам возразить, что в такой час только лишь красота имеет право...

– Извините, мсье, – раздался очень мягкий и наполненный исключительной вежливостью голос, сразу же прервавший разглагольствования барона, – но мне нужно кое-что сказать мадам де Моранд.

Лоредан нахмурил брови и обернулся. Но, увидев улыбающегося господина де Моранда, который протягивал руку к жене, промолчал.

– Вы что-то хотели мне сказать? – произнесла госпожа де Моранд, нежно сжав руку мужа. – Говорите же!

Затем, повернувшись к генералу, сказал:

– Прошу меня извинить, генерал!

– Счастлив тот, кто имеет на вас такие права! – ответил граф Эрбель.

– Что поделать, генерал! – со смехом ответила госпожа де Моранд. – Это – право сеньора!

И отошла в сторону, опираясь на руку мужа.

– Слушаю вас и повинуюсь, мой господин.

– Честно говоря, не знаю, как вам это сказать... Дело в том, что я об этом как-то позабыл и вот только сейчас вспомнил.

– Говорите же!

– Господин Томпсон, мой корреспондент в Нью-Йорке, порекомендовал мне некоего молодого человека и некую девушку из Луизианы, у которых есть ко мне кредитное письмо. Я вручил им приглашения на ваш вечер, но имен их я не помню.

– И что же дальше?

– А то, что я взываю к вашей мудрости и прошу вас принять этих двух иностранцев. И надеюсь, что вы проявите достаточно любезности и хорошо отнесетесь к этим людям, которых рекомендовал мне господин Томпсон. Это все, мадам, что я хотел вам сказать.

– Можете на меня положиться, мсье, – сказала госпожа де Моранд с очаровательной улыбкой.

– Благодарю... А теперь позвольте мне выразить вам мое восхищение. Вы всегда красивы, мадам, но сегодня вы просто великолепны!

И, галантно поцеловав руку жены, господин де Моранд подвел ее к дверям спальни. Лидия, отодвинув портьеру, произнесла:

– Выходи, когда пожелаешь, Кармелита...

Глава XV Презентация

В тот самый момент, когда госпожа де Моранд, произнеся слова «Выходи, когда пожелаешь, Кармелита...», вошла в свою спальню и опустила за собой портьеру, в дверях гостиной послышалось:

– Монсеньор Колетти.

Воспользуемся теми несколькими мгновениями, пока Кармелита готовится выйти по приглашению своей подруги, и посмотрим на входящего в гостиную монсеньора Колетти.

Читатели, наверное, помнят о том, что имя этого святого человека уже произносилось госпожой де Латурнель.

Дело в том, что монсеньор Колетти является духовным пастырем маркизы.

В 1827 году монсеньор Колетти был не только уважаемым человеком, но и человеком известным. И не просто известным, но и модным. Его проповеди во время заговенья снискали ему славу великого предсказателя, и никто, как бы мало он ни верил в Бога, не мог с этим поспорить. Кроме, возможно, Жана Робера, который, как поэт, везде и во всем мысля поэтическими образами, был в постоянном недоумении по поводу того, что священники, имея под рукой такой великолепный текст, как Евангелие, часто бывают столь невыразительны и косноязычны в своих проповедях. И ему, противостоящему, и следует сказать с успехом, аудитории в сотню раз более своенравной, чем паства, пришедшая прослушать святую мессу, казалось, что, взойди он на кафедру, он смог бы сказать слова гораздо более убедительные или гораздо более обличительные, чем те приторные слова, которые произносят эти светские прелаты, чьи занудные проповеди ему удалось несколько раз услышать. В такие минуты он сожалел о том, что он не священник, что у него есть театр и нет кафедры в церкви, что его слова слушают профаны-зрители, а не христианская аудитория.

Несмотря на то, что тонкие шелковые чулки и фиолетового цвета одеяния однозначно указывали, что их носитель является одним из высокопоставленных церковнослужителей, можно было смело принять монсеньора Колетти за простого аббата времен Людовика XV, настолько его лицо, его выправка, его походка и весь его вид выдавали в нем скорее галантного гуляку, нежели строгого прелата, проповедующего воздержание во время поста. Можно было подумать, что, заснув на полвека в будуаре мадам де Помпадур или мадам дю Барри, монсеньор Колетти внезапно проснулся и начал жить полной жизнью, не осведомившись о тех изменениях, которые произошли в нравах и обычаях людей. Или что, только что покинув двор папы римского, он попал во французское общество в своем наряде сверхмодного аббата.

С первого взгляда этому красивому прелату в полном смысле этого слова: розовощекому, свежему – можно было дать лет тридцать шесть. Но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что монсеньор Колетти имел в лице черту, которая так свойственна сорокапятилетним женщинам, старающимся выглядеть как тридцатилетние: монсеньор Колетти пудрил лицо, монсеньор Колетти использовал румяна.

Когда же взгляду удавалось пробить этот слой косметики и дойти до самой кожи, люди с испугом замечали под этой живой внешностью нечто столь угрюмое и увядшее, что бросало в холод.

И все же были на этом неподвижном, словно восковая маска, лице и живые черты: то были глаза и рот. Его маленькие черные, глубоко посаженные глаза метали быстрые молнии и потом сразу же гасли под нежными ханжескими веками. Рот был маленьким, тонким, с насмешливо вздернутой верхней губой он выражал ум, злобу и порой источал яд.

В целом же все его лицо иногда выражало ум, честолюбие, сладострастие, но никогда не выражало доброту. С первого же взгляда на его лицо чувствовалось, что этого человека среди

врагов лучше не иметь. Но вместе с тем его лицо ни у кого не вызывало симпатии и желания быть этому человеку другом.

Будучи не высокого роста, он имел, как говорили горожане о священнослужителях, довольно представительную внешность. Прибавьте ко всему этому некоторую долю высокомерия, презрительности, наглости, которые проявлялись в его манере держать голову, приветствовать мужчин, входить в гостиные, покидать их, садиться и вставать. И те зачатки вежливости, которые он приберегал для дам: он подмигивал им, многозначительно глядел в глаза, а когда женщина, к которой он обращался, нравилась ему, лицо его принимало неопишное выражение похотливой нежности.

Именно с таким выражением полуприкрытых подмигивающих глаз он и вошел в гостиную, которую можно было назвать дамским салоном. Генерал, хорошо знавший монсеньора Колетти, прошептал сквозь зубы, услышав его имя:

– Входите, монсеньор Тартюф!

Это появление, это вхождение, это приветствие, это колебание монсеньора Колетти перед тем, как сесть, и, наконец, то внимание, с которым присутствующие встретили прославленного проповедника недавно прошедшего поста, на мгновение отвлекли внимание всех от Кармелиты. Мы говорим *на мгновение* потому, что прошло всего лишь мгновение с того момента, как госпожа де Моранд опустила портьеру за собой, до того момента, когда портьера снова поднялась и взору присутствующих предстали обе подруги.

Невозможно даже вообразить себе более поразительный контраст, чем тот, который был между госпожой де Моранд и Кармелитой.

Да и Кармелита ли это?

Да, это она... Но это уже не та Кармелита, чей портрет мы нарисовали в *«Монографии о Розе»*. Не та Кармелита с розовыми щеками, с нежным цветом кожи, с лицом, на котором были написаны простота и невинность. Совсем не та Кармелита, вдыхающая расширенными ноздрями ароматы цветов, растущих под ее окнами... Нет, это совершенно новая Кармелита: это высокая молодая женщина с роскошными черными волосами, ниспадающими на плечи. На мраморные плечи! Это тот же самый высокий, открытый, умный лоб. Но лоб слоновой кости! Это те же самые щеки, некогда розовые и дышащие молодостью и здоровьем. Но сегодня они бледные и отливают поразительным матовым оттенком!

Ее и без того большие прекрасные глаза стали будто вдвое больше. В них по-прежнему горит огонь, но теперь они мечут не искры, а молнии. А из-за коричневатых кругов вокруг глаз создается впечатление, что молнии эти вырываются из грозовой тучи.

А ее губы? Некогда пурпурные, они после болезни так и не смогли обрести их первоначальный цвет и теперь имеют слабый оттенок розового коралла. Но следует отметить, что именно благодаря этому они прекрасно дополняли облик Кармелиты, делая ее красоту просто сказочной, хотя и придавали этой необычайной красоте некоторый оттенок нереальности.

Одета она была просто, но с большим вкусом.

Три ее названные сестры настаивали на том, чтобы она непременно пришла на прием к Лидии, и долго обсуждали, в каком наряде она должна будет там появиться. Полная решимости добиться независимого положения, Кармелита не принимала никакого участия в этом споре, а только заявила, что поскольку она является вдовой Коломбана, траур по которому будет носить всю жизнь, то она наденет только черное платье. А посему Фрагола, Лидия и Регина могут кроить и шить черное платье любого фасона.

Регина решила, что у платья будет верх из черных кружев и юбка из черного атласа, а в качестве отделки пойдет гирлянда из темно-фиолетовых, вызывающих грусть цветов по названию аквилегия, в которые будут вплетены веточки кипариса.

Венок, сплетенный Фраголой, которая лучше своих подруг умела подобрать сочетание цветов и оттенков, состоял, как и гирлянда на платье и букетик на корсаже, из веточек кипариса и цветов аквилегии.

Шею Кармелиты украшало дорогое кольцо из черного жемчуга, подарок Регины.

Когда Кармелита, бледная и убранныя для выхода, появилась из спальни госпожи де Моранд, все, кто ожидал ее увидеть, но не в таком облике, вскрикнули, и в этом возгласе одновременно перемешались восхищение и страх. Можно было подумать, что все увидели перед собой античную скульптуру. Норму или Медею. По жилам присутствующих пробежал холодок.

Даже такой скептик, как старый генерал, понял, что в ее облике было нечто от античной верности. Какое-то самопожертвование. Он поднялся и застыл в ожидании.

Едва Кармелита появилась в салоне, как Регина устремилась к ней.

И великолепное привидение оказалось в обрамлении двух полных жизни и счастья молодых женщин.

Все присутствующие провожали взглядами эту молчаливую группу. Во взорах читалось любопытство и волнение.

– О, как ты бледна, бедная моя сестричка! – воскликнула Регина.

– О, как ты прекрасна, Кармелита! – произнесла госпожа де Моранд.

– Я уступила вашим просьбам, любимые сестры, – произнесла молодая женщина. – Но, по правде говоря, пока еще не поздно, не лучше ли вам остановить меня?

– Почему же?

– Вы ведь знаете, что я не прикасалась к пианино с тех самых пор, как мы вместе с ним спели прощание с жизнью? А если меня подведет голос? А вдруг я все позабыла?!

– Ты не могла забыть то, чему никогда не училась, Кармелита, – сказала на это Регина. – Ты пела, как птичка, а разве может птица разучиться петь?

– Регина права, – добавила госпожа де Моранд. – Я так же уверена в тебе, как и ты в самой себе. Поэтому не волнуйся и пой спокойно, моя милая! Уверю тебя, ни один артист не выступал перед более благожелательно настроенными слушателями.

– О, спойте, спойте, мадам! – заговорили разом все, кроме Сюзанны и Лоредана.

Брат и сестра молча смотрели на эту мрачную, но ослепительную красоту. Во взоре брата было удивление, а взгляд сестры выражал зависть.

Кармелита поблагодарила гостей кивком головы и продолжила двигаться в направлении пианино, одновременно приближаясь к графу Эрбелю.

– Господин граф, – сказала госпожа де Моранд, – я имею честь представить вам мою самую близкую подругу: из трех моих лучших подруг она – самая несчастная.

Генерал во второй раз поклонился и с учтивостью рыцарских времен произнес:

– Мадемуазель, я сожалею о том, что мадам де Моранд не дала мне более трудную задачу, чем задачу сделать вам имя. Поверьте, я приложу к этому все мои силы и буду считать себя вашим покровителем.

– О, спойте, спойте же, мадам! – вновь раздался голоса, в которых слышались нотки мольбы.

– Видишь, дорогая сестричка, – сказала госпожа де Моранд, – все ждут тебя с большим нетерпением... Может быть, начнешь?

– Если гости этого хотят, можем начать немедленно, – просто ответила Кармелита.

– Что же ты будешь петь? – спросила Регина.

– Выбирайте сами.

– У тебя, что же, нет любимой арии?

– Нет.

– У меня здесь весь «Отелло».

– Давай начнем с «Отелло».

– Ты аккомпанируешь себе сама? – спросила Лидия.

– Когда больше некому, – ответила Кармелита.

– В таком случае я буду тебе аккомпаниатором, – предложила Регина.

– А я буду переворачивать ноты, – добавила госпожа де Моранд. – Ведь с нами тебе не будет так страшно, да?

– Мне не страшно... – произнесла Кармелита, грустно покачав головой.

Действительно, внешне она казалась совершенно спокойной. Она положила свою холодную ладонь на руку госпожи де Моранд. На лице ее была написана совершенная безмятежность.

Госпожа де Моранд подошла к пианино и извлекла из стопки партитур ноты «Отелло».

Кармелита осталась на месте рядом с Региной.

Все гости сели. Наступила полнейшая тишина, не слышно было даже дыхания людей.

Госпожа де Моранд установила ноты на пианино, а Регина, сев за инструмент, быстро исполнила блестящую прелюдию.

– Может быть, споешь романс «У ивы»? – спросила госпожа де Моранд.

– Охотно, – ответила Кармелита.

Госпожа де Моранд открыла партитуру предпоследней сцены последнего акта.

Регина обернулась к Кармелите, вытянув вперед руки и показывая, что готова начать играть.

В этот момент слуга объявил:

– Мсье и мадам Камил де Розан.

Глава XVI

Романс «У ивы»

Это объявление вызвало в нескольких углах гостиной нечто похожее на стон, в котором слышался ужас. Затем наступила тишина. Можно было подумать, что все присутствующие знали историю Кармелиты и что гости не смогли удержаться, чтобы не воскликнуть горестно, услышав объявленное имя, увидев, как в салоне внезапно появился с улыбкой на устах и с беззаботным выражением на лице тот самый молодой человек, которого можно было в какой-то мере считать убийцей Коломбана.

Возглас изумления и ужаса вырвался одновременно из груди Жана Робера, Петрюса, Регины и госпожи де Моранд.

Что же касается Кармелиты, то она не вскрикнула, не вздохнула, а осталась стоять, замерев, словно изваяние.

И только господин де Моранд, вспомнив позабытое им имя, направился навстречу молодой паре, которую рекомендовал ему его американский корреспондент, со словами:

– Вы прибыли как раз вовремя, мсье де Розан! Не желаете ли присесть и послушать. Вы сейчас услышите самый, по словам мадам де Моранд, прекрасный голос в мире.

Предложив руку госпоже де Розан, он подвел ее к креслу. А в это время Камил пытался узнать в стоявшем перед ним призраке Кармелиту. Когда же он ее узнал, то изумленно воскликнул.

Лидия и Регина бросились к подруге, полагая, что ей нужна их помощь, и ожидая, что та сейчас рухнет к ним на руки. Но, к своему огромному удивлению, увидели, что Кармелита, как мы уже сказали, продолжала стоять неподвижно и смотреть прямо перед собой. Вот только цвет ее лица стал не просто бледным, а смертельно бледным.

Неподвижно застывшие, лишённые всякого выражения глаза, казалось, ничего и никого не замечали. Можно было подумать, что сердце перестало биться: настолько вдруг она оцепенела. На молодую женщину было невозможно посмотреть без содрогания и страха. Тем более что, кроме смертельной бледности, лицо ее ничем не выдавало ни малейшего волнения.

– Мадам, – сказал господин де Моранд, подойдя к жене, – вот эти два человека, о которых я уже имел честь вам сообщить.

– Займитесь ими сами, умоляю вас, мсье, – ответила госпожа де Моранд. – Я должна заняться Кармелитой. Вы видите, в каком она состоянии.

Эта бледность, этот лишённый жизни взгляд, эта неподвижность поразили господина де Моранда.

– О! Бог мой! Мадемуазель, – спросил он с участием, – что такое с вами приключилось?

– Ничего, мсье, – ответила Кармелита, поднимая голову тем движением, с которым смелое сердце глядит в лицо своему несчастью. – Всё в порядке.

– Не пой... Не надо сегодня петь! – шепнула Регина на ухо Кармелите.

– Почему же мне не надо петь?

– Это будет выше твоих сил, – сказала Лидия.

– Посмотрим! – ответила Кармелита.

И на губах ее появилось некое подобие улыбки. Улыбки мертвеца.

– Так ты все-таки хочешь петь? – спросила Регина, вновь садясь к пианино.

– Петь будет не женщина, Регина, а артистка.

И Кармелита сделала три шага к пианино.

– Спаси нас Бог! – произнесла госпожа де Моранд.

Регина второй раз сыграла прелюдию.

Кармелита запела:

Assisa al pic d' un salice...
(Сидя под ветвистой ивой...)

Голос ее остался твердым, уверенным и, если начиная со второй строки всех слушателей охватило глубокое волнение, то оно было вызвано скорее болью Дездемоны, чем страданиями самой Кармелиты.

Трудно было выбрать арию более подходящую для ситуации, в которой оказалась девушка: та смертельная тоска, что охватила сердце Дездемоны, когда она пела первый куплет своей кормилице, африканской рабыне, выражала ту тоску, которая сжимала ее собственное сердце. Гроза, сгущающаяся над дворцом прекрасной венецианки, ветер, разбивший стекло готического окна ее спальни, отдаленные раскаты грома, темная ночь, тускло горящая лампа – все этой мрачной ночью, вплоть до печальных стихов Данте, которые поет проплывающий мимо гондольер:

Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nelle miserie...
(Нет в мире большей боли,
Чем вспоминать бывшее счастье
В горе...)

бросает несчастную Дездемону в самое глубокое отчаяние, во всем этом есть мрачное предзнаменование, все это сулит что-то недоброе!

С этой душераздирающей сценой мрачных предчувствий может сравниться разве только ария статуи в «Дон Жуане» Моцарта да сцена отчаяния бедной доньи Анны, обнаружившей труп своего отца.

Повторяем, ни одна другая музыка, кроме музыки этого великого итальянского композитора, не могла с большей силой и выразительностью передать страдания Кармелиты.

Разве не был ее Коломбан, этот добрый, сердечный и мужественный человек, скорбь по которому она хранила в своем сердце, разве не был он в какой-то мере похож на хмурого и верного негра, возлюбленного Дездемоны? И разве не напоминал чем-то этот зловещий Яго, этот завистливый друг Отелло, того фривольного американца, совершившего по своему легкомыслию то, чего удалось добиться Яго со всей его ненавистью?

И именно потому, что Кармелита, увидев Камила, очутилась в таком же положении, что и Дездемона, этот романс, который она пела с такой твердостью в голосе и одновременно с таким чувством, звучал, как непрекращающаяся мука, и каждая его нота врезалась в ее холодное разбитое сердце, словно лезвие беспощадного кинжала.

После первого куплета все гости принялись аплодировать с тем неподдельным восторгом, который вызывает появление нового таланта у публики, не желающей выносить ложного суждения.

Второй куплет:

I rucelletti limpidi
A caldi suoi sospiri...
(В прозрачном ручейке
Его остыли вздохи...)

наполнил слушателей удивлением. Это уже была не женщина, не певица, изливающая свои стоны: это пела сама Боль.

Припев же:

Laurefra i remi flebile
Ripetiva il suon...
(Своими гибкими ветвями
Лавр эти звуки повторил...)

был спет с такой трогательной грустью, что вся трагедия отчаяния этой девушки прошла перед глазами тех, кто ее знал. Как, вполне понятно, и перед глазами ее самой.

Регина стала почти такой же бледной, как и Кармелита. Лидия рыдала.

И действительно, никогда еще более задушевный голос, а в то время слушателей очаровывали многие выдающиеся певицы – Паста, Пиццарони, Манивель, Зонтаг, Каталани, Малибран, – никогда еще более взволнованный оттенок голоса не приводил в волнение сердца *dilettanti* (ценителей) этого прекрасного итальянского языка, который сам по себе уже был песней. Но мы осмелимся сказать тем, кто слышал этих великих упомянутых нами певиц, что голос нашей героини отличался от голосов этих знаменитостей.

Голос Кармелиты имел поразительный диапазон: она брала нижнее *сопь* так же легко и звучно, как мадам Паста брала *ля*, и доходила до верхнего *ре*. Девушка таким образом могла исполнять – и в этом заключалось очарование ее голоса – партии для контральто с не меньшим успехом, чем партии для сопрано.

Действительно, ни один сопрано не был более чистым, более богатым, более звучным, более приспособленным для фиоритуры, для *gorgheggi*, если нам будет позволено употребить это слово, употребляемое в Неаполе для того, чтобы объяснить то дрожание горла, которым, по нашему мнению, так злоупотребляют все начинающие дебютантки, поющие сопрано.

Что же касается контральто, то он был уникален.

Каждому известно чудесное магнетическое действие контральто: этот голос описывает любовь с большей силой, с большей грустью, с большей выразительностью и страданием, чем сопрано. Певица, обладающая сопрано, подобна птичке: она нравится публике, она очаровывает, захватывает. Но когда певица поет контральто, она волнует публику, увлекает ее, возбуждает. Сопрано – это чисто женский голос: в нем слышатся нежность и ласка. Контральто напоминает голос мужчины: в нем слышатся сила, твердость, нервность. И одновременно этот специфичный оттенок, имеющий свойства обоих полов – это как бы голос гермафродита. А посему такие голоса трогают сердца слушателей со скоростью и силой электрического разряда или магнетизма. Голос контральто является в какой-то мере эхом чувств слушателей: если бы тот, кто слушает, мог петь, он бы сам, несомненно, спел арию именно так.

Таким было действие, которое произвел на слушателей голос Кармелиты. Обладая необычными способностями, хотя и чисто инстинктивными, ибо она не знала техники модных в то время артисток, Кармелита умела удачно сочетать горловой голос с голосом грудным. И это сочетание было столь явственным, что даже опытный учитель пения не смог бы сказать, сколько надо было дать уроков для того, чтобы добиться сочетания двух столь разных голосов.

Кармелита же, имея врожденные способности к музыке, под руководством Коломбана так прилежно и упорно изучила основы музыкальной грамоты, что ей потом нужно было только дать себе волю для того, чтобы разойтись и наэлектризовать слушателей. Голос ее был так прекрасен, вкус ее был безупречен. Привыкнув с первых же уроков к строгости немецкой музыки, она вполне умеренно прибегала к итальянским фиоритурам и использовала их лишь для того, чтобы усилить впечатление от какого-нибудь пассажа или чтобы соединить одну фразу с дру-

гой. Но никогда для того, чтобы просто понравиться, никогда для того, чтобы только показать силу своего голоса.

Мы закончим этот анализ дарования Кармелиты словами, что в отличие от самых известных певиц того времени – и даже всех времен – одна и та же нота не звучала, если можно так выразиться, в ее исполнении одинаково.

А тем, кто удивится этому и обвинит нас в чрезмерных похвалах, говоря, что ни одна певица, имея таких наставников, как Порпора, Моцарт, Перголезе, Вебер и даже Россини, не смогла достичь такого безупречного сочетания двух голосов, ответим, что у Кармелиты учитель был намного более серьезный, чем те, чьи имена мы назвали выше, и что имя ему – Несчастье!

И поэтому в конце третьего куплета раздалось единодушное ура, выражение необъяснимого восторга.

Еще не успели стихнуть последние ноты, стонущие и жалобные, как вопль самой Боли, как позолоченный купол этого светского салона содрогнулся от грома аплодисментов. Все встали, стараясь первыми выразить свой восторг и поблагодарить артистку, подарившую всем столь замечательные мгновения. Это был настоящий праздник, всеобщий порыв, всё то, что так называемая *furia francese* (французская страсть), заставляющая забыть о всех приличиях, могла позволить. Все бросились к пианино для того, чтобы поближе увидеть эту девушку, прекрасную, как сама Красота, мощную, как Сила, зловещую, как Отчаяние. Пожилые дамы, завидовавшие ее юности, молодые женщины, завидовавшие ее красоте, все, кто завидовал ее несравненному таланту, – все, кто подумал, что могут снискать славу в том, чтобы стать подругой столь прекрасной женщины, окружили ее, постарались прикоснуться к ее руке и с любовью пожать ее!

Поэтому-то искусство и прекрасно, поэтому-то оно и великолепно: оно в одно мгновение делает незнакомого человека вашим другом.

В одно мгновение на Кармелиту обрушился поток приглашений, подобно будущим цветам ее грядущего успеха.

Старый генерал, бывший, как мы уже сказали, большим знатоком, которого трудно чем-то удивить, почувствовал, что по его щекам текут слезы волнения. Это было ливнем, который дал выражение его чувствам, охватившим сердце в то время, когда он слушал пение этой печальной девушки.

Жан Робер и Петрюс инстинктивно подались друг к другу, и в их молчаливом рукопожатии нашло незримое выражение охватившее их огромное волнение и печальный восторг. Если бы Кармелита дала им знак к мести, они немедленно набросились бы на этого беззаботного Камила, который, не ведая того, что случилось по его вине, с улыбкой на устах и моноклем на глазу кричал со своего места «Браво! Браво! Браво!», словно он находился у «Итальянцев».

Регина и Лидия, понимавшие, что присутствие этого креола добавило боли и выразительности голосу Кармелиты, вздрагивавшие во время пения от опасения, что при каждой новой ноте сердце певицы разорвется от страданий, были поражены. Регина не смела обернуться, а Лидия боялась поднять голову от нот.

Вдруг раздался крик ужаса людей, обступивших Кармелиту. Обе молодые женщины стряхнули оцепенение и одновременно обернулись к подруге.

Спев последнюю ноту отчаяния, Кармелита закинула голову назад и, бледная, застывшая, похолодевшая, непременно рухнула бы на паркет, если бы ее не поддержали чьи-то заботливые руки и чей-то дружеский голос не произнес тихо:

– Мужайтесь, Кармелита! И будьте гордой: начиная с сегодняшнего вечера, вам больше никто не нужен!

Перед тем, как закрыть глаза, молодая женщина успела узнать в говорившем Людовика, этого жестокого друга, который вернул ее к жизни.

Тяжело вздохнув, девушка грустно покачала головой и потеряла сознание.

И только тогда две слезы скатились из ее закрытых глаз на бледные щеки.

Подруги приняли Кармелиту из рук Людовика, вошедшего без шума и объявления в гостиную во время пения и так вовремя сумевшего предотвратить падение девушки на пол.

– Ничего серьезного, – сказал он подругам певицы, – такие приступы слабости скорее идут ей на пользу, а не во вред... Дайте ей понюхать вот этот пузырек, и через пять минут она придет в себя.

Регина и Лидия с помощью генерала отнесли Кармелиту в спальню. Генерал остановился на пороге.

Когда Кармелита исчезла за дверью, слушатели, успокоенные словами Людовика, вновь дали волю своим чувствам.

В гостиной раздался крик единодушного восхищения!

Глава XVII

Где Камил тугο соображает

Когда все вволю насладились талантом будущей дебютантки сцены, когда в ее адрес были высказаны все мыслимые и немыслимые комплименты, каждый из ошарашенных слушателей, пообещав клятвенно непременно ввести ее в свой круг, позволил увлечь себя из будуара в гостиную, где уже раздались первые звуки оркестра, и все отдались танцам.

В связи с этим достоин упоминания один эпизод, который мы приводим потому, что он вполне естественно связан с нашей драмой: это неуклюжий поступок Камилы де Розана, который имел наглость обратиться к людям, прекрасно знавшим историю Кармелиты.

Его жена, госпожа де Розан, красивая пятнадцатилетняя креолка, была в этот момент отвлечена некой помещицей американского происхождения, утверждавшей, что является ее родственницей.

Камил, видя, что жена его занята выявлением родственных связей, воспользовался случаем, чтобы повести себя снова холостяком.

Он увидел своего старинного знакомого, почти приятеля, Людовика, и, когда после выступления Кармелиты вновь воцарилась тишина, он, полагая, что обморок певицы был вызван большим волнением, устремился к молодому врачу с тем порывом, который так свойственен человеку, попавшему в незнакомую компанию и увидевшему среди гостей старого знакомого. Подойдя, он протянул руку:

– Слава Гиппократу! – воскликнул он. – Да это же мсье Людовик!.. Здравствуйте, мсье Людовик! Как вы себя чувствуете, мсье Людовик?

– Плохо, – холодно ответил молодой врач.

– Плохо? – переспросил креол. – Но у вас такой цветущий вид!

– Какая разница, мсье, если душа моя застыла.

– У вас какие-то огорчения?

– Более чем огорчение: горе!

– Горе?

– И глубокое!

– Бог мой, Людовик! Вы потеряли родственника?

– Я потерял того, кто был мне дороже родственника.

– Да кто же может быть ближе родственника?

– Друг... Это, конечно, бывает редко.

– А я его знал?

– Прекрасно.

– Кто-нибудь из наших приятелей по колледжу?

– Да.

– Ах, бедняга! – произнес Камил с крайним безразличием в голосе. – И как его звали?

– Коломбан, – сухо ответил Людовик и, кивнув Камилу, повернулся к нему спиной.

Креол был готов броситься на Людовика. Но, как мы уже сказали, он отличался сообразительностью и понял, что этого делать не стоило. А посему, развернувшись на каблучках, он удалился, решив отложить месть до лучших времен.

Действительно, если Коломбан умер, Людовик имел полное право удивиться тому, что Камил не был опечален подобным событием.

Но как же он мог быть опечален этим? Он ведь ничего об этом не знал!

Бедный Коломбан. Он был таким юным, таким красивым, таким сильным. От чего же он умер?

Камил стал искать глазами Людовика, чтобы сказать ему, что он ничего про это не знал, и расспросить о подробностях смерти их общего друга. Но врача и след простыл.

Разыскивая глазами Людовика, Камил обратил внимание на некоего молодого человека, чье симпатичное лицо показалось ему знакомым. Но вот его имя он никак не мог вспомнить. Он был уверен, что где-то уже видел этого человека, и полагал, что был с ним знаком. Если они встречались в школе Права – а это было вполне вероятно – этот молодой человек мог сообщить ему все нужные сведения о смерти Коломбана.

И Камил направился к этому юноше.

– Извините, мсье, – сказал он, – я только сегодня утром прибыл из Луизианы, это приблизительно на полпути к антиподам. Я проплыл две тысячи лье по океану, и поэтому в голове у меня все перемешалось от бортовой и килевой качки. Следовательно, и с памятью у меня сейчас неладывает... Посему прошу вас простить меня за вопрос, с которым я имею честь обратиться к вам.

– Слушаю вас, мсье, – довольно вежливо, но в то же время с явной сухостью ответил тот, к кому были обращены слова Камил.

– Я полагаю, мсье, – продолжал Камил, – что мы с вами уже виделись несколько раз во время моего прошлого посещения Парижа. Увидев вас сейчас, я подумал, что лицо ваше мне очень знакомо... Может быть, у вас память окажется лучше моей и вы скажете, имеете ли вы честь знать меня?

– Вы правы, я вас прекрасно знаю, мсье де Розан, – ответил молодой человек.

– Как? Вы знаете мое имя? – радостно воскликнул Камил.

– Как видите.

– Не доставите ли вы мне удовольствие напомнить ваше имя?

– Меня зовут Жан Робер.

– А! Ну конечно! Жан Робер... Черт возьми! Я был уверен, что мы знакомы! Ведь вы – один из самых наших известных поэтов и один из лучших друзей моего приятеля Людовика, будет мне позволено...

– Который был к тому же одним из лучших друзей Коломбана, – ответил Жан Робер и, сухо кивнув креолу, повернулся, чтобы уйти.

Но Камил остановил его.

– Простите, мсье! – сказал он Жану Роберу. – Но вы – второй человек, кто говорит мне о смерти Коломбана... Не могли бы вы поподробнее рассказать мне о его смерти?

– Что же вас интересует?

– Я хотел бы знать, от какой болезни умер Коломбан.

– Он умер не от болезни.

– Значит, он был убит на дуэли?

– Нет, мсье, он не был убит на дуэли.

– Но тогда от чего же он умер?

– Он сознательно отравился угарным газом, мсье.

Сказав это, Жан Робер так холодно кивнул Камилу, что тот и не подумал его задерживать. К тому же Камил не успел еще оправиться от удивления.

– Отравился угарным газом! – прошептал Камил. – Отравился! Кто бы мог подумать, что Коломбан, такой набожный человек, смог пойти на это?.. Ах, Коломбан!

И Камил воздел вверх руки, как человек, не желающий верить в то, что только что услышал, и желающий, чтобы ему повторили новость еще раз.

Поднимая вверх руки, Камил поднял и глаза и тут заметил некоего молодого человека, погруженного в очень глубокие размышления.

Он узнал в нем художника, на которого ему указали во время смятения, вызванного обмороком Кармелиты. Ему тогда сказали еще, что это – один из наиболее ярких мастеров кисти. Лицо этого юноши выражало самый неподдельный восторг.

Это был Петрюс, которого высокое искусство Кармелиты наполнило одновременно грустью и гордостью. У художников не такое сердце, как у других людей. У художников совсем иная душа. Художники очень чувствительны к боли других. Но поскольку они могут так по-королевски побеждать эту боль, они – совершенно отличные от нас существа!

Камила обмануло выражение лица Петрюса: он принял его всего-навсего за находящегося в экстазе дилетанта. Поэтому он приблизился к нему с намерением сказать самый приятный комплимент.

– Мсье, – сказал он ему, – будь я художником, я бы выбрал только ваше лицо для того, чтобы выразить восхищение великого человека, услышавшего божественную музыку великого маэстро.

Петрюс взглянул на Камилу с холодным презрением и поклонился, ничего не сказав.

Камил продолжал:

– Я не знаю точно, докуда простирается восхищение французов божественной музыкой Россини. Но в наших колониях она производит фурор. Это – сама страсть, безумство, фанатизм! У меня был приятель, большой любитель немецкой музыки, он погиб на дуэли, – он утверждал, что Моцарт выше Россини. Так вот он говорил, что предпочитает *«Свадьбу Фигаро»* *«Севильскому цирюльнику»*. Что же касается меня, то признаюсь, что я – поклонник Россини и что ставлю его намного выше Моцарта... Это – мое личное мнение, и я сохраню его до самой смерти.

– Но это мнение, мне кажется, не разделял ваш друг Коломбан, – сказал Петрюс, холодно кивнув креолу.

– Ах, дьявольщина! – воскликнул Камил. – Поскольку все здесь сговорились, мсье, говорить со мной о Коломбане, не хотите ли вы сказать, что он отравился угарным газом только потому, что Россини возобладал над Моцартом?

– Нет, мсье, – ответил изысканно вежливо Петрюс. – Он отравился потому, что любил Кармелиту и предпочел покончить с собой, чтобы не предать своего друга.

Камил вскрикнул и поднес руки ко лбу, словно человек, перед глазами которого ударила молния.

А тем временем Петрюс, как до этого Людовик и Жан Робер, перешел из будуара в гостиную.

В тот момент, когда Камил, едва оправившись от перенесенного шока, отвел руки от лица и открыл глаза, он увидел перед собой – впервые со времени его появления в гостиной госпожи де Моранд – красивого высокомерного вида юношу, готового начать разговор в тот момент, когда Камил будет в состоянии поддержать его.

– Мсье, – сказал юноша, – я узнал, что вы только сегодня утром прибыли из колоний и впервые представлены мсье и мадам де Моранд. Не окажете ли мне честь принять мои услуги в качестве поручителя в гостиных нашего общего банкира и путеводителя по значным местам нашей столицы?

Этим услужливым чичероне был граф Лоредан де Вальженез, с первого же взгляда отметивший, какую дивную креолку привез во Францию Камил де Розан, и решивший на всякий случай сблизиться с мужем для того, чтобы при случае поближе сойтись с женой.

Камил облегченно вздохнул, увидя, что с ним говорит человек, высказавший ему дюжину слов и ни разу не назвавший имени Коломбана.

И не стоит сомневаться в том, что он с благодарностью принял предложение господина де Вальженеза.

Оба молодых человека прошли в гостиную, где танцевали: только что была сыграна прелюдия к вальсу. Они появились как раз к началу танца.

Первый человек, которого они повстречали, войдя в гостиную, – казалось, именно там братец велел ей ждать его, такое нетерпение было написано на ее лице, – была мадемуазель Сюзанна де Вальженез.

– Мсье, – сказал Лоредан, позвольте мне представить вам мою сестру, мадемуазель Сюзанну де Вальженез.

Затем, не дожидаясь ответа Камила, ответ можно было прочесть по его глазам, граф добавил:

– Дорогая Сюзанна, представляю вам моего нового друга, мсье Камила де Розана, американского дворянина.

– О! – произнесла Сюзанна. – Но вашего нового друга, дорогой Лоредан, я давным-давно знаю!

– Ну да? И когда же это вы успели познакомиться?

– Как? – воскликнул Камил с горделивой радостью. – Неужели, мадемуазель, мне выпала честь быть известным вам?

– Да, конечно, мсье! – ответила Сюзанна. – В Версале, где я обучалась в пансионе, давно уже, я дружила с двумя вашими соотечественницами.

В этот момент в танцевальной гостиной, поручив горничной заботы о пришедшей в сознание Кармелите, появились Регина и госпожа де Моранд.

Лоредан сделал незаметный сигнал сестре, ответившей на это едва уловимой улыбкой.

И пока, в третий раз за вечер, Лоредан изготавился возобновить бесконечный разговор с госпожой де Моранд, Камил и мадемуазель де Вальженез для того, чтобы укрепить знакомство, окунулись в головокружительный вихрь вальса и затерялись в океане батиста, шелка и цветов.

ГЛАВА XVIII

Как был похоронен «Закон любви»

Давайте вернемся немного назад, поскольку мы понимаем, что, поторопившись войти в дом госпожи де Моранд, мы несколько перескочили через события и дни, которые должны быть отражены в нашем повествовании и которые уже вошли в историю.

Мы помним о скандале, произошедшем во время похорон герцога де Ларошфуко.

Поскольку в нем приняли непосредственное участие некоторые герои нашего повествования, мы попытались воспроизвести подробности этой ужасной сцены, в которой полиции удалось добиться желаемого результата: арестовать господина Сарранти и проверить уровень сопротивляемости населения самым невероятным оскорблениям, которые только можно нанести трупу уважаемого и любимого народом человека.

Сила осталась на стороне правопорядка и закона! Именно так это расценивалось правительством.

«Еще одна такая победа, – говорил Пирр, бывший отнюдь не конституционным королем, а тираном в полном смысле этого слова, – и я погиб!» Именно так и должен был сказать Карл X после печальной победы, одержанной им на ступеньках церкви Вознесения.

Действительно, возмущение было столь глубоким и охватило не только толпу – от которой король, по крайней мере временно, был слишком далек, чтобы почувствовать дрожь негодования сквозь различные социальные слои, отделявшие его от простого народа, – но и палату пэров, от которой он был отделен только ковром, покрывавшим ступеньки трона.

Пэры, как мы уже сказали, были все до единого возмущены оскорблением, нанесенным останкам герцога де Ларошфуко. Самые независимые из них открыто высказывали свое негодование. Самые *преданные* королю скрыли свое возмущение в глубинах сердца. Но и там оно не давало покоя тому ужасному советнику, имя которому гордость. Все только и ждали удобного случая для того, чтобы расквитаться, в министерстве или в присутствии самого короля, за ту пощечину, которую нанесла высшей знати эта выходка полиции.

Случай для отмщения представился вскоре в виде проекта *закона любви*.

Он был представлен для рассмотрения господам де Бролье, Порталису, Порталю и Лебарту.

Мы уже не помним имен других членов комиссии и вовсе не хотим оскорбить этим уважаемых людей.

Эта комиссия с первых же заседаний показала, что она далека от выражения симпатий этому законопроекту.

Министры и сами начали это чувствовать с тем испугом, который охватывает путешественников, вступающих в неведомую им страну, сначала оказавшихся на краю пропасти. Так вот и эти министры начали понимать, что под политическим вопросом, который, казалось, был главным, скрывались гораздо более важные течения.

Закон против свободы прессы мог бы и пройти, если бы он затрагивал только права интеллигенции. Какое дело было до прав интеллигенции буржуазии, имевшей в то время безграничную власть? Но дело все было в том, что закон против свободы прессы затрагивал материальные интересы, а это было жизненно важным вопросом для всех подписчиков издания Вольтер-Туке, которые читали *Философский словарь*, нюхая табак из табакерки а la Хартия.

И всем этим беднягам-министрам, этим слепцам с годовым жалованьем в сотню тысяч франков, открыло глаза то, что все меры по ограничению свободы прессы и наносящие ущерб интересам промышленности, были вопреки всем ожиданиям единодушно отвергнуты комиссией палаты пэров.

И тогда все они стали опасаться, что законопроект будет забракован.

Самое неприятное, что могло произойти, это – представление на рассмотрение палаты проекта закона с такими поправками, которые полностью сводили на нет действие закона.

Правительству предстояло выбирать между отступлением, поражением и, возможно, крушением. Состоялось срочное заседание кабинета министров, на котором каждый член кабинета высказал свои опасения, и было решено отложить обсуждение до следующей сессии.

А пока господин де Вилель взялся путем хорошо известных ему комбинаций обеспечить совету министров послушное большинство в верхней палате Национального собрания, такое же послушное, каким правительство располагало в палате депутатов.

Но потом, в связи с этими маневрами, произошел инцидент, окончательно похоронивший законопроект.

12 апреля – это был один из тех дней, через которые мы смело перескочили в нашем повествовании – была годовщина первого возвращения (в 1814 году) Карла X в Париж. В этот день в Тюильри охрану несла национальная гвардия, заменившая все остальные придворные части.

Это было привилегией, которой король вознаграждал национальную гвардию за ее преданность в те дни, когда она на протяжении нескольких недель составляла его единственную охрану. Это было также знаком доверия короля населению Парижа.

Но в тот год этот самый день 12 апреля, а избежать этого было никак нельзя, выпал на Святой четверг.

А в Святой четверг король Карл X, верный своим христианским чувствам, не мог занимать свой ум никакими политическими делами. И посему перенес день почетной службы национальной гвардии со Святого четверга 12 апреля на Пасхальный понедельник 16 апреля.

Соответственно утром 16 апреля в момент заступления на службу национальной гвардии, когда в Часовом павильоне пробило девять часов, король Карл X спустился со ступенек дворца Тюильри одетый в форму генерала национальной гвардии. Его сопровождали дофин и большое количество штабных офицеров.

Он проследовал на площадь Каррусель, где были построены подразделения, выделенные от всех легионов национальной гвардии, в том числе и от кавалерийского легиона.

Встав перед развернутым строем подразделений, он, по своему обыкновению, горячо и сердечно приветствовал национальных гвардейцев.

Несмотря на то, что Карл X, мало-помалу терявший со временем популярность – и вовсе не из-за личных своих качеств, а из-за ошибок правительства, проводящего антинародную политику, – уже привык за прошедший год встречать во время своих выездов довольно холодный прием со стороны населения, он был еще в состоянии с помощью щедро расточаемых толпе улыбок и приветственных жестов вызвать довольно воодушевленные приветствия.

Но в тот день его ждал холодный прием. Ни малейшего воодушевления, никаких приветствий. Только редкие и робкие выкрики «Да здравствует король!», которые были к тому же едва слышны и гасли на ветру.

Он принял парад, покинул площадь Каррусель с сердцем, наполненным грустью и горечью, обвиняя в этом холодном приеме со стороны толпы не свою систему правления, а клевету, печатаемую в газетах, и происки либеральной партии.

Во время парада он несколько раз оборачивался к сыну, как бы спрашивая его мнение. Но дофин имел счастье быть рассеянным и находиться мыслями далеко от того, что происходило вокруг. Дофин машинально следовал за отцом, и, вернувшись во дворец, он помнил только то, что совершил небольшую прогулку верхом. Дофин сознавал, что он только что принимал парад войск, но если бы его спросили, он не смог бы ответить, какие именно подразделения промаршировали перед ним.

А посему старый король, чувствовавший полную свою изоляцию в своем божественном величии, обращался вовсе не к дофину, а к шестидесятилетнему человеку в мундире маршала Франции с двумя лентами орденов Святого Людовика и Святого Духа.

Этот человек был своего рода славой Франции. Он был солдатом в полку Медока, командиром батальона волонтеров из Меза, полковником Пикардийского полка. Он был завоевателем Трева, героем битвы у Мангеймского моста, командиром всех гренадеров «Великой армии», победителем битвы при Остроленке, участником сражений под Ваграмом, на Березине, под Буатценом – генерал-майором королевской гвардии, главнокомандующим парижской гвардии. Этот человек получал ранения во всех битвах, в которых принимал участие: на его теле было двадцать семь шрамов, на пять больше, чем у Цезаря. И он выжил после всех этих двадцати семи ранений. Это был маршал Удино, герцог де Реджио.

Карл X, взяв старого солдата под руку, отвел его в сторонку от толпы придворных, ожидавших возвращения короля.

– Послушайте, маршал, – сказал он ему, – можете ли вы поговорить со мной откровенно?

Маршал взглянул на короля с удивлением. Он тоже обратил внимание на молчаливость и холодность национальной гвардии.

– Откровенно, сир? – переспросил он.

– Да. Я хочу знать правду.

Маршал улыбнулся.

– Вас удивляет то, что король хочет знать правду? Значит, нас часто обманывают, дорогой маршал?

– Но, сир, каждый старается сделать, как ему лучше.

– А вы?

– Я, сир, никогда никого не обманываю!

– Значит, вы всегда говорите правду?

– Я жду, когда меня попросят ее сказать.

– Ну и?..

– Пусть Ваше Величество спросит, и я отвечу.

– Хорошо, маршал. Так что вы скажете о параде?

– Прием был холодным.

– Было слышно только несколько криков «Да здравствует король!». Вы обратили на это внимание, маршал?

– Обратил, сир.

– Это значит, что я лишился доверия и любви моего народа?

Старый вояка промолчал.

– Вы слышите меня, маршал? – снова спросил Карл X.

– Так точно, сир, слышу.

– Так вот, я спрашиваю вас, слышите, маршал, *как по-вашему*, неужели я лишился доверия и любви своего народа?

– Государь!

– Вы обещали сказать мне правду, маршал!

– Не вы, сир, а ваши министры... К несчастью, народ не понимает тонкостей конституционной монархии и мешаает в одну кучу и короля и министров.

– Но что же я сделал плохого? – вскричал король.

– Вы ничего плохого не сделали, сир, но вы позволили другим сделать это.

– Маршал, я клянусь вам, что полон самых добрых намерений.

– Пословица утверждает, сир, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад!

– Слушайте, маршал, скажите мне все, что вы думаете об этом.

– Государь, – заговорил маршал, – я был бы недостоин милостей короля, если бы... я... не подчинялся отданным мне приказам.

– И что же дальше?

– Что дальше? А вот что, сир: я считаю, что вы добрый и справедливый князь. Но Ваше Величество окружают советники, которые или слепцы, или невежды: они или ничего не видят, или неправильно истолковывают то, что видят.

– Продолжайте, продолжайте.

– Выражая общественное мнение, сир, я подтверждаю, что у вас сердце истинного француза и что слушать нужно только ваше сердце.

– Значит, все мною недовольны?

Маршал поклонился.

– Так в чем же причина этого недовольства?

– Сир, закон о прессе глубоко и больно оскорбляет население.

– Так вы полагаете, что именно этому я обязан сегодняшнему холодному приему?

– Я уверен в этом, сир.

– И что бы вы мне посоветовали, маршал?

– Насчет чего, сир?

– Насчет того, что мне нужно предпринять.

– Сир, я не могу давать советы королю.

– Но коль скоро я сам вас об этом прошу.

– Сир, ваша величайшая мудрость...

– Как бы вы поступили на моем месте, маршал?

– Я говорю это только по приказу короля.

– Даже больше того, герцог, – произнес Карл X со свойственным ему при некоторых обстоятельствах величием, – по моей просьбе.

– Так вот, государь, – снова заговорил маршал, – отзовите законопроект. Потом проведите смотр всей национальной гвардии, и вы увидите по единодушному восторгу и приветствиям, в чем была настоящая причина сегодняшней молчаливости.

– Маршал, законопроект будет завтра же отозван из Национального собрания. Назначьте сами дату смотра национальной гвардии.

– Сир, не соблаговолит ли Ваше Величество назначить его на последнее воскресенье месяца, то есть на 29 апреля?

– Распорядитесь об этом сами: вы ведь главнокомандующий национальной гвардией.

Вечером того же дня в Тюильри был собран кабинет министров и, несмотря на упорное сопротивление некоторых министров, король потребовал немедленно отозвать *закон любви*.

Министры, несмотря на то, что введение в действие этого закона сулило им большие выгоды, были вынуждены подчиниться воле монарха. К тому же отзыв законопроекта был всего лишь данью благоразумию, мерой предосторожности. Это избавляло правительство от очевидного и неизбежного поражения в борьбе с палатой пэров.

На следующий день после первого смотра, то есть после холодного приема, оказанного королю национальной гвардией, столь озадачившего короля и заставившего его выяснить причины у маршала Удино, давшего монарху дельный совет, господин де Пейронне, взяв слово при открытии заседания палаты пэров, огласил с трибуны ордонанс короля об отзыве законопроекта. Это вызвало вопли радости во всех уголках Франции и было поддержано всеми газетами, как роялистского, так и либерального направления.

Вечером в Париже состоялась праздничная иллюминация.

По улицам и площадям столицы прошли многочисленные колонны типографских рабочих, скандировавшие: «Да здравствует король!», «Да здравствует палата пэров!», «Да здравствует свобода прессы!»

Эти шествия, эта полная поддержка со стороны зевак, запрудивших бульвары, набережные, улицы и переулки, ведущие к дворцу Тюильри, словно приток крови к сердцу, крики толпы, взрывы петард, бросаемых изо всех окон, расцвеченное многочисленными звездами ракет небо, фонари и огни, украсившие фасады всех зданий, кроме правительственных учреждений, – весь этот шум, гомон людей придавали вечеру яркость всенародного праздника, прелесть радости, которая никогда не выражалась народом так бурно, когда проходили празднества, устроенные по распоряжению правительства.

Не меньшей была и радость народа в других городах королевства. Создавалось такое впечатление, что не только Франция одержала одну из привычных для нее побед, но и что каждый француз праздновал свою личную победу.

Радость народа находила свое выражение не только в самых различных формах, она была индивидуальна: каждый старался выразить ее на свой манер.

Тут были и многочисленные хоры, расположившиеся на площадях или двигавшиеся по улицам, распевая национальный гимн. И всевозможный фейерверк, где каждый старался выразить себя, как мог. И танцы, длившиеся всю ночь. Были и факельные шествия, участники которых, как в древние времена, ехали верхом или шли пешком. Были возведены триумфальные арки и колонны с мемориальными надписями, горящая иллюминация. Та, что была организована в Лионе, представляла собой поистине восхитительное зрелище: берега обеих рек, главные площади города, многочисленные террасы многих пригородов были соединены, если можно так выразиться, светящимися лентами, свет которых отражался в водах Роны и Соны.

Такой гордости не внушала даже победа при Маренго, подобной радости не вызвало известие о победе под Аустерлицем.

Потому что обе победы были всего лишь военным триумфом, а отмена *закона любви* была одновременно и триумфом, и мщением. Это было принятое перед всей Францией обязательство избавить страну от правительства, которое на каждом своем заседании словно задавалось целью лишить народ каких-нибудь дарованных ему свобод и гарантий, записанных в основном законе.

Эта яркая демонстрация общественного мнения, это проявление народной воли, эта неожиданная радость, охватившая всю страну при получении известия об отзыве законопроекта, так удивила кабинет министров, что члены правительства вечером того же дня под шум и гвалт толп народа в полном составе прибыли к королю.

И попросили их принять.

Бросились искать короля. Из дворца он не выходил, но его не было ни в большой гостиной, ни в рабочем кабинете, ни в покоях дофина, ни у герцогини Беррийской.

Где же он был?

Лакей сообщил, что видел, как Его Величество в сопровождении маршала Удино направлялся в сторону лестницы, ведущей на террасу Часового павильона.

Министры поднялись по лестнице.

И увидели на фоне луны и бегущих по небу серебристых облаков двух человек, стоявших над морем криков и океаном огней.

Это были Карл X и маршал Удино.

Им сообщили, что прибыли члены кабинета министров.

Король посмотрел на маршала.

– Зачем они пришли? – спросил он.

– Требовать, чтобы вы, Ваше Величество, предприняли какие-нибудь меры для того, чтобы подавить всеобщую радость народа.

– Пусть эти господа поднимутся сюда, – сказал король.

Удивленные министры проследовали за адъютантом, которому лакей передал приказ короля.

Через пять минут все члены правительства стояли на платформе Часового павильона. Ночной ветерок играл белым знаменем. Знаменем побед при Тайлебурге, Бувине и Фонтенуа. Можно было подумать, что знамя было довольно тем, что слышит непривычные приветствия народа.

Господин де Вилель сделал шаг вперед.

– Государь, – произнес он, – взволнованные опасностью, которой подвергается Ваше Величество, я и мои коллеги...

Король прервал его речь.

– Мсье, – промолвил он, – я полагаю, что речь вашу вы подготовили еще до того, как покинули министерство финансов?

– Сир...

– Я не отказываюсь выслушать ее, мсье. Но я хочу, чтобы вы сначала с этой платформы, откуда виден весь Париж, посмотрели и послушали, что происходит в столице.

И король указал жестом руки на океан огней.

– В таком случае, – осмелев, спросил господин де Пейронне, – Ваше Величество требует нашей отставки?

– Э, да кто же говорит об отставке, мсье? Я ничего от вас не требую. Я говорю только, что вам неплохо увидеть и услышать все это.

Наступило молчание, но не на улицах города – они, напротив, с каждой минутой становились все более оживленными и шумными, – а на террасе дворца среди знаменитых людей, наблюдавших то, что происходило в городе.

Маршал отошел в сторонку с победной улыбкой на губах. Король, продолжая держать руку вытянутой, обвел ею все стороны света. Благодаря своему большому росту, распрямившись, словно скинув груз лет, как он делал это в торжественные минуты, король был выше всех министров. В этот момент он в мыслях своих, как и в росте, был на голову выше их всех!

– Теперь вы можете говорить, мсье де Вилель, – снова начал король. – Так что вы хотели мне сказать?

– Ничего, сир, – ответил председатель совета министров. – Нам остается только выразить Вашему Величеству наше глубочайшее почтение.

Карл X кивнул. Министры удалились.

– Да, маршал, полагаю, вы были правы, – сказал король.

После чего он вернулся в свои апартаменты.

На следующем заседании совета министров король выразил желание устроить 29 апреля смотр национальной гвардии.

Это желание Его Величество выразил 25 апреля.

Министры поначалу попытались было отговорить короля. Но желание короля было слишком твердым для того, чтобы его смогли переубедить доводы, продиктованные личными интересами. И тогда министры переключились на одну деталь: как изолировать национальных гвардейцев от мятежников и провокаторов, которые обязательно станут виться вокруг них.

На следующий день в приказе было объявлено о том, что «король, как и было сказано на параде 16 апреля, решив доказать свое доброе расположение и свое удовлетворение национальной гвардией, был намерен произвести смотр национальной гвардии 29 апреля на Марсовом поле».

Это была радостная для всех новость.

А накануне вечером, то есть 25 апреля, один типографский рабочий, член тайного общества, принес Сальватору отпечаток приказа, который хотели опубликовать утром.

Сальватор числился писарем в 11-м легионе национальной гвардии. Мы понимаем, почему он согласился принять эту должность и даже просил, чтобы его на нее назначили: то был один из многочисленных способов связи актива организации карбонариев с народом.

Этот смотр предоставлял хороший случай узнать настроения населения, и Сальватор решил его не упускать.

Более пятисот рабочих, чьи пламенные убеждения были ему прекрасно известны, продолжали отказываться числиться в национальной гвардии, мотивируя свой отказ тем, что не имеют средств на приобретение мундиров. Четыре посланца Сальватора посетили дома этих рабочих, каждый из которых получил в результате этого визита по сто франков в обмен на обещание справиться полную форму и в воскресенье 29 апреля быть в рядах гвардии. Им были указаны адреса портных, являвшихся членами тайной организации и пообещавших к нужному сроку пошить все, что было нужно, за восемьдесят пять франков. Таким образом, каждому рабочему оставалось еще по пятнадцать франков на личные нужды.

Такая операция была проведена в двенадцати округах.

Мэры этих округов, придерживаясь почти все либеральных взглядов, были обрадованы таким поступком и без труда вручили вновь набранным гвардейцам ружья.

Таким образом пять или шесть тысяч человек, которое за восемь дней до того не состояли в национальной гвардии, были одеты и вооружены. Все эти люди обязались подчиняться не приказам своих полковников, а действовать по сигналу известного только им командира-карбонария. Однако, поскольку вожди организации считали, что еще не пришел час начала восстания, до всех был доведен приказ Верховной венты во время парада не проявлять никакой агрессивности и не начинать никаких действий без сигнала.

Со своей стороны полиция тоже не дремала, все слушала и за всеми приглядывала. Но что полиция могла поделать против людей, которые торопились выполнить приказы своего короля?

Господин Жакаль ввел в состав каждого легиона национальной гвардии по десятку своих агентов. Но поскольку эта идея пришла ему в голову только тогда, когда он узнал о готовящихся действиях, случилось так, что вследствие того, что все парижские портные были завалены работой, большинство людей господина Жакаля к воскресенью были хорошо вооружены, но одеться в форму национальной гвардии они могли только в понедельник.

А это было уже слишком поздно!

Глава XIX

Парад, воскресенье 29 апреля

С момента опубликования приказа о проведении парада 29 апреля и до дня проведения этого парада в Париже чувствовались какая-то нервозность и глухой гул, которые являются предвестниками политических бурь. Никто не мог сказать, ни что именно предвещала эта лихорадка, ни даже того, что она вообще что-то предвещала. Но, даже и сами не понимая того, чем они были охвачены, люди, встречаясь, пожимали друг другу руки и говорили:

- Вы там будете?
- В воскресенье?
- Да.
- Надеюсь!
- Смотрите, придите обязательно!
- Постараюсь!

И люди снова жали друг другу руки. Масоны и члены вент обменялись условными знаками, а остальные просто рукопожатиями. После чего расходились, бормоча себе под нос:

- Не прийти? Надо же такое придумать!

С 26 по 29 апреля все газеты только и говорили об этом параде, призывая граждан прийти и рекомендуя им соблюдать осторожность. Мы знаем, что хотя бы сказать эти рекомендации, вышедшие из-под пера противников правительства; они предупреждают: «Будьте готовы к любым событиям, поскольку всякое может случиться, и воспользуйтесь этим!»

Эти три дня не прошли незаметно для молодых героев нашего повествования. Это наше преимущество или же недостаток? – поколение еще имело в то время веру, которая была потеряна, но не им – эта вера осталась молодой сердцем, – а следующим поколением, людьми, которым сегодня от тридцати до тридцати пяти лет. Эта вера была словно корабль, потерпевший крушение в революциях 1830 и 1848 годов, которые еще были скрыты в будущем, словно дитя, что живет и шевелится в чреве матери.

Каждый из троих наших приятелей чувствовал поэтому влияние этих трех дней, одни активно, другие пассивно.

Сальватор, один из лидеров движения карбонариев, тогдашней религии, души тайных обществ, которые были организованы не только в Париже, не только в департаментах, но и за границей, как мы уже видели, активно способствовал усилению рядов национальной гвардии, влив в нее пять или шесть тысяч патриотов, которые до того времени и не помышляли становиться под ее знамена. Эти патриоты были обмундированы и, что главное, вооружены ружьями. Достать патроны было делом простым. Таким образом, в назначенный час и в удобный момент они все могли явиться куда надо в форме и с оружием в руках.

Жюстен, простой стрелок в роте 11-го легиона, до самого последнего времени пренебрегал теми приятельскими отношениями, которые завязываются между людьми после ночи, проведенной в караульном помещении или после двух часов, проведенных вместе на посту. Но с того момента, когда он увидел в движении карбонариев средство, позволявшее свергнуть этот режим, при котором любой дворянин, пользуясь поддержкой священнослужителя, мог безнаказанно вносить смуту в семьи, он принялся проводить пропаганду взглядов карбонариев столь же горячо, как до этого был равнодушен к ним. А поскольку его в квартале все любили, уважали и даже боготворили за его всем известные добродетели, то люди внимали ему словно оракулу. Хотя, по правде сказать, люди очень хотели, чтобы их в чем-то убедили, а зачастую были давно готовы принять эти убеждения.

Что же касается Людовика, Петрюса и Жана Робера, то их уместно сравнить с небольшими подразделениями, имевшими каждый свое направление атаки. Людовик воодушевлял

и руководил молодыми однокашниками, студентами юридического и медицинского факультетов, которые он совсем недавно закончил. Петрюс объединял вокруг себя всех молодых художников, которые в то время были полны творческого огня и веры в национальные интересы. Жан Робер был центром всех, кто взялся за перо и был готов последовать за достигшим в литературе успеха вождем туда, куда он их поведет.

Жан Робер был приписан к кавалерии национальной гвардии, а Петрюс и Людовик были лейтенантами пеших национальных гвардейцев.

Каждый из них, как бы ни был он занят своим искусством, наукой или любовью, – ведь в те времена молодые сердца были распахнуты навстречу всем возвышенным чувствам, – ждал наступления 29 апреля, испытывая ту же дрожь нетерпения, которая, как мы уже сказали, охватила все общество, сам не понимая причины этого волнения.

Вечером 28 апреля Сальватор собрал у Жюстена совещание. На нем Сальватор серьезным голосом и простыми словами объяснил четверым друзьям, что происходит.

Он считал, что на следующий день должна была состояться просто демонстрация силы, а не начало восстания. А посему попросил всех сохранять хладнокровие и не предпринимать ничего, пока он не решит, что для этого наступил подходящий момент.

Наконец настал столь ожидаемый всеми день. Это было, если судить по виду парижских улиц, не просто воскресенье, это был день праздника.

Начиная с девяти часов утра по Парижу с оркестрами впереди стали маршировать легионы различных округов столицы под восторженные приветствия жителей кварталов, через которые они проходили. Люди стояли на тротуарах, по обеим сторонам бульваров, высывались из окон и с балконов.

В одиннадцать часов двадцать тысяч национальных гвардейцев были выставлены парадным фронтом перед зданием Военного училища. Они стояли на наполненной воспоминаниями земле Марсового поля, которое было разбито их отцами в тот великий день объединения, когда Франция стала их отчиной, а все французы были провозглашены братьями. Марсово поле! Только этот монумент остался от Великой Революции, поставившей себе целью не созидание, а разрушение. Так что же она разрушила, что сокрушила? Старинный род Бурбонов, один из представителей которого в ослеплении этой заразной болезнью всех королей осмелился топтать эту землю, которая гораздо горячее изливающейся из Везувия лавы, гораздо подвижней, чем пески Сахары!

Вот уже несколько лет национальная гвардия в парадах участия не принимала. У этих граждан-солдат какой-то своеобразный склад ума: когда их заставляют нести службу, они ворчат, а когда их отпускают, они возмущаются.

Поэтому уставшая от бездеятельности национальная гвардия живо откликнулась на призыв собраться на смотр. Усиленная шестью тысячами одетых с иголки новобранцев, она представляла собой великолепное и внушительное зрелище.

Пока легионы выстраивались для смотра фронтом ко дворцу Шайо, то есть в ту сторону, откуда должен был появиться король, триста тысяч зрителей заняли места на склонах холмов, окружавших площадку для проведения тренировок войск. Каждый из этих трехсот тысяч зрителей вознамерился, казалось, или одобрительным взглядом, или многочисленными криками «Браво!», или постоянно повторяющимися выкриками «Виват!» поблагодарить национальную гвардию за то, что она так достойно представляет столицу и своим присутствием высказать уважение королю, прислушавшемуся к мнению народа и отменившему всем ненавистный законопроект. Ибо, и это следует признать, в этот момент на Марсовом поле, в Париже и во всей Франции во всех сердцах, за исключением сердец заговорщиков, которым от отцов к детям перешли великие революционные традиции, зарождавшиеся Шведенборгом и Калиостро, жила только благодарность и симпатия к Карлу X. И надо было иметь очень проницательный взор, чтобы разглядеть 29 апреля то, что случится через три года, а именно 29 июля.

Кто мог бы предсказать это всеобщее возмущение народа, которое за несколько лет, месяцев, а часто и дней свергает того, кто вознесен, и возносит того, кто был свергнут?

Апрельское, еще желтое солнце с как бы умытым росой ликом глядело с любовью ново-брачной на землю, словно поэтическая и влюбленная Джульетта, вставшая из могилы и скидывающая свой саван. Это апрельское солнце, светя из-за купола Дворца Инвалидов, всеми силами способствовало смотрю.

В час дня залпы пушек и отдаленные крики возвестили о приближении короля. Он ехал верхом в сопровождении дофина, герцога Орлеанского, юного герцога Шартрского и целой толпы генералов. Позади следовали в открытой коляске герцогиня Ангулемская, герцогиня Беррийская и герцогиня Орлеанская.

Вид этого ослепительного кортежа заставил вздрогнуть сердца всех многочисленных зрителей.

Что же это за чувство такое, которое в определенные моменты опаляет своим огнем наши сердца, пробегает дрожью по нашему телу с головы до ног и, хорошее или плохое, толкает нас на крайности?

Парад начался. Карл X проехал перед первыми шеренгами под крики «Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!», но еще больше было криков «Да здравствует король!».

По всем легионам был распространен призыв, где рекомендовалось избегать всяких действий, которые могут ранить болезненное самолюбие короля. Автор этих строк стоял в тот день в строю и посему сохранил листовку. Вот что в ней было написано:

**«ПРИЗЫВ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ГВАРДЕЙЦАМ
ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ И КАЖДОГО**

Ходят слухи о том, что легионы намерены кричать «*Да здравствует король! Долой министров! Долой иезуитов!*». Только недоброжелатели могут стремиться заставить национальную гвардию уронить свою честь».

Призыв был скорее осторожен по форме, чем изящен по содержанию. Но он такой, как есть, и мы приводим его здесь в качестве исторического документа.

Кстати, в течение нескольких минут могло показаться, что призыв будет неукоснительно соблюдаться: вдоль всего фронта строя, как мы уже отметили, раздавались только крики «Да здравствует король! Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!». Но по мере того, как король проезжал вдоль следующих шеренг, к крикам «Да здравствует король! Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!» стали присоединяться, словно присутствие монарха заставляло сердца открыться, крики «Долой иезуитов! Долой министров!».

Старый король, услышав эти крики, невольно остановил коня. Человек оказался таким же ретивым, как и животное.

Крики, так не понравившиеся ему, затихли. Доброжелательная улыбка, на мгновение слетевшая с лица монарха, вновь заиграла на его губах. Он продолжил объезд строя, но где-то между третьей и четвертой шеренгой вновь послышались мятежные крики. И это несмотря на то, что национальные гвардейцы, дрожа, старались сохранять спокойствие. Но они и сами не знали, как случилось, что призывы «Долой министров! Долой иезуитов!» сами начали срываться с их губ, хотя они и старались удержать свои чувства.

В рядах национальной гвардии было что-то постороннее, неизвестное, электризирующее: это было народное начало, которое под влиянием вождей карбонариев смешалось в тот день с буржуазным началом.

Эти крики снова задели самолюбие короля. Ему показалось, что этим ему стараются навязать политическую линию.

Он опять остановил коня и оказался напротив высокорослого национального гвардейца, обладавшего исполинской силой: именно такой типаж Бари избрал для того, чтобы изобразить человека-льва или львиный народ.

Это был хорошо нам известный Жан Торо.

Он размахивал ружьем, словно соломинкой, и, не умея читать, горланил:

– Да здравствует свобода печати!

Мощь этого голоса, сила, которая чувствовалась в этих движениях, поразили старого короля. Он направил коня поближе к этому человеку. Тот, в свою очередь, вышел на два шага из строя – есть такие люди, которых опасность увлекает, – и, продолжая размахивать ружьем, крикнул:

– Да здравствует Хартия! Долой иезуитов! Долой министров!

Карл X, как и все Бурбоны, даже Людовик XIV, иногда вел себя очень величественно.

Он знаком показал, что у него есть что ответить: все двадцать тысяч людей разом умолкли.

– Господа, – произнес король, – я прибыл сюда для того, чтобы принять от вас знаки уважения, а не получать уроки!

Затем, повернувшись к маршалу Удино, добавил:

– Отдавайте приказ на торжественное прохождение, маршал!

И, прищпорив коня, выехал из рядов национальной гвардии, чтобы занять место на фланге и чуть впереди этой густой и многоголосой массы.

Началось торжественное прохождение национальной гвардии по ротам.

Каждая рота, проходя перед королем, выкрикивала свои призывы. Большинство из них было «Да здравствует король!», поэтому лицо Карла X начало понемногу проясняться.

Когда все роты прошли, король сказал маршалу Удино:

– Все могло бы пройти и получше. В гвардии есть несколько смутьянов, но в основном все – молодцы. В общем и целом я доволен.

И пустил коня галопом в направлении Тюильри.

По возвращении во дворец маршал подошел к королю.

– Сир, – спросил он, – могу ли я в приказе по национальной гвардии выразить удовлетворение Вашего Величества?

– Не возражаю, – ответил король. – Но мне хотелось бы знать, в каких выражениях будет высказано это удовлетворение.

Тут мажордом объявил, что кушать подано. Его Величество предложил руку герцогине Орлеанской, герцог Орлеанский – герцогине Ангулемской, герцог Шартрский – герцогине Беррийской, и все направились в столовый зал.

А тем временем национальные гвардейцы расходились по домам. Но прежде чем вернуться в свои кварталы, они оживленно обсудили ответ Карла X Бартеlemi Лелонгу: «Я прибыл сюда для того, чтобы принять от вас знаки уважения, а не получать уроки».

И все решили, что слова эти были немного слишком аристократическими для того места, где они были произнесены: Карл X, говоря это, находился как раз на том самом месте, где за тридцать семь лет до этого стоял алтарь отечества, на котором Людовик XVI клялся в верности французской конституции. Хотя, по правде говоря, Карл X, бывший в то время графом д'Артуа, этой клятвы и не слышал, поскольку еще в 1789 году уехал за границу. А посему, едва король уехал с Марсового поля, как сдерживаемые до того момента крики раздались с новой силой. И вся эта громадная арена вздрогнула от всеобщих криков гнева и проклятий.

Но это было еще не все: каждый легион, направляясь в свой округ, уносил с собой частицу возбуждения, почерпнутую из общего котла страстей, и распространял это возбуждение по всему пути следования. Не получи эти крики отклика у населения, они вскоре стихли бы, как

угасает огонь, когда кончаются дрова. Но все было как раз наоборот: эти крики были подобны искрам, которые падали на готовые вспыхнуть дрова.

Крики были подхвачены толпой и отозвались многократно усиленным эхом. Мужчины, стоя на порогах своих домов, махали шляпами, женщины из окон приветственно помахивали платочками. Никто больше уже не кричал: «Да здравствует король! Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!» Теперь раздавалось: «Да здравствует национальная гвардия! Долой иезуитов! Долой министров!» От воодушевления люди переходили к протесту, а от протеста к неповиновению.

Но еще хуже было то, что легионам, возвращавшимся со смотра по улице Риволи и Вандомской площади, надо было пройти мимо министерства финансов и министерства юстиции. И там национальные гвардейцы уже не просто кричали, а вопили. Несмотря на то, что полковники отдали приказ продолжать движение, легионы остановились. Приклады ружей с грохотом опустились на мостовую и стекла зданий задрожали от криков: «Долой Вилеля! Долой Пейронне!»

Один или два полковника, повторив приказ продолжить движение и увидев, что подчиняться им никто и не собирается, с недовольными криками отправились восвояси. Но другие офицеры остались и, вместо того, чтобы успокаивать своих подчиненных, стали кричать как и все, а некоторые даже громче других.

Манифестация получилась очень грозной. Это не было народной массой, сборищем жителей парижских предместий, толпой рабочих, – это была войсковая единица, политическая сила. Это была буржуазия, протестовавшая со всем народом Франции и выражавшая свой протест криками, вырывающимися из двадцати тысяч глоток.

В это время министры ужинали у австрийского посла господина д'Аппони. Предупрежденные полицией, они поднялись из-за стола, вызвали свои кареты и отправились на совещание в министерство внутренних дел. Оттуда в полном составе кабинет министров прибыл в Тюильри.

Из окон своего кабинета король смог бы увидеть, что происходит на улицах и осознать всю опасность создавшейся ситуации. Но король ужинал в салоне Дианы, куда не долетало ни единого звука бурлящего Парижа.

А ведь и Луи-Филипп тоже в 1848 году принимал завтрак, когда ему доложили, что кордегардия на площади Людовика XV была захвачена восставшим народом!

Министры вошли в зал заседаний совета, где и стали ждать указаний короля, которому сообщили об их прибытии во дворец.

Карл X в ответ на это сообщение кивнул, но остался сидеть за столом.

Встревоженная герцогиня Ангулемская вопрошающе посмотрела в глаза дофину и отцу. Дофин ковырял зубочисткой в зубах, ничего не видя и ничего не слыша. Карл X ответил улыбкой, говорившей, что причин для беспокойства нет.

Итак, ужин продолжался.

К восьми часам вечера все поднялись из-за стола и перешли в жилые помещения.

Король, как учтивый кавалер, подвел герцогиню Орлеанскую к креслу, а затем отправился в зал заседаний совета.

По дороге ему встретилась герцогиня Ангулемская.

– Что происходит, сир? – спросила она.

– Полагаю, ничего серьезного, – ответил Карл X.

– Мне сказали, что в зале заседаний совета короля ожидают министры.

– Мне доложили во время ужина, что они находятся во дворце.

– Значит, в Париже что-то произошло?

– Я так не думаю.

– Прошу Ваше Величество простить меня за то, что я стала расспрашивать вас о том, что случилось.

– Попросите прислать ко мне дофина.

– Извините меня, Ваше Величество, за настойчивость, лучше я сама туда приду...

– Хорошо, приходите через некоторое время.

– Ваше Величество так снисходительны ко мне!

Герцогиня поклонилась, потом подошла к господину де Дамасу и отвела его к окну.

Герцог Шартрский и герцогиня Беррийская о чем-то болтали со всей беззаботностью молодых людей. Герцогу Шартрскому было шестнадцать лет, герцогине Беррийской – двадцать пять. Пятилетний герцог Бордосский играл у ног своей матери.

Герцог Орлеанский, прислонившись к камину и пытаясь принять равнодушный вид, прислушивался к малейшему шуму и время от времени вытирал платком лоб, выдавая тем самым с недавнее его волнение.

А тем временем король Карл X вошел в зал заседаний совета.

Министры были на ногах и находились в крайней степени возбуждения. Это волнение отражалось на их лицах в зависимости от темперамента: лицо господина де Вилеля было таким желтым, что можно было подумать, что у него разлилась желчь, лицо господина де Пейронне было таким красным, что можно было опасаться апоплексического удара. Лицо господина де Корбьера имело пепельный оттенок.

– Государь... – произнес господин де Вилель.

– Мсье, – прервал его король, указывая тем самым на то, что министр настолько забыл этикет, что осмелился заговорить первым, – вы не даете мне возможности справиться о вашем здоровье и о здоровье мадам де Вилель.

– Вы правы, сир, но это оттого, что интересы Вашего Величества для вашего преданного слуги превыше всего.

– Так значит, вы пришли сюда, чтобы поговорить со мной о моих интересах, мсье де Вилель?

– Несомненно, сир.

– Слушаю вас.

– Ваше Величество, знаете ли вы что происходит? – спросил председатель совета министров.

– А разве что-то происходит? – изумленно промолвил король.

– Вы помните, Ваше Величество, как однажды вы велели нам послушать крики радости населения Парижа?

– Да.

– Не позволите ли вы теперь пригласить вас послушать выкрики угроз со стороны этого же населения?

– И куда же я должен буду пойти?

– Идти никуда и не надо: достаточно открыть вот это окно. Позвольте, Ваше Величество?..

– Открывайте.

Господин де Вилель растворил окно.

Вместе с прохладным вечерним воздухом, поколебавшим пламя свечей, в комнату ворвался вихрь неясных выкриков. Это были одновременно крики радости и угрозы, тот самый гул, который стоит над взволнованными городами: понять их направленность невозможно, и они тем более пугают, когда становится понятно, что в них таится неизвестность.

Внезапно из этого гула, словно громы проклятий, вырвались отчетливые крики: «Долой Вилеля! Долой Пейронне! Долой иезуитов!»

– Ах, это! – с улыбкой произнес король. – Это я уже слышал. Вы разве не были сегодня утром на параде, господа?

– Я был там, сир, – ответил господин де Пейронне.

– Действительно, мне кажется, я вас видел верхом среди офицеров штаба.

Господин де Пейронне поклонился.

– Так вот, – снова заговорил король, – все это – продолжение Марсового поля.

– Это следует подавить со всей жестокостью и отвагой, сир! – воскликнул господин де Вилель.

– Что вы сказали, мсье?.. – холодно переспросил король.

– Я сказал, государь, – продолжал министр финансов, в котором проснулось чувство долга, – я сказал, что, по моему убеждению, оскорбления, высказанные в адрес кабинета министров, затрагивают и короля. Поэтому мы и пришли спросить мнение Вашего Величества относительно того, что сейчас происходит.

– Господа, – ответил король, – не стоит преувеличивать грозящую мне опасность, хотя опасность и не то слово, поскольку я полагаю, что не подвергаюсь никакой опасности со стороны моего народа. Я уверен в том, что стоит мне показаться народу, как все эти крики сменяются одним единственным: «Да здравствует король!»

– О, сир! – раздался за спиной Карла X женский голос. – Надеюсь, вы не будете сегодня столь неосторожны и не станете выходить к народу!

– А, это вы, госпожа дофина!

– Разве Ваше Величество не разрешили мне прийти сюда?

– Разрешил... Ну, господа, что же вы можете мне предложить по поводу того, что сейчас происходит? О чем вы только что говорили, господин министр финансов?

– Сир, известно ли вам, что среди многочисленных криков раздаются крики: «Долой священников?» – произнесла герцогиня Ангулемская.

– Правда?.. А вот я слышал, как кричали: «Долой иезуитов!»

– И что же, сир? – спросила герцогиня.

– А то, что это не одно и то же, милая девочка... Расспросите об этом поподробнее монсеньора архиепископа. – Мсье де Фрейсинус, скажите-ка нам честно: полагаете ли вы, что крики «Долой иезуитов!» относятся ко всему духовенству?

– Я вижу большую разницу, государь, – ответил архиепископ, бывший человеком мягким и правдивым.

– А вот я, – произнесла дофина, поджав тонкие губы, – не вижу никакой разницы.

– Итак, господа, – сказал король, – прошу вас сесть, и пусть каждый из вас выскажет мне свое мнение по данному вопросу.

Министры сели, и совещание началось.

Глава XX

Господин де Вальсиньи

В то же самое время, когда за покрытым зеленым бархатом столом, за которым столько раз решалась судьба Европы, началось это совещание, о подробностях и результатах которого мы узнаем, господин де Моранд, рядовой 2-го легиона национальной гвардии, вернувшись домой после того, как весь прошедший день господин де Моранд старался не упустить ни единого признака одобрения или неодобрения, по которым можно было судить об общественном мнении, переодевался с нетерпением, свидетельствующим о его малой любви к воинской службе и в спешке, связанной с тем, что ему предстояло давать большой бал, приготовлениями к которому он руководил лично, наши юные друзья, не видевшиеся с Сальватором со времени последнего инструктажа по поводу поведения во время парада, поспешили, подобно господину де Моранду, избавиться от мундиров и пришли к Жюстену, чтобы справиться относительно того, что им предстояло делать дальше в различных обстоятельствах, которые могли сложиться из развития событий.

Жюстен тоже ждал прибытия Сальватора.

Тот появился около девяти часов вечера. Он тоже уже успел снять мундир и переодеться в свой костюм комиссионера. По его покрытому потом лбу и учащенному дыханию было видно, что, возвратившись с парада, он уже многое успел сделать.

– Ну, что? – спросили в один голос все четверо молодых людей, едва он появился в комнате.

– А то, что сейчас идет заседание совета министров, – ответил Сальватор.

– По какому вопросу?

– По вопросу, какому наказанию следует подвергнуть эту милую национальную гвардию, которая не была послушной.

– И когда же станут известны решения этого заседания?

– Как только эти решения будут приняты.

– Значит, у вас есть люди в Тюильри?

– У меня есть люди везде.

– Черт возьми! – сказал Жан Робер. – К сожалению, я не могу ждать: я дал слово быть на балу.

– Я тоже, – произнес Петрюс.

– У мадам де Моранд? – спросил Сальватор.

– Да, – ответили удивленные юноши. – Но откуда вы об этом знаете?

– Я знаю все.

– Но ведь вы сообщите нам новости завтра утром, не так ли?

– Вы будете знать их сегодня ночью!

– Однако же мы с Петрюсом будем на балу у мадам де Моранд...

– Значит, вам их сообщат у мадам де Моранд.

– И кто же?

– Я.

– Как? Вы пойдете к мадам де Моранд?

Сальватор усмехнулся:

– Не к мадам де Моранд, а к *мсье* де Моранду.

И затем все с той же лукавой улыбкой, свойственной только ему одному, добавил:

– Он мой банкир.

– Ах, дьявольщина! – воскликнул Людовик. – Как я теперь жалею, что не принял твое приглашение, Жан Робер!

– Может быть, еще не поздно! – произнес тот.
Но, взглянув на часы, произнес огорченно:
– Сейчас половина десятого: опоздали!
– Вы тоже хотите пойти на бал к мадам де Моранд? – спросил Сальватор.
– Да, – ответил Людовик, – мне не хотелось бы расставаться с друзьями сегодняшней ночью... Ведь с минуты на минуту всякое может случиться...
– Вполне вероятно, что и не случится ничего, – сказал Сальватор. – Но из-за этого не стоит расставаться с друзьями.
– Придется, что поделать. Я же не имею пригласительного билета.
На лице Сальватора блуждала одна из свойственных только ему загадочных улыбок.
– А вы попросите нашего поэта представить вас, – сказал он.
– О! – живо возразил Жан Робер. – Я недостаточно хорошо знаком с хозяевами дома!
При этих словах на его щеках появился легкий румянец.
– Тогда, – снова заговорил Сальватор, обернувшись к Людовику, – попросите Жана Робера вписать ваше имя вот в эту карточку.
И он вынул из кармана карточку, на которой было напечатано:

«Господин и госпожа де Моранд имеют честь пригласить господина... на вечер, который они устраивают в своем особняке на улице Артуа в воскресенье 29 апреля. Будут танцы.

Париж, 20 апреля 1827 года».

Жан Робер посмотрел на Сальватора со смешанным чувством удивления и восхищения.
– Так что же? – спросил Сальватор. – Вы опасаетесь, что ваш почерк узнают?.. Подайте мне перо, Жюстен.

Жюстен протянул Сальватору перо и чернила. Тот вписал в пригласительный билет фамилию Людовика, стараясь, чтобы его изящный аристократический почерк выглядел обычным, а затем протянул карточку Людовику.

– Итак, дорогой Сальватор, – спросил Жан Робер, – вы сказали, что тоже пойдете в гости, но не к мадам де Моранд, а к мсье де Моранду?

– Именно это я и сказал.

– И как же мы сможем увидаться?

– Действительно, – снова произнес Сальватор все той же улыбкой на губах, – ведь вы же идете в гости к мадам!

– Я лично иду на бал к моему другу и не думаю, что там будут говорить о политике.

– Нет, конечно... Но часам к половине двенадцатого, когда наша бедная Кармелита закончит петь, начнется бал, а ровно в полночь в конце коридора, опоясывающего здание, будет открыт кабинет мсье де Моранда. Там соберутся только те, кто скажет пароль: *Хартия* и *Шартр*. Запомнить его нетрудно, не так ли?

– Да.

– Вот мы и договорились. Теперь, если вы хотите переодеться и быть к половине одиннадцатого в голубом будуаре, вы не должны терять ни минуты!

– Я могу подвезти кого-нибудь в своей карете, – сказал Петрюс – Захвати Людовика: вы же соседи, – ответил на это Жан Робер. – Я пойду пешком.

– Договорились!

– Значит, встречаемся в будуаре мадам в половине одиннадцатого для того, чтобы послушать Кармелиту, – сказал Петрюс. – А в полночь приходим в кабинет мсье, чтобы узнать, что же произошло в Тюильри.

И трое молодых людей, пожав на прощанье руку Сальватору и Жюстену, ушли, оставив карбонариев вдвоем.

В одиннадцать часов, как мы уже видели, Жан Робер, Петрюс и Людовик были у госпожи де Моранд и аплодировали Кармелите. В половине двенадцатого, в то время, как госпожа де Моранд и Регина хлопотали возле потерявшей сознание Кармелиты, они преподали Камилу тот урок, о котором мы уже вам рассказывали. Наконец в полночь, пока господин де Моранд, оставшись на некоторое время в зале, чтобы справиться о состоянии Кармелиты, галантно поцеловав руку жены, попросил ее, словно о милости, дать ему разрешение навестить ее в ее комнате после окончания бала, друзья вошли в кабинет банкира, произнеся условный пароль: *Хартия и Шартр*.

В кабинете уже собрались все ветераны заговоров в Гренобле, Бельфоре, Сомюре и Ларошели. Словом, все те люди, чьи головы остались на плечах только чудом: Лафайеты, Кехлены, Пажоли, Дермонкуры, Каррели, Генары, Араго, Кавеньяки, – каждый из которых представлял или ярко выраженное мнение, или оттенок мнения, но все люди в народе весьма уважаемые и любимые.

Присутствующие ели мороженое, пили пунш, разговаривали о театре, живописи, литературе... И ни слова не было произнесено о политике!

Трое приятелей вошли в кабинет одновременно и принялись искать глазами Сальватора. Его еще не было.

Тогда каждый юноша подошел к той присутствовавшей в комнате знаменитости, которая была ему симпатична: Жан Робер к Лафайету, который испытывал к нему дружбу, очень напоминавшую отцовскую заботу. Людовик приблизился к Франсуа Араго, человеку с умной головой, благородным сердцем и очень остроумному. Петрюс, естественно же, устремился к Орасу Берне, всем полотнам которого было отказано от выставок в Салоне и который устроил тогда выставку своих картин у себя в мастерской, куда устремился буквально весь Париж.

Кабинет господина де Моранда представлял собой характерные образчики всех слоев населения, которые были недовольны правящим режимом. И все недовольные, болтая, как мы уже сказали, об искусстве, о науке, о войне, поворачивали головы к двери всякий раз, когда в комнату кто-то входил. Казалось, они кого-то ждали.

И они действительно ждали неизвестного им пока посланца, который должен был принести новости из королевского дворца.

Наконец дверь открылась, и на пороге появился мужчина лет тридцати, одетый с большой элегантностью.

Петрюс, Людовик и Жан Робер едва удержались, чтобы не вскрикнуть от удивления: в комнату входил Сальватор.

Вновь прибывший окинул всех взглядом и, отыскав господина де Моранда, направился прямо к нему.

Хозяин дома протянул гостю руку.

– Вы припозднились, мсье де Вальсиньи, – произнес при этом банкир.

– Да, мсье, – ответил молодой человек. Голос и жесты его очень отличались от обычно свойственных ему голоса и жестов. Он вставил в правый глаз монокль, словно ему требовалась эта деталь для того, чтобы узнать Жана Робера, Людовика и Петрюса. – Вы правы, время уже позднее. Но прошу меня извинить, меня задержала тетушка, старая помещица, подруга герцогини Ангулемской. Она рассказала мне о том, что произошло во дворце.

Все присутствующие удвоили внимание. Сальватор обменялся приветствиями с некоторыми из обступивших его людей с той тонкой мерой дружелюбия, уважения или фамильярности, которые элегантный господин де Вальсиньи счел нужным проявить в отношении каждого.

– Новости из дворца! – повторил господин де Моранд. – Значит, там что-то произошло?

– Вот как? Вы не знали?.. Да, произошло. Там состоялось заседание совета министров.

– Ну, дорогой мсье де Вальсиньи, – со смехом сказал господин де Моранд, – в этом для нас нет ничего нового.

– Но новое может появиться. И оно появилось.

– Правда?

– Да.

Все подошли поближе.

– По предложению господ де Вилеля, де Корбьера, де Пейронне, де Дамаса, де Клермонт-Тоннера, а также по настоянию дофины, которую очень заделали крики «Долой иезуитов!», и несмотря на возражение господ де Фрейссину и де Шарболя, выступавших за полумеры, национальная гвардия распущена!

– Распущена!

– Полностью! И вот теперь я лишился такой прекрасной должности – я был каптенармусом – и должен искать работу!

– Распущена! – повторили все слушатели, как бы не смея поверить в эту новость.

– Но то, что вы сейчас нам сообщили, мсье, очень серьезная вещь! – произнес генерал Пажоль.

– Вы так считаете, генерал?

– Несомненно!.. Это же самый настоящий государственный переворот.

– Да?.. Значит, Его Величество Карл X совершил государственный переворот.

– Вы уверены в достоверности вашего сообщения? – спросил Лафайет.

– Ах, мсье маркиз... (Сальватор не принимал всерьез поступков господ де Лафайет и де Монморанси, которые ночью 4 августа 1789 года сожгли свои родовые гербы.) Ах, мсье маркиз, я никогда не говорю вслух того, что не соответствует истине.

Затем он добавил твердо:

– Я полагал, что имел честь быть вам достаточно хорошо известным для того, чтобы вы не изволили усомниться в моих словах.

Старик протянул молодому человеку руку.

Затем, продолжая улыбаться, произнес вполголоса:

– Да прекратите ли вы когда-нибудь называть меня *маркизом*?

– Прошу меня простить, – ответил на это с улыбкой Сальватор, – но вы для меня настолько маркиз...

– Ну, ладно! Вы человек остроумный, называете меня так, как вам нравится. Но прошу при других звать меня генералом.

И, возвращаясь к началу разговора:

– И когда же будет издан этот прекрасный ордонанс?

– Он уже издан.

– Как издан? – вмешался в разговор господин де Моранд. – У меня его еще нет!

– Вероятно, вы получите его с минуты на минуту. И не стоит сердиться на вашего осведомителя за то, что он опоздает: у меня есть средство видеть через стены, нечто вроде хромого дьявола, который приподнимает крыши домов. С его-то помощью я и наблюдаю за заседаниями государственного совета.

– И через стены Тюильри вы увидели, как составляется этот ордонанс? – снова спросил банкир.

– Больше того: я прочел через плечо того, кто держал перо. Там фраз мало... Скорее всего ордонанс состоит из одной только фразы: «Карл X, милостию Божей, и т. д., по докладу нашего государственного секретаря, министра внутренних дел и т. д., *национальная гвардия Парижа считается распущенной*». Вот и все.

– И что же дальше произошло с этим ордонансом?

– Один его экземпляр отправлен в «*Монитор*», а другой маршалу Удино.

– И завтра он будет напечатан в «*Монитере*»?

– Он уже напечатан. Но «*Монитор*» пока еще не распространяют.

Присутствующие переглянулись.

Сальватор продолжил:

– Завтра, или скорее уже сегодня – ведь уже полночь – в семь часов утра национальные гвардейцы будут сменены на постах королевской гвардией и линейными войсками.

– Да, – раздался чей-то голос. – До тех пор пока национальные гвардейцы не сменят на своих постах королевскую гвардию и линейные части.

– Такое может вполне случиться, – ответил Сальватор, блеснув очами. – Но произойдет это отнюдь не по приказу короля Карла X!

– Это просто затмение какое-то! – произнес Араго.

– Ах, мсье Араго, – сказал ему Сальватор. – Вот вы, астроном, который может с точностью до часа и до минуты предсказать небесные катастрофы, сможете ли вы предвидеть нечто подобное на небосводе королевства?

– Что вы хотите? – сказал прославленный ученый. – Я человек положительный и, следовательно, сомневающийся во всем.

– Это значит, что вам нужны доказательства? – спросил Сальватор. – Хорошо! Сейчас одно доказательство вы увидите сами.

И он извлек из кармана листок бумаги.

– Вот, – снова произнес он, – это оттиск ордонанса, который завтра утром будет опубликован в «*Монитере*». Текст немного расплылся: его специально для меня срочно вынули из-под пресса.

Затем с улыбкой добавил:

– Именно из-за него я и задержался: ждал, пока мне дадут этот оттиск.

И протянул оттиск Араго. Потом бумажка прошла через все руки. Видя, какое действие она произвела на присутствующих, Сальватор, как актер, берегущий силы, сказал:

– Но и это еще не все.

– Как? Есть еще новости? – спросили все чуть ли не хором.

– Министр королевского дворца герцог де Дудовиль подал в отставку.

– Я знал, – произнес Лафайет, – что после оскорбления, нанесенного полицией телу его родственника, он только и ждал удобного случая.

– Ордонанс о национальной гвардии предоставил ему очень подходящий случай, – сказал Сальватор.

– И отставку приняли?

– Очень быстро.

– Король?

– Король немного ломался. Но герцогиня Ангулемская заметила ему, что на это место очень подходит князь де Полиньяк.

– Какой такой князь де Полиньяк?

– Князь Анатоль-Жюль де Полиньяк, приговоренный в 1804 году к смертной казни и спасенный благодаря вмешательству императрицы Жозефины. Возведен в 1814 году в ранг римского князя, стал пэром в 1816 году. В 1823 году уехал послом в Лондон. Есть еще вопросы по поводу его личности?

– Но поскольку он посол в Лондоне...

– О, пусть это вас не беспокоит, генерал: его отзовут.

– А как воспринял это мсье де Вилель? – спросил господин де Моранд.

– Сначала был против, – сказал Сальватор, продолжая с удивительной настойчивостью сохранять свой легкомысленный вид. – Ведь мсье де Вилель хитрый лис, – так, во всяком случае, говорят, поскольку я имею честь знать его лишь понаслышке. Так вот, как хитрый лис, он должен все прекрасно понимать, хотя Бартелеми и Мери сказали про него:

Пять лет уж подряд безмятежный Вилель
Клад хранит на скале, неприступной досель —

он понимает, что нет такой скалы, как бы тверда она ни была, которую нельзя было бы взорвать. Свидетельство тому Ганнибал, который, преследуя Тита Ливия, сделал проход в хребтах Альп с помощью уксуса. Так вот и мсье де Вилель опасается, как бы мсье де Полиньяк не стал тем уксусом, который обратит его скалу в пыль!

– Как? – воскликнул генерал Пажоль. – Полиньяк войдет в правительство?

– Нам тогда останется надеть на лица вуаль! – добавил Дюпон (де д'Эр).

– Я полагаю, мсье, – сказал Сальватор, – что нам придется, напротив, показать наше истинное лицо.

Молодой человек произнес эти слова с серьезностью, которая так отличалась от его прежних легкомысленных слов, что глаза всех присутствующих немедленно устремились на него.

И только тогда трое приятелей узнали его: это был уже не господин де Вальсиньи, гость господина де Моранда, это был их Сальватор.

В это мгновение в кабинет вошел лакей и вручил хозяину какое-то письмо.

– Велено передать срочно! – сказал он.

– Я знаю, что это такое, – произнес банкир.

Живо взяв письмо, он сломал печать и прочел вслух написанные крупными буквами три строчки:

«Национальная гвардия распущена.

Отставка герцога де Дудевиля принята.

Полиньяк отозван из Лондона».

– Можно подумать, – воскликнул Сальватор, – что это я рассказал обо всем Его Королевскому Высочеству герцогу Орлеанскому!

Все вздрогнули.

– Но кто вам сказал, что это написал Его Королевское Высочество? – спросил господин де Моранд.

– Я узнал его почерк, – просто ответил Сальватор.

– Его почерк?

– Ну да... В этом нет ничего удивительного: у меня тот же нотариус, что и у него: мсье Баратто.

Появился слуга и объявил, что кушать подано.

Сальватор вынул из глаза монокль и посмотрел на свою шляпу с видом человека, который собрался уходить.

– Вы разве не останетесь на ужин, мсье де Вальсиньи? – живо спросил его господин де Моранд.

– Никак не могу, мсье, и весьма об этом сожалею.

– Но почему же?

– Моя ночь еще не закончилась. Мне надо побывать на суде присяжных.

– На суде присяжных? В такое-то время?!

– Да. Судьи торопятся расправиться с беднягой, чье имя вы, возможно, знаете.

– А, Сарранти... Это тот негодяй, который убил двух детей и украл сто тысяч экю у своего благодетеля, – сказал кто-то.

– И выдает себя за бонапартиста, – раздался другой голос. – Надеюсь, что его приговорят к смертной казни.

– Ну, в этом, мсье, можете быть совершенно уверены, – сказал Сальватор.

– Надеюсь, что его казнят!

– А вот это, мсье, вещь уже менее вероятная.

– Как! Вы считаете, что Его Величество помилует подобного злодея?

– Нет. Но ведь может случиться, что злодей невиновен. И тогда помилование придет не от короля, а от Бога.

Сальватор произнес последние слова тем тоном, благодаря которому трое приятелей время от времени узнавали его под напускной фривольной внешностью.

– Господа, – сказал господин де Моранд. – Вы слышали: ужин подан.

Пока гости, к которым были обращены слова господина де Моранда, направлялись в столовый зал, трое приятелей подступили к Сальватору.

– Слушайте, дорогой Сальватор, – обратился к нему Жан Робер, – не исключено, что завтра утром у нас возникнет необходимость вас увидеть.

– Возможно...

– Где же вы нас тогда сможете найти?

– На обычном моем месте, на улице Железа, у дверей моего кабаре, на углу моего квартала! Вы забываете, что я комиссионер, дорогой мой... Ох, уж эти поэты!

И он вышел в дверь, находившуюся напротив той, которая вела в столовый зал. Вышел уверенно, как человек, хорошо знакомый со всеми закоулками дома, оставив трех наших приятелей в состоянии удивления, которое граничило с оторопью.

Глава XXI

Гнездо голубки

Читатели наши, возможно, помнят о том, что господин де Моранд перед тем, как направиться в кабинет, где его ждали принесенные Сальватором новости из Тюильри, галантно попросил у жены разрешения навестить ее после окончания бала в ее спальне.

Было шесть часов утра. Начало светать. Стих стук колес последней кареты, покинувшей двор гостеприимного особняка. В его окнах погасли последние огни. Стали слышны первые шумы пробуждающегося города. Госпожа де Моранд четверть часа тому назад ушла к себе. Всего пять минут тому назад господин де Моранд сказал всего несколько слов человеку, чья военная выправка так и выпирала из-под партикулярного платья:

– Пусть Его королевское Высочество будет спокойно! Он знает, что может положиться на меня, как на самого себя...

Когда этот человек, поспешно отъехавший на паре резвых рысаков в карете без гербов и с кучером без ливреи, скрылся за углом улицы Ришелье, ворота особняка закрылись.

А теперь пусть читатель не думает о тех железных и дубовых запорах, которыми отгородились от нас обитатели этого великолепного дома, некоторые части которого мы уже ему описали. Нам стоит только взмахнуть нашей волшебной палочкой писателя, и все самые крепкие двери немедленно распахнутся перед нами. Давайте же воспользуемся нашим преимуществом и прикоснемся этой волшебной палочкой к двери будуара госпожи Лидии де Моранд: Сезам, откройся!

Вот видите: открывается дверь этого очаровательного голубого будуара, в котором мы слушали всего несколько часов тому назад арию Саулы в исполнении Кармелиты.

Вскоре мы распахнем перед вами другую и намного более ужасную дверь: дверь суда присяжных. А поэтому, прежде чем войти в этот ад преступления, давайте немного отдохнем, наберемся сил в рае любви, как называют спальню госпожи де Моранд.

Чтобы эта комната не примыкала непосредственно к будуару, перед ней было устроено нечто вроде вестибюля в виде огромного балдахина. Этот вестибюль, служивший одновременно ванной комнатой, освещался проделанным в потолке окошком, чьи стекла были выполнены в арабском стиле и не пропускали внутрь яркого света: там всегда царил полумрак. Стены вестибюля были обтянуты совершенно оригинальной тканью, цвет которой колебался между серо-жемчужным и желто-оранжевым. Ткань, казалось, была изготовлена из тех самых азиатских растений, из которых индийцы выделывают нить для последующего создания из нее той самой ткани, которая известна нам под названием *китайка* или *нанка*. Ковры в вестибюле были привезены из Китая. Они были нежны, как самая тонкая ткань, и великолепно подходили по цвету к обивочной ткани. Что касается мебели, то все предметы были покрыты китайским лаком и украшены золотой нитью. Мраморные столики белизной своей напоминали молоко, а стоявшие на них фарфоровые вещицы были расписаны той особой турецкой лазурью, которая на языке антикваров называется нежным старинным севрским фарфором.

Вступая в это уютное помещение, загадочно освещенное подвешенной к потолку лампой из богемского стекла, человек начинал думать, что он находится за сотню лье от земли и путешествует на одном из тех отливающих лазурью и золотом оранжевых облаках, которыми Марилат так щедро украшал пейзажи Востока.

Достигнув этого облака, человек мог уже запросто войти в рай. А комната, в которую мы ведем читателя, и была настоящим раем!

Едва открывалась дверь, или, чтобы быть точнее, поднималась портьера, ибо дверей не было – искусный мастер обоев сделал их невидимыми, – первое, что бросалось в глаза, была прекрасная Лидия, мечтательно возлежащая на кровати, занимавшей правую часть комнаты.

Опершись, а скорее погрузив локоток в подушку, утопающую в газе, она держала в руке небольшую книжицу стихов в сафьяновом переплете. Эту книгу она, возможно, очень хотела прочесть, но не могла, поскольку была явно во власти мыслей, которые отвлекали ее от чтения.

На маленьком столике работы Буля горела лампа из китайского фарфора, которая через красное богемское стекло придавала простыням кровати розоватый оттенок, похожий на тот, который отбрасывает восходящее солнце на девственные снега Юнгфрау или Монблана.

Именно это и бросается сразу же в глаза. Мы, возможно, попытались бы сейчас же изложить с максимально возможным целомудрием впечатление, производимое на нас этой восхитительной картиной, если бы не полагали себя обязанными вначале описать остальную часть комнаты.

Сначала Олимп, а потом живущая на нем богиня.

Представьте себе комнату – а скорее гнездо голубки, – которая достаточно широка для того, чтобы в ней вольготно спалось, и достаточно высока, чтобы в ней легко дышалось. Она вся затянута от потолка до стен алым бархатом, который переливается цветом граната, карбункула и рубина в тех местах, куда попадает свет.

Кровать занимает почти всю длину комнаты, а по краям ее стоит по этажерке из красного дерева, на них множество самых прелестных безделушек из саксонского, севрского и китайского фарфора, которые только можно приобрести у Монбро или у Гансберга.

Напротив кровати расположен камин. Он, как и вся комната, обит бархатом. Перед ним находятся две козетки, которые, как может показаться, усыпаны перьями с шейки колибри. Над каждой козеткой расположено зеркало, рамка которого образована позолоченными листьями и початками кукурузы.

Давайте присядем на одну из этих козеток и посмотрим на кровать.

Она вся обита алым бархатом и не имеет ни единого украшения. И все же она кажется богато убранной из-за своего обрамления. Это обрамление – шедевр простоты, и при виде кровати возникает вопрос: был ли обойщик поэтом или поэт превратился в обойщика для того, чтобы добиться подобного результата? Обрамление состоит из больших кусков восточной ткани, которые арабские женщины называют *hafts*; эти *hafts* были из шелка вперемежку белого и синего цвета. Их бахрома очень органично вписывалась в бахрому ткани.

По обеим сторонам кровати два широких куска этой ткани падали вертикально вниз и закреплялись вдоль стены с помощью алжирского шнура, сплетенного из шелковых и золотых нитей, и вделанных в стену турецких колец.

В глубине кровати на стене было установлено огромное обитое все тем же бархатом зеркало. От верхней части зеркала отходила, плавно поднимаясь, забранная мелкими складками ткань, которая шла к огромной золотой стреле, на которой крепились два пышных волана.

Но самым замечательным в этой комнате было то, что отражалось в зеркале этой кровати и было устроено с явной целью стереть границы комнаты.

Мы уже отметили, что напротив кровати был камин. Так вот над камином, полка которого была уставлена тысячами прелестных безделушек, составлявших *мирок* женщины, располагалась оранжерея, отделенная от комнаты только зеркалом, но без амальгамы. Его можно было задвинуть в стену, и тогда комната женщины свободно сообщалась с цветником. Посреди этой небольшой оранжереи над фонтанчиком, в котором резвились разноцветные китайские рыбки и утоляли жажду сине-красные птицы размером с большую пчелку, стояла мраморная статуя Прадье в половину натуральной величины.

Естественно, эта маленькая оранжерея была ничуть не больше комнаты. Но благодаря чудесной планировке она казалась великолепной и огромной, как сад Вест-Индии или Антильских островов: настолько тропические растения были плотно посажены и так переплетались друг с другом, что всем, кто видел это чудо, казалось, что он находится в тропическом лесу, выставившем напоказ всю свою экзотическую флору.

Это был целый континент на десяти квадратных футах, карманная Азия.

Дерево, которое называют королем растений, дерево, которое может приносить добро и зло, дерево, рожденное в земном раю, чье происхождение бесспорно, поскольку его листья служили для прикрытия наготы наших первых предков, и которое по этой причине получило название адамовой смоковницы, было представлено в этом саду пятью основными своими разновидностями: райское банановое дерево, королевское банановое дерево, китайское банановое дерево, розовое спартийское банановое дерево и красное спартийское банановое дерево. Рядом с последним произрастала геликония, приближающаяся к соседу длиной и шириной своих листьев. Мадагаскарская равелиния представляла в миниатюре знаменитое дерево путешественников, в котором страдающий от жажды чернокожий мог найти свежую воду, чего не давал ему пересохший ручей. Там росли королевская стрелиция, чьи цветы напоминают голову ядовитой змеи, и огненный султан, цветущий тростник из Восточной Индии, из которого в Дели выделяют ткань столь же нежную, как самый тонкий шелк. Произрастал там и костюс, который наши предки использовали на всех религиозных церемониях из-за его аромата, и пахучий ангрек с острова Реюньон, и китайское имбирное дерево, единственное растение, дающее имбирь. Словом, в этом саду были представлены все растительные богатства земли.

Маленький бассейн и цоколь статуи скрывались в папоротнике, листья которого были пострижены на манер ухвата, и в плауне: эти растения могли с успехом противостоять мху самых тонких сортов, привезенных из Смирны и Константинополя.

Сейчас в отсутствие солнца, которое только через несколько часов воцарится на небе, полюбуйте через все эти ветви, листья и фрукты, как спускающийся с потолка светящийся шар, чьи лучи отражаются в слегка подкрашенной синим воде бассейна, придает этому маленькому девственному лесу этакую меланхоличную чистоту, напоминая нежный посеребрённый свет луны.

Эта кровать, эта оранжерея представляют собой восхитительное зрелище.

Итак, как мы уже сказали, особа, возлежащая на кровати, подперев рукой голову, и держащая в другой руке книгу, часто поднимала глаза к оранжерее и бродила взглядом по лилипутским тропинкам этой сумеречной волшебной страны, которую она видела через стекло, словно во сне.

Если она любила, то должна была искать глазами любовно переплетенные цветущие ветви, на которых ей хотелось бы свить свое гнездышко. Если она не любила, она, очевидно, просила эту роскошную растительность сообщить ей тайну вечной любви, которую стыдливо и загадочно прятали в себе каждый листок, каждый цветок, каждый аромат.

А теперь, полагая, что достаточно подробно описали этот мало кому известный рай, что находится на улице Артуа, поговорим о Еве, которая в нем живет.

Да, Лидию следовало бы назвать Евой, мечтательно подпершей щечку и читающей «*Размышления*» Ламартина, созерцающей, как при прочтении каждой строфы (строфы ароматной!) раскрываются бутончики растений и как природа продолжает грезы, о которых написано в книге. Да, это была настоящая Ева: розовая, свежая и светловолосая. Ева на другой день после грехопадения, блуждающая взглядом по всему, что ее окружает. Ева трепещущая, беспокойная, напряженно дышащая, с тревогой ищущая тайну этого рая, который создан был для двоих, но в котором она к большому ее сожалению оказалась одна. Ева, призывающая ударами своего сердца, вспылками глаз, вздрагиваниями губ либо Бога, породившего ее, либо мужчину, лишившего ее бессмертия.

Завернутая в батистовую простыню, с шеей, укрытой пуховым палантином, с влажными губами, горящими глазами, раскрасневшимся лицом, она была настолько великолепна, что какой-нибудь скульптор из Афин или с Коринфа вряд ли нашел бы лучшую натурщицу для того, чтобы изваять статую Леды.

Подобно Леде, которую ласкал лебедь, у Лидии были на лице румянец любви и сладострастный взгляд. Если бы ее увидел сейчас Канова, творец «*Психеи*», этой распутной Евы, он сотворил бы шедевр из мрамора, который затмил бы его «Венеру Боргезе». Корреджо изобразил бы ее мечтательной Калипсо с выглядывающим из-за драпировки Амуром. Данте сделал бы ее старшей сестрой Беатриче и попросил бы ее провести его по всем уголкам земли, подобно тому, как ее младшая сестра водила его по небу.

Несомненно, что поэты, художники и скульпторы восхитились бы столь очаровательной женщиной, в которой угадывалась одновременно непонятная смесь девичьей стыдливости, женского очарования и божественной чувственности. Да, она сочетала три возраста: десяти, пятнадцати и двадцати лет – возраст детства, созревания, любви, эти три этапа трилогии юности, которые предшествуют, сменяясь поочередно, состоянию ребенка, девушки и женщины и потом остаются позади. Эти три возраста, подобно «*Трем грациям*» Жермена Пилона, удастся сохранить в себе только людям особо одаренным природой. И именно такую особу мы попытались вам нарисовать, украсив чело ее цветами, источающими самые тонкие ароматы, имеющие самые свежие краски.

В зависимости от того, как на нее посмотреть, она представлялась по-разному: ангел принял бы ее за свою сестру, Поль за Виржинию, Де Грие за Манон Леско.

В чем же был источник ее тройной красоты, этого несравненного, странного и необъяснимого очарования? Именно это мы и постараемся не объяснить, нет, а попытаться понять в нашем дальнейшем повествовании, посвятив эту, нет, скорее следующую главу разговору между госпожой де Моранд и ее мужем.

Муж ее только что вошел в спальню. Это его ждала прекрасная Лидия, находясь в такой глубокой задумчивости. Но нет сомнения в том, что вовсе не его лицо искал ее туманный взор в полумраке комнаты и в тенистых уголках оранжереи.

Хотя именно он с нежностью испросил ее разрешения навестить ее в этом райском уголке для того, чтобы поговорить о чем-то перед тем, как лечь спать.

Быть того не может! Такая красота, такая юность и такая свежесть – все, о чем только может мечтать мужчина в возрасте двадцати пяти лет, то есть в самом расцвете молодости, все самое что ни на есть идеальное на свете (другого не найти), столько счастья, столько радостей, столько сокровищ принадлежат одному человеку! А этот человек – белокурый, свежий, розовощекий, щеголеватый, воспитанный и остроумный банкир – сух, холоден, эгоистичен, честолюбив! И все это – дом, картины, деньги – принадлежит ему одному!

Какая же тайна, какая тираническая и роковая сила смогли соединить эти два столь непохожих друг на друга – по крайней мере внешне – существа, эти два голоса, столь мало подходящие для разговора друг с другом, эти два сердца, столь непредрасположенных ко взаимопониманию?

Это мы, возможно, узнаем позже. А пока послушаем их разговор. Быть может, один взгляд, один жест, одно слово этих скованных семейными узами людей наведет нас на след событий, покуда скрытых во тьме прошлого.

Прекрасная мечтательница вдруг услышала шорох ковра в соседней комнате. Хотя шаги приближавшегося человека и были легки, под его ногой скрипнул паркет. Госпожа де Моранд поспешно бросила взгляд в зеркало и запахнула на груди свою накидку из лебяжьего пуха. Затем опустила пониже на запястья кружева своей ночной рубашки и, удостоверившись в том, что все остальные части ее тела были прикрыты, больше не сделала ни малейшего движения.

Она только отодвинула раскрытую книгу, подперла рукой не голову, а подбородок и в этом положении, выражающем скорее безразличие, нежели кокетство, стала ждать своего хозяина и повелителя.

Глава XXII

Семейный разговор

Господин де Моранд, приподняв драпировку, остановился на пороге.

– Можно войти? – спросил он.

– Конечно... Вы ведь предупредили меня о том, что придете. Я жду вас целых четверть часа.

– Что вы говорите, мадам?... Вы, очевидно, так утомлены! Я не должен был приходить, не так ли?

– Нет. Входите!

Господин де Моранд приблизился, грациозно поклонился, взял протянутую женой руку с тонким запястьем, белыми длинными пальчиками и розовыми ноготками и так нежно прикоснулся к ней губами, что госпожа де Моранд скорее поняла жест, чем почувствовала поцелуй.

Молодая женщина вопросительно посмотрела на мужа.

Легко можно догадаться, что подобный визит господина де Моранда был весьма необычен. И одновременно же было видно, что визит этот не вызывал у нее ни желаний, ни отвращения: он напоминал скорее визит друга, чем супруга, и Лидия, казалось, ждала его больше с любопытством, чем с беспокойством.

Господин де Моранд улыбнулся, а затем с нежностью в голосе произнес:

– Я должен извиниться перед вами, мадам, за то, что пришел столь поздно, или скорее так рано. Поверьте, что, если бы не самые серьезные проблемы, заставляющие меня оставаться вне дома в течение всего дня, я выбрал бы для нашего конфиденциального разговора более благоприятное время.

– В какое бы время вы ни пожелали поговорить со мной, мсье, – нежным голосом ответила госпожа де Моранд, – для меня это всегда будет большим событием, и оно тем более ценно, что случается так редко.

Господин де Моранд поклонился в знак благодарности. Затем, подойдя к кровати госпожи де Моранд, присел в кресло, стоявшее рядом. Теперь их лица были друг напротив друга.

Молодая женщина подперла рукой голову и стала ждать.

– Позвольте, мадам, – произнес господин де Моранд, – прежде чем перейти к сути дела, если вы соизволите его выслушать, выразить самые искренние комплименты по поводу вашей редкой красоты, которая с каждым днем расцветает прямо на глазах, а сегодня вечером, казалось, достигла вершины.

– Честно говоря, мсье, я не знаю, что должна отвечать на такую любезность: она меня особенно радует, потому что обычно вы не очень-то щедры на комплименты... Мне это обидно, но я вас в этом не упрекаю.

– Мою скупость на комплименты вам можно объяснить только ревностным отношением к работе, мадам... Все мое время посвящено претворению в жизнь задачи, которую я перед собой поставил. Но когда настанет день и мне позволено будет провести часть моего времени в наслаждении и любви, которые исходят сейчас от вас, поверьте мне, это будет самый счастливый день в моей жизни.

Госпожа де Моранд подняла глаза на мужа и посмотрела на него с удивлением, говорившим о том, что таких слов она от него никак не ожидала.

– Но мне кажется, мсье, – ответила она на это, стараясь придать голосу как можно более очарования, – что всякий раз, когда вам захочется провести время в наслаждении, вам всего-то надо сделать то, что вы сделали сегодня утром: предупредить, что хотите увидеться со мной. Или даже, – добавила она с улыбкой, – прийти сюда безо всякого предупреждения.

– Вы же знаете, – сказал господин де Моранд и тоже улыбнулся, – это не в моих правилах.

– Эти правила придумали вы, мсье, а не я. Я просто приняла их. Мне показалось, что та, которая не принесла вам никакого приданого, получив от вас богатство, положение... и даже спасение чести отца, не имеет никакого права диктовать свои правила.

– Поверьте мне, дорогая Лидия, что настал момент кое-что изменить в этих правилах. Но разве я бы не показался вам назойливым и нахальным, если бы я сегодня утром, к примеру, внезапно нарушил своим обыденным семейным реализмом воздушные мечты, которые овладели вами сегодняшней ночью и в которые вы, как мне кажется, до сих пор погружены?

Госпожа де Моранд начала догадываться, куда клонит муж и о чем пойдет разговор. Она почувствовала, как на лицо ее налетело облачко румянца. Муж дал время этому облачку рассеяться, а потом вернулся к тому месту в разговоре, на котором он был прерван:

– Вы помните эти правила, мадам? – спросил он со своей вечной улыбкой и убивающей вежливостью.

– Прекрасно помню, мсье, – ответила молодая женщина голосом, которому она изо всех сил старалась придать спокойствие.

– Дело в том, что вот уже три года, как я имею честь быть вашим супругом. А за три года можно многое позабыть.

– Я никогда не забуду, чем я вам обязана, мсье.

– Здесь наши мнения расходятся, мадам. Я не считаю, что вы мне чем-то обязаны. Но если вы думаете, что это не так, что у вас есть передо мной какой-то долг, я прошу вас навсегда забыть про это.

– Нельзя забыть, когда пожелаешь и что пожелаешь, мсье. Есть люди, для которых неблагодарность не только является преступлением, но и представляется делом совершенно невозможным! Мой отец, старый солдат, неприспособленный к ведению дел, в надежде удвоить состояние, вложил все свои деньги в промышленную аферу и разорился. У него были обязательства перед банком, который вы унаследовали, и эти обязательства он выполнить никак не мог. И тогда один молодой человек...

– Мадам, – попытался прервать ее господин де Моранд.

– Я скажу все, мсье, – упорствовала Лидия. – Вы полагаете, что я все забыла. Некий молодой человек, полагая, что мой отец богат, попросил моей руки. Инстинктивное отвращение к этому молодому человеку привело к тому, что поначалу отец мой отказал ему. Однако под действием моих просьб этот молодой человек сказал, что любит меня, и мне показалось, что и я его люблю...

– Вам показалось? – спросил господин де Моранд.

– Да, мсье, показалось... Кто может быть уверен в своих чувствах в шестнадцать лет? Особенно когда ты только что вышел из пансиона и совершенно не знаешь жизни?.. Повторяю: отец мой, уступив моим мольбам, решил отдать мою руку мсье де Бедмару. Все было оговорено, даже размер моего приданого в триста тысяч франков. Но тут прошел слух о банкротстве моего отца. И мой жених резко перестал появляться у нас в доме. Он просто исчез! И лишь по прошествии некоторого времени отец получил от него из Милана письмо, в котором сообщалось, что, видя с первой встречи нежелание принять его в качестве зятя, он решил не навязываться в родственники. Мое приданое было положено в банк и защищено от всяких неожиданностей. Это была примерно половина суммы, которую отец должен был выплатить вашему банку. За три дня до истечения срока платежей отец явился к вам, чтобы предложить вам принять триста тысяч франков и попросить подождать, пока он раздобудет остальные деньги. Вы ответили ему, что прежде всего ему надо успокоиться, и добавили, что, поскольку у вас есть к нему дело, вы хотели бы на следующий день навестить его дома. Так ли все было?

– Да, мадам... Но я возражаю против слова *дело*.

– Это слово, мне кажется, произнесли вы сами.

– Мне нужен был предлог, чтобы попасть к вам домой, мадам. И слово *дело* ничего за собой не имело, это был только предлог.

– Хорошо, не будем спорить. В подобных обстоятельствах слово – пустяк, главное – дело... Итак, вы пришли к нам и сделали отцу это столь неожиданное предложение: жениться на мне, взять в качестве моего приданого те самые шестьсот тысяч франков, которые составляли долг отца вашему банку и оставить ему те сто тысяч эку, которые он вам предлагал.

– Если бы я предложил вашему отцу большую сумму, мадам, он мог бы отказать мне.

– Мне известна ваша деликатность, мсье... Изумленный подобным предложением, мой отец согласился. Дело оставалось за моим согласием, а оно, как вы помните, не заставило себя ждать.

– О! У вас такое благородное и любящее сердце, мадам.

– Вы помните тот наш разговор, мсье? Я с самого начала попыталась было рассказать вам о моем прошлом, чтобы признаться вам...

– В одной из тех тайн девичьего сердца, которые деликатный мужчина не должен слышать из уст своей невесты. Кстати, я тогда сказал: «Примите мое положение, мадемуазель, и пользуйтесь им по вашему усмотрению. И рассматривайте это, как сделку...»

– Видите, вы сами используете такие слова!

– Я банкир, – ответил господин де Моранд, – прошу меня простить за эту привычку... «Как сделку, которую я заключаю, не зная результатов, но ожидая, что она принесет мне выгоду, или как долг, который я плачу за своего отца».

– Прекрасно, мсье! Я все это отлично помню: речь шла о некоей услуге, оказанной моим отцом вашему родителю во времена Империи или же в начале Реставрации.

– Да, мадам... А затем я добавил, что, не веря в то, что становясь вашим супругом, я заслужу вашу признательность, я не стану заставлять вас испытывать по отношению ко мне какие-то чувства. Что я сам, вследствие некоторых принятых на себя обязательств, оставляю за собой свободу чувств. Что никогда не стану – сколь бы соблазнительной Господь вас ни сотворил – принуждать вас к выполнению супружеских обязанностей. И, наконец, я добавил тогда, что поскольку вы такая красивая, молодая и жаждущая любви, то я даже и в мыслях не допускаю как-то ограничивать свободу поступков и чувств, которую я вам даю и оставляю все это на вашей совести, веря, что вы сумеете сохранить принятые в обществе приличия... И предложил только осуществлять надзор за вами, как приглядывает за дочерью снисходительный к ее слабостям отец, и как отец, охраняющий вашу репутацию, которая стала и моей, подавлять те неумные покусения на нашу с вами честь, которые неминуемы будут со стороны мужчин, ослепленных вашей красотой.

– Мсье...

– Увы! Вскоре мне пришлось и впрямь стать вашим отцом: полковник внезапно умер во время поездки в Италию, и мой корреспондент в Риме передал мне эту печальную весть. Ваши страдания при этом известии были большими: первые месяцы после нашей свадьбы вы не снимали траур.

– О! Клянусь вам, мсье, я страдала и душой, и телом!

– Я знаю это, мадам, ведь мне пришлось приложить столько сил для того, чтобы вы не то что забыли бы ваше горе, а хотя бы добиться того, чтобы ваше отчаяние не вышло за пределы рассудка. Вы изволили меня слушать, в конце концов сняли с себя черные одеяния. Или скорее черные одеяния спали с вас. Из траура вы вышли еще прекраснее, подобно цветку, показывающемуся в первые весенние дни из-под серой зимней оболочки. Нежность юности, свежесть красоты остались на вашем лице, но с губ пропала ваша очаровательная улыбка. Понемногу... О! Я не имею ни малейшего желания упрекать вас в чем-то, мадам, это – закон природы... Понемногу хмурый ваш лоб просветлел, сдавленная рыданиями грудь начала наполняться радостным дыханием. Вы вернулись к жизни, к удовольствиям, к кокетству. Вы снова стали женщи-

ной, и, позвольте мне заметить, мадам, что я служил вам руководителем и опорой на этом трудном пути. На пути гораздо более трудном, чем это может показаться с первого взгляда, на пути, который ведет от слез к улыбке, от горя к радости.

– Да, мсье, – сказала госпожа де Моранд, взяв мужа за руку. – И позвольте мне пожать эту благородную руку, которая руководила мной так терпеливо, так милосердно, так нежно.

– Вы благодарите меня за милость, которую сами же мне и оказали! По правде говоря, вы слишком добры ко мне!

– Но, мсье, – попросила госпожа де Моранд, взволнованная теперешним разговором или же поднятыми в нем воспоминаниями, – пощадите мое любопытство и объясните же наконец, к чему вы все это вспомнили?!

– Ах! Простите меня, мадам! Я совсем забыл, который сейчас час, где я нахожусь, а также то, что вы очень устали.

– Позвольте вам напомнить, мсье, что вы всегда ошибаетесь насчет моих намерений.

– Хорошо, мадам, я буду краток... Итак, я сказал уже, что ваше возвращение в мир после годичного отсутствия вызвало большой интерес. Вы ушли красивой, вернулись очаровательной. Ничто так не красит, как успех: вы из очаровательной превратились в обожаемую.

– Вот мы и снова вернулись к комплиентам.

– Мы снова вернулись к истине. Именно к ней надо всегда возвращаться, мадам. А теперь позвольте мне сказать еще несколько слов, и я закончу.

– Слушаю вас.

– Так вот, мадам. Извлекая вас из тьмы, на которую обрекали вас ваши траурные одеяния, я поступил так же, как Пигмалион, высекая свою Галатею из куска мрамора, где она была спрятана от взоров всех людей. А теперь представьте себе современного Пигмалиона, представьте себе, что он привел в мир свою Галатею по имени... Лидия. Представьте себе, что вместо того, чтобы полюбить Пигмалиона, Галатея не любит... ничего. Можете ли вы представить себе страхи бедного Пигмалиона, страдания его, не стану говорить о любви, но гордости, когда он услышит слова: «Бедный скульптор оживил этот мрамор вовсе не для себя, а... для...»

– Мсье, сравнение...

– Да, я знаю пословицу: «Сравнение – не доказательство». Но давайте вернемся к реальностям безо всяких метафор. Так вот, мадам, эта ваша удивительная красота завоевывает вам тысячи друзей, а мне дает тысячи врагов и завистников. Это ваше очарование, заставляющее виться вокруг вас, как пчелы вокруг куста роз, самых элегантных молодых людей, эта ваша власть над всеми, кто вас окружает, и влечет к вам все, что попадает под ваше влияние, эта ваша дивная красота пугает меня и приводит в трепет, словно я прогуливаюсь по краю пропасти в вашей очаровательной компании... Вы понимаете меня, мадам?..

– Уверю вас, нет, мсье, – ответила Лидия.

И с чарующей улыбкой добавила:

– И это, кстати, доказывает, что не такая уж я умная, как вы изволите меня считать.

– Ум, как солнце, мадам: у него есть свои периоды восхода и захода. А посему я постараюсь обращаться не только к вашему уму, но и к вашим глазам. Помните ли вы тот день, когда, во время нашего путешествия по Савойе, при выезде из Энтремона вы, увидев с высоты горы Рону, сверкающую на солнце, словно серебряная нить, и голубеющую в тени, перестали вдруг опираться на мою руку и, подбежав к краю плато, с ужасом остановились, увидев сквозь мягкий ковер трав и цветов разверзшуюся перед вами пропасть, которая стала видна только тогда, когда вы достигли ее края?

– О, я это прекрасно помню! – сказала, закрыв глаза и слегка побледнев, госпожа де Моранд. – И я счастлива, что помню это. Ибо, не сумею вы меня удержать и оттащить назад, я не имела бы, по всей вероятности, счастья снова вас за это поблагодарить.

– Я не благодарности добивался, мадам. Я просто хотел, оживив ваши воспоминания, объяснить вам доходчивее, что я тоже нахожусь, как уже говорил, на краю пропасти. Так вот, повторяю, ваша красота пугает меня так же, как и тот склон высотой в шестьсот футов и покрытый травой и цветами. И я боюсь, что настанет день, и мы упадем туда оба!.. Теперь вы меня понимаете, мадам?

– Да, мсье, кажется, начинаю понимать, – произнесла молодая женщина, опустив глаза.

– Если начинаете понимать, – с улыбкой сказал господин де Моранд, – то я могу быть спокоен: вскоре вы сами поймете все остальное!.. Так я говорил, мадам, что, заменив вам отца, – вы ведь знаете, что других прав я и не добивался, не так ли? – я обязан с некоторым беспокойством приглядывать за толпами этих красавчиков, щеголей и денди, окружающих мою дочь... Заметьте, мадам, дочь моя имеет полную свободу и может сделать свой выбор в этой сверкающей, щегольски одетой и надушенной толпе. И, если выбор будет сделан, не случится ничего страшного: я только сочту не за право, а за свой долг сказать дочери, как хороший отец: «Выбор сделан правильно, дитя мое!» Либо же: «Ты сделала плохой выбор, дочка!»

– Мсье!

– Но нет! Зачем же так? Я этого не скажу: лучше будет, если я устрою смотр всем этим мужчинам, которые за ней особенно настойчиво увиваются, и скажу ей свое мнение о них. Хотите, мадам, знать мое мнение о некоторых из тех, кто особенно усердно приударял за вами?

– Говорите, мсье.

– Тогда начнем с монсеньора Колетти.

– О, мсье!

– Я говорю о нем только потому, что вспомнил. Для того, чтобы начать список... Впрочем, мадам, монсеньор Колетти – очаровательный прелат!

– Священник!

– Вы правы. А посему я понял ваши чувства: священник не представляет опасности для такой женщины, как вы: молодой, красивой, богатой и свободной... Или почти свободной. И посему монсеньор Колетти может заниматься вами открыто или тайно, приходит к вам домой днем или вечером: никто и никогда не скажет, что мадам де Моранд является любовницей монсеньора Колетти.

– И все, мсье... – произнесла с улыбкой молодая женщина, прерывая речь мужа.

– И все же он вас любит, или скорее он в вас влюблен. Ведь монсеньор Колетти любит только себя. Вы это хотели сказать, не так ли?

Улыбка, оставшаяся на губах госпожи де Моранд, была молчаливым подтверждением слов мужа.

– Но, – продолжил банкир, – высокопоставленный воздыхатель-священник очень устраивает молодую и красивую женщину, особенно, когда эта молодая и красивая женщина лишена скромности и благочестия, да к тому же имеет еще и другого любовника.

– Другого любовника! – воскликнула Лидия.

– Заметьте, мадам, я говорю не о вас конкретно. Я имею в виду вообще молодую и красивую женщину... Вы – самая молодая из всех молодых, самая красивая из всех красавиц. Но вы ведь не единственная молодая и красивая женщина в Париже, не так ли?

– О! Я на это и не претендую, мсье.

– Итак, продолжим с монсеньором Колетти! Он приглашает вас в самую лучшую ложу в Консерватории, когда там проходят духовные песнопения. Он оставляет вам лучшие места в церкви Сен-Рок, чтобы вы могли слушать *Magnificat* и *Dies irae*. Он дал нашему управляющему рецепт пюре из птицы, которым так восхищались два ваших чичисбея, господина де Куршам и де Монтрон. Кроме того, есть еще один очаровательный мальчик, которого я люблю всем сердцем...

Госпожа де Моранд вопросительно взглянула на мужа. Взгляд ее означал вопрос: «Это еще кто?»

– Позвольте мне похвалить его. Не как поэт и не как драматург – вы ведь знаете, что принято считать, что мы, банкиры, ничего не понимаем ни в поэзии, ни в драматургии – а как человек...

– Вы имеете в виду мсье?..

Госпожа де Моранд замялась.

– Я имею в виду мсье Жана Робера, черт побери!

И снова румянец, более яркий, чем в первый раз, окрасил щеки госпожи де Моранд. Этот оттенок не ускользнул от внимания ее мужа, хотя тот по виду и не обратил на него никакого внимания.

– Вам нравится мсье Жан Робер? – спросила молодая женщина.

– Почему бы и нет? Он из приличной семьи. Его отец в республиканской армии имел чин повыше того, который носил ваш отец в армии императора. Если бы он пожелал породниться с семейством Наполеона, он, вероятно, умер бы маршалом Франции вместо того, чтобы после своей смерти оставить свою семью умирающей от голода или почти умирающей. Молодой человек все взял в свои руки. Он отважно преодолевал все жизненные трудности. У него честное открытое и благородное сердце, которое, возможно, умеет хранить любовные тайны, но не в состоянии сдерживать свою неприязнь. Кстати, меня он не любит...

– Как не любит? – воскликнула, не сдержавшись, госпожа де Моранд. – Но ведь я же велела ему...

– Делать вид, что я ему нравлюсь... Но бедный парень, хотя и старался вовсю, я в этом уверен, учесть все ваши рекомендации, в этом вопросе не смог исполнить вашу волю. Нет, я ему не нравлюсь! Когда он видит меня на улице и у него есть возможность, не проявив невежливость, перейти на другую сторону, он переходит. Когда я встречаюсь с ним, и он, будучи захвачен врасплох, вынужден раскланяться со мной, он делает это с такой холодностью, что это могло бы быть воспринято как оскорбление любым другим человеком, кроме меня, поскольку я делаю это из простой вежливости, ибо вынужден передать ему ваше приглашение. Вчера я его буквально вынудил подать мне руку. Если бы вы знали, как бедный парень страдал все то время, пока его ладонь находилась в моей! Это меня тронуло. И чем сильнее он меня ненавидит, тем больше я его люблю... Вы понимаете это, не так ли, мадам? Это человек неблагодарный, но честный.

– По правде говоря, мсье, я не могу понять, как отнестись к тому, что вы мне говорите!

– Отнеситесь, как ко всему тому, что я вам говорю, мадам, как к истине. Бедный малый чувствует, что чинит мне зло, и это его смущает.

– Мсье... О каком зле вы говорите?

– Я не говорю, что он не мечтатель. Он поэт, а всякий поэт мечтатель. В большей или меньшей мере... Кстати, хотите совет? Он написал вам стихи, не так ли?

– Мсье...

– Написал. Я их видел.

– Но он не стал их издавать!

– Он прав, если они плохие. И не прав, если они хорошие. Пусть он меня не стесняется!

И все же я хочу поставить одно условие.

– Какое же, скажите на милость? Чтобы там не было моего имени?

– Совсем наоборот! Какая ерунда! Тайны от нас, его друзей! Нет!.. Пусть ваше имя стоит там полностью. Кому же это в голову придет увидеть что-то плохое в том, что поэт посвящает стихи женщине? Когда мсье Жан Робер обращается в стихах к цветку, к луне, к солнцу, разве он ставит только начальную букву? Он ставит их полное название, не правда ли? А поскольку

вы, подобно цветку, луне и солнцу, являетесь самым прекрасным, самым нежным и добрым творением природы, пусть он обращается к вам в своих стихах, как к солнцу, луне и цветам!

– Ах, мсье, неужели вы это говорите серьезно?

– Да. И слышу, как у вас камень упал с плеч.

– Мсье...

– Значит, договорились: хочет мсье Жан Робер того или не хочет, но он остается в числе наших друзей. Если кого-то удивят его частые посещения нашего дома, говорите – и это будет правдой, – что ни вы, ни он к этому особенно не стремитесь, что этого желаю я, поскольку отдаю должное таланту, деликатности и скромности мсье Жана Робера.

– Что вы за странный человек, мсье?! – воскликнула госпожа де Моранд. – И кто сможет раскрыть мне тайну вашей необычайной привязанности ко мне?

– Неужели она вам мешает, мадам? – спросил господин де Моранд с улыбкой, в которой был оттенок грусти.

– О! Нет, слава богу!.. Но вот только она заставляет меня бояться того, что...

– Чего же вы опасаетесь?

– Того, что настанет день... Но нет, я не стану говорить вам того, что творится у меня в голове, или скорее на сердце.

– Скажите же, мадам. Откройтесь мне, как другу.

– Нет. Это было бы слишком похоже на признание.

Господин де Моранд пристально взглянул на жену.

– Но, мсье, – произнесла она, – неужели вам самому в голову не приходила подобная мысль?

Господин де Моранд продолжал глядеть на жену.

– Какая мысль? Скажите же мне, мадам! – произнес он после некоторого молчания.

– А такая... Как бы смешно это ни казалось, женщина может влюбиться в собственного мужа.

По лицу господина де Моранда быстро пробежало легкое облачко. Он закрыл глаза, и лицо его потемнело.

Потом, встряхнув головой, словно отгоняя мечту, он произнес:

– Да, как бы смешно это ни казалось, но это может случиться... Молите Бога, мадам, чтобы ничего подобного с нами не произошло.

И, нахмутив брови, добавил тихо:

– Это было бы слишком большим несчастьем для вас... А особенно для меня!

Затем он встал и несколько раз прошелся по комнате, стараясь оставаться в той части спальни, в которой находилось изголовье кровати госпожи де Моранд, и где, следовательно, она не могла его видеть.

И, однако, благодаря расположенному рядом зеркалу Лидия смогла заметить, что муж ее часто вытирал платком лоб, а возможно, и глаза.

Вскоре господин де Моранд понял, что его волнение, каковыми бы ни были его причины, было замечено женой. Поэтому он, совладав со своим лицом, заставил себя улыбнуться губами и глазами. Затем снова сел в кресло, остававшееся пустым всего несколько минут.

Помолчав немного, он произнес мягким голосом:

– А теперь, мадам, когда я имел честь высказать вам мое мнение о монсеньоре Колетти и о мсье Жане Робере, мне остается только узнать ваше мнение о мсье Лоредане де Вальженезе.

Госпожа де Моранд взглянула на мужа с некоторым удивлением.

– Мое мнение о нем, мсье, – ответила она, – ничем не отличается от общепринятого.

– Тогда скажите мне общепринятое мнение о нем, мадам.

– Но мсье де Вальженез...

Она остановилась, находясь в явном затруднении закончить мысль.

– Простите, мсье, – произнесла она. – Но мне кажется, что вы имеете какое-то предубеждение против мсье де Вальженеза.

– Предубеждение? У меня? Упаси меня Бог иметь предубеждения против мсье де Вальженеза! Нет! Я только слушаю то, что о нем говорят... Вы ведь знаете, что рассказывают о мсье де Вальженезе, не так ли?

– Он богат, пользуется успехом, имеет хорошее положение при дворе: этого больше, чем достаточно, для того, чтобы о нем начали говорить всякие гадости.

– А вы знаете, какие именно гадости про него говорят?

– Как и все гадости, мсье, только в общих чертах.

– Ладно, давайте проанализируем то, что о нем говорят... Начнем с богатства.

– Оно неоспоримо.

– Разумеется, в том, что касается его существования. Но спорно, как мне кажется, в способе его добывания.

– Но разве отец мсье де Вальженеза не унаследовал это состояние от своего старшего брата?

– Унаследовал. Но по поводу этого наследства ходят какие-то мрачные слухи. Что-то вроде того, что, когда этот старший брат умер в самый неожиданный момент от апоплексического удара, завещание его куда-то исчезло. А ведь у него был сын... Вам говорили об этом, мадам?

– Я смутно помню это: мой отец жил в мире, отличном от мира мсье де Вальженеза.

– Ваш отец был честным человеком, мадам. А по поводу того мира, который мы видим, есть пословица. Так вот, у умершего был сын, очаровательный молодой человек. И вот наследников обвиняют – я говорю *обвиняют* не в том, разумеется, смысле, что им было выдвинуто обвинение в суде – в том, что они выгнали этого юношу из дома его отца. Поскольку по документам он был сыном маркиза де Вальженеза, племянником графа и соответственно двоюродным братом мсье Лоредана и мадемуазель Сюзанны. И этот молодой человек, привыкший жить на широкую ногу, и, вдруг оказавшись безо всяких средств к существованию, как говорят, застрелился.

– Какая мрачная история!

– Да. Но вместо того, чтобы опечалить семейство, эта смерть их обрадовала. Пока этот молодой человек был жив, существовала угроза того, что обнаружится подлинное завещание, что даст в руки истинного наследника мощное оружие. Но когда наследник умер, завещание само по себе никак не может вновь появиться на свет. Это что касается богатства. Что же до успеха мсье де Вальженеза в свете, я полагаю, что вы под словом успех подразумеваете его победы?

– А разве это не так? – с улыбкой ответила госпожа де Моранд.

– Так вот, что касается его побед, то оказывается, что он одержал их слишком мало среди женщин высшего света и что при общении его с теми, кого называют девками, несмотря на непосредственное участие в этом и помощь, которую оказывает братцу мадемуазель Сюзанна де Вальженез, молодой человек частенько вынужден прибегать к насилию.

– О, мсье, что это вы такое говорите?

– То, о чем монсеньор Колетти расскажет вам, вероятно, лучше, чем я. Ибо, если мсье де Вальженез кому-то и мил, то только церкви.

– И вы утверждаете, мсье, – спросила госпожа де Моранд, начинавшая проявлять определенный интерес к этим обвинениям, были ли они справедливыми или нет, – что мадемуазель Сюзанна помогает своему брату в его любовных делах?

– О! Это известно всем! И люди, знающие о тесной и страстной дружбе мадемуазель Сюзанны с братом, принимают ее всерьез. Мадемуазель Сюзанна отличается от брата тем, что она любит получать все или почти все удовольствия в кругу семьи.

- О, мсье! И вы верите подобной клевете?
- Мадам, я не верю ни во что, кроме курса ренты, да и то лишь тогда, когда она опубликована в «Монитере». Но мне также известны фатовство и наглость мсье де Вальженеза. Он в этом плане похож на улитку: он мараает репутации, к которым не имеет никакого отношения!
- Ах, до чего же вы не любите мсье де Вальженеза, мсье! – произнесла госпожа де Моранд.
- Да, не люблю, и должен вам в этом признаться... А вы случайно не любите ли его, мадам?
- Я! Вы хотите знать, люблю ли я мсье Лоредана?
- Бог мой, я спрашиваю вас об этом, как о многих других вещах. Возможно, я не так задал вопрос. Я прекрасно знаю, что вы никого не любите в абсолютном смысле этого слова. Мне следовало бы спросить: «Нравится ли вам мсье Лоредан?»
- Мне он безразличен.
- Так ли это на самом деле, мадам?
- О! Если я за него вступилась перед вами, то лишь потому, что не желаю, чтобы ни с ним, ни с кем другим не произошло никакого несчастья, которого бы он ни заслужил.
- Вот как? А кто же этого желает? Я уверяю вас, мадам, что с моей стороны... от меня, если вам так больше нравится, мсье де Вальженезу не грозит никакое незаслуженное несчастье. Только заслуженное.
- Но какого же несчастья может заслуживать мсье де Вальженез? И как эти несчастья могут угрожать ему с вашей стороны?
- Все очень просто, мадам! Сегодня ночью, например, мсье де Вальженез очень настойчиво за вами ухаживал...
- За мной?
- Да, за вами, мадам... В этом не было ничего страшного: он был вашим гостем и это явное стремление мсье де Вальженеза следовать за вами по пятам можно отнести на счет простой вежливости... Может быть, чуточку излишней, но все же понятной в отношении хозяйки дома. Однако постарайтесь меня понять, вы будете посещать другие вечера в других домах. Вы будете встречаться с мсье де Вальженезом в свете. И если только он там в течение всего восьми вечеров будет вести себя так, как вел здесь, вы будете скомпрометированы... А тогда... Не хочу вас пугать, боже сохрани, мадам, но в тот самый день, когда вы будете скомпрометированной женщиной, мсье де Вальженез станет покойником!
- Госпожа де Моранд испуганно вскрикнула.
- О мсье! – сказала она. – Из-за меня может умереть человек! Он будет убит из-за меня! Меня до конца моей жизни будет мучить раскаяние.
- Да кто же вам сказал, мадам, что я убью мсье Лоредана именно из-за вас?
- Вы сами, мсье.
- Этого я не говорил. Если я убью мсье Лоредана из-за вас, вы будете еще больше скомпрометированы, чем до его смерти. Нет, я убью его по какой-нибудь другой причине... По поводу закона о печати или недавнего парада национальной гвардии. Я убью его так же, как уже убил мсье де Бедмара.
- Мсье де Бедмара? – воскликнула Лидия, смертельно побледнев.
- Скажите, – продолжал господин де Моранд, – разве кто-нибудь узнал, что он был убит из-за вас?
- Вы убили мсье де Бедмара? – повторила госпожа де Моранд.
- Да. А вы разве этого не знали?
- О, боже!
- Признаюсь, однако, что у меня был момент, когда я колебался. Не знаю, известны ли вам причины, по которым я презирал мсье де Бедмара. Скажу только, что при некоторых обстоятельствах у меня сложилось убеждение, что он ведет себя не как честный человек. Один из

моих корреспондентов в Италии написал мне, что мсье де Бедмар 20 ноября 1824 года должен был прибыть в Ливурно. Я вспомнил, что у меня в Ливурно было неотложное дело, и прибыл туда 19 ноября. На следующий день в город приплыл и мсье де Бедмар. Тогда, уж не знаю как это случилось, мы повстречались в порту Ливурно и между нами завязался пустяшный разговор. По-моему, по поводу какого-то комиссионера. Затем разговор принял крутой оборот. Короче говоря, я посчитал себя оскорбленным и потребовал удовлетворения за нанесенную обиду, предоставив, как всегда, своему противнику выбор оружия. Он по глупости выбрал пистолеты – это беспощадное оружие, которое разрывает плоть, ломает кости, убивает. Словом, мы договорились встретиться на пизанской мызе. На месте поединка наши секунданты поставили нас друг напротив друга на удалении двадцати шагов. Затем в воздух была брошена монета для того, чтобы определить, кому стрелять первым. Жребий оказался благосклонным к нему. Он выстрелил... Но взял немного низко: пуля пробила мне бедро.

– Пробила вам бедро? – воскликнула госпожа де Моранд.

– Да, мадам, но, к счастью, кость осталась не задетой.

– Но я и не знала, что вы были ранены.

– К чему было огорчать вас раной, которая затянулась через пару недель?

– И, хотя вы были ранены, мсье?..

– Я продолжал держать его на мушке... Именно в этот момент, как я уже сказал, у меня возникли колебания: это был очень красивый парень, вроде мсье де Вальженеза. Так вот я подумал: «Быть может, его, как и мсье де Вальженеза, любит мать или сестра!» Я не решился выстрелить. Возьми я чуть вправо или чуть влево, я бы в него не попал. И, поскольку я был ранен, дуэль на этом закончилась бы. Но тут я вспомнил о том, что мсье де Бедмар подло обманул одну девушку, что и он держал на мушке отца этой девушки, который пришел требовать у него удовлетворения за нанесенное его семье оскорбление, что этот негодяй убил отца этой несчастной девушки. И тогда я прицелился в грудь: пуля пробила ему сердце, он упал, не издав ни звука.

– Мсье, – воскликнула госпожа де Моранд, – мсье... Вы сказали, что мой отец?..

– Был убит на дуэли мсье де Бедмаром, мадам. Это совершеннейшая правда. Теперь вы сами видите, что я был прав, не пощадив его, и что в подобной ситуации я не пощажу и мсье де Вальженеза.

И, поклонившись жене с таким же спокойным выражением лица, какое было у него, когда он вышел, господин де Моранд покинул комнату, сопровождаемый испуганным взглядом госпожи де Моранд.

– О, – прошептала Лидия, уронив голову на подушку, – да простит меня Господь! Но мне иногда кажется, что этот человек меня любит... И что я его люблю!

Глава XXIII

Суд присяжных департамента Сена

Заседание 27 апреля

ДЕЛО САРРАНТИ

Читатель, узнав от самого Сальватора о том, что тот отправляется во Дворец правосудия для того, чтобы присутствовать на последнем слушании дела Сарранти, должен был понять, что нам не нужно было непременно следовать за ним и что, побывав в спальне госпожи де Моранд и послушав ее разговор с мужем, мы можем в ту же секунду очутиться в этом огромном и жутком зале Дворца правосудия, где каждое преступление ожидает своего наказания, а иногда, по роковой ошибке, бывают осуждены невинные.

В трех углах этого огромного зала следовало бы поставить три статуи: Каласа, Лабара и Лезюрка для того, чтобы они ждали четвертую, которая, возможно, так и не была бы установлена!

К одиннадцати часам вечера, в тот самый момент, когда проходил совет у короля Карла X, когда по мостовой улицы Артуа перед особняком Морандов грохотали колесами сотни экипажей, подходы к Дворцу правосудия представляли другое, не менее любопытное зрелище, чем бульвар Итальянцев.

Действительно, начиная от площади Шатле и дальше, к югу, до площади Пон-Сен-Мишель, моста Менял, Бочарной улицы, моста Сен-Мишель, все прилегающие к ним улицы и к востоку от площади Дофины до моста Сите, набережных Орлож, Дезекс, Сите, Архиепископства и Орфевр, – все было забито такой плотной толпой, подвижной и ропщущей, так, что можно было подумать, будто древний Дворцовый остров, став вдруг плавучим, колышется посреди Сены, прилагая неимоверные усилия к тому, чтобы противостоять урагану, гнавшему его в море! Сходство этой огромной толпы с грозным океаном придавал глубокий и глухой, мрачный и монотонный рев, от которого содрогались окрестные дома и который накатывался, подобно разъяренным волнам до самых сводов древнего дворца святого Людовика.

В тот вечер, а скорее в ту ночь, поскольку время уже приближалось к полуночи, должно было закончиться заседание суда по делу Сарранти, которое так взбудоражило и, следует сказать, не без причины общественное мнение, начиная с того самого дня, когда в *«Монитере»* был опубликован обвинительный акт.

Посему читателя не должно удивлять, что этот процесс, которому суждено было стать триумфом правосудия, собрал вокруг Дворца такое огромное количество людей, а в зал заседаний суда набилось так много народу, что он не смог вместить всех желающих присутствовать на заключительном заседании. Для того чтобы предотвратить давку, волнения и – кто знает? – беспорядки, которые могли возникнуть при таком стечении народа, председатель суда счел нужным заранее раздать входные билеты всем тем лицам, или по крайней мере части тех лиц, кто его об этом попросил. Даже адвокаты получили определенное количество таких билетов на каждый день заседания суда.

Но было невозможно удовлетворить бесчисленные просьбы: начиная со дня опубликования обвинительного акта, к председателю суда поступило более десяти тысяч таких просьб. К нему обращались дипломаты, парламентарии и пэры, дворяне, духовенство, судейские, военные, финансисты. А удовлетворена была лишь небольшая часть этих просьб.

Отсюда становится понятным, что зал заседаний был настолько переполнен, что, казалось, зрители, тесно прижавшись друг к другу, являли собой единый организм, а время от времени в дверях и битком набитых народом коридорах слышались голоса несчастных, которых толпа очень больно прижимала к стене или к проему дверей. Толпы людей не только наполняли галерею и занимали многочисленные лестницы, ведущие к входным дверям, но, как мы уже

сказали, огромная вереница непривилегированных зрителей, словно громадная змея, окружала Дворец правосудия. Голова этой змеи находилась на площади Шатле, а хвост вытянулся вплоть до площади Пон-Сен-Мишель.

Несколько скамеек были выделены специально для адвокатов, но эти места вскоре захватили дамы, которые не смогли найти места на скамейках, приготовленных для них во внутреннем ряду напротив скамей адвокатов.

Слушания по делу начались всего два дня тому назад, и, несмотря на то, что до сих пор не было приведено ни одного доказательства в поддержку предъявленного господину Сарранти обвинения, во Дворце правосудия и в толпе все были уверены в том, что вердикт должен быть вынесен именно в этот день.

Все ждали, когда же он будет обнародован – мы говорим по крайней мере о тех, кто находился далеко от зала заседаний. Но хотя время уже подошло к одиннадцати, хотя в толпе ходили слухи о том, что только сейчас пришел недвусмысленный приказ вынести вердикт и объявить приговор по преступлению именно на данном заседании, из Дворца не поступало никаких новостей. Поэтому самые нетерпеливые уже начали громко кричать, и эти крики были оставлены без внимания находившимися в толпе жандармами.

Интерес же тех, кто присутствовал в зале суда, все возрастал, и тринадцать часов непрерывного слушания дела – заседание началось в десять утра – не смогли уменьшить внимание одних и умерить любопытство других.

Помимо того интереса, который вызывала в сердце каждого личность обвиняемого, интерес к делу, и без того необычному, был подогрет талантом председателя суда и энергичной и уверенной защитой.

Председатель суда был, бесспорно, талантлив. Невозможно было внести в исполнение такой важной и тягостной должности более четкий и ясный анализ, вести процесс с большим красноречием и элегантностью, с большим уважением к соблюдению приличий и с большей непредвзятостью, чем это делал он. Воспользуемся случаем и отметим мимоходом, что его скрупулезная непредвзятость, за которую мы хвалим председателя суда, его умение и даже талант вести заседания, его ловкость и компетентность оказали на ход слушания дела и даже на отношение публики к процессу огромное благотворное влияние. Нельзя передать, насколько эти качества председателей суда внушают важность и уважение к суду, придавая процессам свойственную им величавость.

Торжественность этого вечера имела корнями своими одновременно ту величавость, о которой мы уже сказали, и тот мрачный, фантастически-зловещий характер, о котором мы уже упомянули, приступая к описанию этого заседания.

Все или почти все знают, что такое зал заседаний парижского суда присяжных. Это – огромное четырехугольное помещение, мрачное, глубокое и высокое, словно церковь.

Мы сказали мрачное, несмотря на то, что в этот зал свет проникает через пять огромных окон и две стеклянные двери, расположенные по одну сторону зала слева от входа. Но все же правая сторона зала, в стене которой нет ни единого окна и на которую не падает свет – разве что в тех случаях, когда открывается маленькая дверца, через которую вводят и выводят из зала обвиняемого, – эта стена, остающаяся мрачной, несмотря на безуспешные попытки сделать ее более веселой с помощью панно из синей бумаги, наводит на противоположную стену ту мрачность, которая побеждает проникающий в зал свет. Другими словами, храм правосудия как бы хранит на своих стенах ту гнусную грязь преступлений, которыми был запятнан его пол. И когда вы входите в зал заседаний суда, вас вдруг охватывает черная тоска, вы чувствуете, как по вашему телу пробегает дрожь омерзения. Это подобно тому ощущению, которое обычно испытывает человек, наступивший в лесу на клубок гадюк.

Но в тот вечер обычно мрачный зал заседаний суда был ярко освещен, и это делало его еще более тоскливым, чем когда он оставался слабоосвещенным.

Представьте себе всю эту толпу, освещенную странным дрожащим светом сотни свечей, ламп, укрытых абажурами, придающими лицам присяжных заседателей необъяснимо странный оттенок, зловещую бледность и делающими их лица похожими на лица инквизиторов, изображенных испанскими художниками.

При входе в этот зал, погружаясь в этот сверкающий огнями полумрак или, скажем так: в этот мрачный полусвет, вас, помимо вашей воли, охватывает чувство того, что вы попали на тайное заседание Совета Десяти или инквизиции. На ум немедленно приходят все эти геенны и пытки, и вы начинаете искать глазами в самом темном углу зала мрачную маску палача, готового к проведению пыток.

Мы входим в зал в тот самый момент, когда королевский прокурор готовится произнести обвинительную речь.

Он уже встал.

Это человек высокого роста, с бледным костистым лицом, кожа его напоминает старинный пергамент. Живой труп, в котором жизнь сохранилась только в голосе и во взгляде. Но не в движениях и жестах. Да и голос его тоже слаб, как дыхание, а взгляд мутен и невыразителен. Словом, этот человек является как бы воплощением уголовного права, это – живое и очень костлявое обвинение!

Но прежде чем выслушать исполнителей основных ролей этой драмы, давайте посмотрим на их места в зале заседаний.

В глубине зала за круглым столом в окружении судей сидит председатель суда.

Слева от входящих в зал, то есть справа от председателя суда, под двумя высокими застекленными окнами располагаются четырнадцать присяжных заседателей. Да, мы не оговорились, их *четырнадцать*, а не двенадцать. Дело в том, что королевский прокурор, предчувствуя продолжительность заседаний суда, потребовал избрания двух дополнительных присяжных заседателей и одного коллежского асессора.

За круглой оградой, отделяющей стол членов суда от зала, сидит сама порядочность, господин Жерар, истец.

Это тот самый человек с огромной лысиной, серыми и колючими глубоко расположенными глазками, с густыми седыми бровями, из которых выбивались, словно щетина у кабана, длинные волоски, соединявшиеся между собой на уровне хищно загнутого носа и представлявшие собой нависавшую над глазами и лишенную всяких пропорций дугу. Это была та же самая гнусная физиономия подлеца, которая произвела такое необычное впечатление на аббата Доминика, когда тот вошел в спальню умирающего.

Обычно бывает так, что лицо человека, требующего у правосудия наказать убийцу, каким бы оно ни было уродливым, представляется публике трогательным и очень интересным, а лицо обвиняемого вызывает только чувство презрения и отвращения. Но в этом случае все было наоборот, и если бы кто поинтересовался мнением присутствующей на суде публики, то все без исключения, видя справа красивое и честное лицо господина Сарранти и доброе, чистое и прекрасное лицо аббата Доминика, заявили бы, что следовало бы поменять роли и что убийца был жертвой, а тот, кто выдавал себя за жертву, и был настоящим убийцей. Если бы не было никаких других оснований и доказательств, кроме внешнего вида обоих этих людей, то ошибиться было бы просто невозможно.

Теперь, поскольку мы уже упомянули о том, что господин Сарранти, по бокам которого стояли два жандарма, разговаривал, облокотясь на перила барьера скамьи обвиняемых, с сыном и с адвокатом, мы должны подробно рассказать о постановке этого торжественно-мрачного спектакля.

Мы уже сказали, что слушания по этому делу начались два дня тому назад. Следовательно, заседание, на которое мы попали, было уже третьим по счету. Оно же, возможно, станет и последним.

Расскажем вкратце о том, что происходило во время двух первых заседаний суда.

После выполнения предварительных формальностей был зачитан обвинительный акт, содержание которого мы не станем здесь приводить, а отошлем, кого подобные документы заинтересуют, к газетам тех времен.

Из этого обвинительного акта следовало, что господин Гаэтано Сарранти, отставной военный, уроженец Аяччо, Корсика, сорока восьми лет, кавалер офицерского ордена Почетного легиона, обвинялся в том, что ночью 20 августа 1820 года взломал секретер господина Жерара, украл оттуда триста тысяч франков, убил женщину, находившуюся в услужении у господина Жерара, убил или похитил у господина Жерара двух его племянников, чьих следов или трупов не было найдено.

Наказания за подобные преступления были предусмотрены в статьях 293, 296, 302, 304, 345 и 354 Уголовного кодекса.

После зачтения обвинительного акта, как обычно, был заслушан обвиняемый, который ответил «нет» на все поставленные ему вопросы и не выказал ни малейшего признака волнения. Только на его лице выразилось огорчение, когда он услышал, что дети были убиты или похищены.

Адвокат господина Жерара думал, что поставит господина Сарранти в очень затруднительное положение вопросом, почему тот так поспешно покинул дом, где к нему относились с такой доброжелательностью. Но господин Сарранти просто ответил, что заговор, одним из руководителей которого он тогда являлся, был раскрыт полицией и поэтому он был вынужден по приказу императора срочно выехать к господину Лебатару де Премону, французскому генералу, служившему у Рундже-Сингха.

Затем он рассказал, как, для того, чтобы претворить в жизнь свои планы, он сопровождал вернувшегося в Европу генерала и с его помощью хотел похитить Римского короля из дворца Шенбрун, как побег этот провалился, о чем он узнал с большим сожалением уже после своего ареста.

Таким образом, полностью отвергнув обвинение в краже и убийстве, он признал себя виновным в преступлении против короля и потребовал, чтобы его судил не гражданский, а военный суд.

Но это вовсе не устраивало тех, кто жаждал его гибели. Им хотелось, чтобы господин Сарранти был осужден как подлый вор, гнусный убийца, покусившийся на состояние двух несчастных сирот, а не как политический заговорщик, рисковавший жизнью для того, чтобы заменить одну династию другой и вооруженным путем сменить форму правления.

Председателю суда пришлось прервать объяснения господина Сарранти.

Поскольку эти объяснения вызвали у слушателей симпатию и завоевывали не только расположение публики, но и его, судьи, хотя и помимо его воли.

Затем было заслушано заявление господина Жерара.

Читатели помнят о его первых показаниях, сделанных мэру Вири на следующий день после преступления. На этот раз он повторил их слово в слово. А посему нет смысла приводить их здесь, ибо они уже знакомы нашему читателю.

На первом заседании были заслушаны показания свидетелей. Эти показания, все, как одно, направленные против господина Сарранти, были длинным панегириком господину Жерару, рядом с которым, если верить этим свидетелям, святой Венсан де Поль казался презренным эгоистом.

Первым из свидетелей был заслушан мэр города Вири. Читатель знает этого человека. Поверив в волнение, которое охватило господина Жерара в тот момент, когда он сообщил о случившейся катастрофе, мэр принял испуг преступника за ужас жертвы. Были заслушаны также свидетельства четырех или пяти крестьян, фермеров и владельцев земель в Вири, которые были связаны с господином Жераром только деловыми отношениями по случаю приобре-

тения или продажи земли. Они заявили, что при совершении всех этих сделок господин Жерар вел себя очень честно и неукоснительно соблюдал букву закона.

Были заслушаны также двадцать или двадцать пять свидетелей из Ванвра и Ба-Медона, то есть все те люди, которые с тех пор, когда господин Жерар поселился в их краях, видели от него одни лишь проявления доброжелательности и щедрости.

Те из читателей, кто помнит главу «*Деревенский филантроп*», поймут, какое действие произвели на присяжных рассказы о добрых деяниях достопочтенного господина Жерара и, в частности, о последнем его благодеянии, то есть о том поступке, который едва не стоил ему жизни.

Когда господина Сарранти спросили его мнение о господине Жераре, то он ответил со всей прямоотой военного, что считает господина Жерара человеком честным и полагает, что того, должно быть, ввели в заблуждение какие-то важные обстоятельства и именно поэтому он выдвинул против него, Сарранти, такое серьезное обвинение.

Услышав эти слова, председатель суда спросил у господина Сарранти:

– Тогда скажите нам, чем вы можете доказать свою невиновность и как объясните пропажу ста тысяч экю, убийство мадам Жерар и исчезновение детей?

– Эти сто тысяч экю принадлежали мне, – ответил господин Сарранти, – или, вернее, это были деньги, переданные мне на хранение императором Наполеоном. Они были возвращены мне мсье Жераром собственноручно. Что же касается убийства мадам Жерар и исчезновения детей, то я ничего не могу на это сказать, кроме того, что, когда я покидал замок, то есть в три часа пополудни, мадам Жерар была жива-здоровая, а детишки весело играли на лужайке.

Все это было столь маловероятно, что председатель суда, взглянув на присяжных, увидел, что они единодушно со значением покачали головами.

Что же касается аббата Доминика, то во время слушания дела он походил на человека, больного лихорадкой, которая переходит в бред. Он вставал с места, снова садился, дергал отца за полы плаща, открывал рот, словно желая что-то сказать, затем вдруг испускал стон, вынимал из кармана носовой платок и вытирал им покрытый потом лоб, закрывал лицо ладонями и по нескольку часов сидел так, словно окаменев.

Нечто подобное происходило, кстати, и с господином Жераром, поскольку он – этого присутствующие в зале понять никак не могли – следил глазами вовсе не за Сарранти, а за Домиником.

Когда Доминик вставал, Жерар вскакивал, словно подброшенный пружиной, когда Доминик открывал рот, чтобы что-то сказать, лоб обвинителя покрывался потом и он находился в предобморочном состоянии.

Оба были смертельно бледны.

Пока происходили эти загадочные сцены, тайну которых знали лишь эти два актера, вдруг послышался чей-то хриплый голос, явно диссонировавший с потоком похвал, высказываемых в адрес господина Жерара.

Какой-то восьмидесятилетний старец, бледный, худой, как воскрешенный Лазарь, вызванный в суд в качестве свидетеля обвинения, медленной, но твердой и размеренной поступью, словно статуя командора, приблизился к месту для заслушивания свидетельских показаний.

Это был старый садовник из Вири, дед и прадед многочисленных детишек. Он работал в саду вот уже лет тридцать – сорок и находился в замке, когда произошло это печальное событие. Если помните, то именно его увольнения потребовала Урсула, когда захотела убедиться в своей власти над господином Жераром.

– Я не знаю, кто совершил убийство, – сказал он. – Но я знаю, что убитая женщина была очень злым человеком: она овладела разумом вот этого мужчины, который не был ее мужем, но за которого она очень хотела выйти (и он указал на господина Жерара). Она околдовала

его, она имела над ним безграничную власть. Я уверен в том, что она ненавидела детей и могла заставить этого человека сделать все, что она пожелает.

– У вас есть какие-нибудь факты? – спросил председатель суда.

– Нет, – ответил старик. – Но я слышал сейчас, как расхваливали характер мсье Жерара, и считаю себя обязанным, поскольку за восемьдесят лет я повидал многих людей, так вот я считаю себя обязанным сказать то, что я думаю об этом человеке. Служанка хотела стать хозяйкой. Быть может, ей мешали в этом дети. И я тоже ей мешал!

Пока говорил старик, Доминик явно торжествовал, а господин Жерар был бледен как мертвец. Было слышно, как стучали его зубы.

Это свидетельское показание вызвало большое волнение среди присутствующих.

Председатель суда вынужден был призвать публику к порядку и сказал, отпуская старика:

– Ступайте, дружок. Господа присяжные учтут ваши показания.

Тогда адвокат господина Жерара сказал, что садовник был уволен из-за того, что ввиду его преклонных лет его работа приносила мало проку и что именно Урсула, на которую этот неблагодарный человек так клеветает, вступилась за него.

Старик, который в этот момент направлялся к своей скамье, опираясь одной рукой на палку, а другой на плечо одного из своих многочисленных сыновей, резко остановился, словно его в траве парка укусила за пятку гадюка.

Потом он обернулся и твердым голосом произнес:

– Все, что только что сказал этот господин, правда, кроме неблагодарности, в которой он меня обвиняет. Урсула сначала потребовала, чтобы меня выгнали, и мсье Жерар согласился. Потом она попросила не выгонять меня, и мсье Жерар снова согласился. Служанка захотела испытать свою власть над хозяином, возможно, для того, чтобы использовать ее при более важных обстоятельствах. Спросите у мсье Жерара, так ли все это было.

– Правду ли говорит этот человек, мсье? – обратился с вопросом к Жерару председатель суда.

Жерар собрался уже было ответить, что все это неправда, но когда он поднял голову, то встретился глазами со взглядом садовника.

И, словно ослепленный вспышкой совести, не смог сказать нет.

– Правда! – пробормотал он.

Кроме этого происшествия, все свидетельства, как мы уже и сказали, были в пользу господина Жерара.

Что же касается показаний в пользу господина Сарранти, то обвиняемый не стал прибегать к вызову свидетелей: он считал себя обвиненным в бонапартистском заговоре и рассчитывал понести наказание только за это. А посему не считал нужным обращаться к помощи свидетелей защиты.

Но процесс внезапно принял совсем другой оборот, и господин Сарранти оказался перед лицом ограбления, двойного похищения и убийства. Обвинение показалось ему столь нелепым, что он подумал, что обвинение само признает его невиновность.

Но он очень поздно понял, что попал в ловушку, а когда понял, то решил, что для отвода обвинения в краже, двойном похищении и убийстве не станет вызывать никаких свидетелей. По его мнению, достаточно было все отрицать.

Но мало-помалу в ту щелку, которую он оставил открытой в своей защите, сначала прокралось подозрение, потом вероятность, затем уже, если не в умах присутствующих, то уж в мозгу присяжных точно, почти уверенность в его виновности.

Господин Сарранти напоминал теперь человека, увлекаемого в пропасть: он ее видел и чувствовал опасность. Но было слишком поздно! Ему не за что было зацепиться, чтобы остановить свой бег. Он уже не мог не свалиться. Пропасть была глубокой, ужасной и постыдной: там ему суждено было потерять не только жизнь, но и честь.

И все же Доминик постоянно шептал ему на ухо:

– Мужайтесь, отец! Я знаю, что вы невинны!

В работе суда настал момент, когда дело достаточно прояснилось благодаря свидетельским показаниям, и теперь следовало дать слово адвокатам.

Первым выступил адвокат истца.

Не знаю, видело ли, понимало ли, догадывалось ли законодательство, решая, что вместо того, чтобы стороны выступали сами, они могут прибегнуть к помощи третьих лиц, что наряду с теми преимуществами, которые оно получало, прибегая к обвинению или защите по поручительству, до какой бесчестности, нахальства и нечистоплотности оно может довести этим самым человека.

Ведь во Дворце правосудия защищают и самых гнусных преступников. И адвокаты преступников прекрасно знают, что защищают они неправую сторону. Но взгляните-ка на них, послушайте их и понаблюдайте за ними: разве их голоса, их жесты, их риторика не говорят вам, что они убеждены в невинности своих клиентов?

Так какова же цель их ложной уверенности? Я не желаю слышать о деньгах, о гонорах, о заработках. Какова причина этой ложной, показной убежденности, которую они напускают на себя и в которой стараются убедить других?

Разве не для того, чтобы спасти виновного и приговорить невинного?

И разве закон, вместо того, чтобы покрывать это искажение людской совести, не должен наказывать этих людей?

Может быть, кто-то возразит, что адвокат подобен врачу. Врача вызывают для того, чтобы лечить убийцу, который, совершая свои преступления, получил удар ножом или пулю. Его вызывают также для того, чтобы вылечить приговоренного, который, признавшись в совершенном преступлении, предпринял попытку самоубийства. Врач прибывает и видит, что раненый – почти труп и что лучше всего будет оставить все как есть: ранение само тихо и незаметно приведет к смерти этого человека. Но врач считает себя обязанным сделать совсем другое. Врач – сторонник жизни и противник смерти.

Всюду, где есть жизнь, врач старается ее поддержать. Встречая смерть, он пытается ее победить.

Он появляется в тот момент, когда убийца или по крайней мере осужденный умирает, когда смерть уже простерла руку для того, чтобы забрать приговоренного или убийцу. Но кем бы ни был умирающий, врач приходит к нему на помощь. Он бросает перчатку своей науки смерти и говорит ей: «Поборемся!»

Начиная с этого момента начинается схватка врача со смертью. И понемногу смерть отступает. Потом она покидает арену борьбы, и врач остается хозяином поля битвы: приговоренный, решивший покончить с собой, убийца, получивший рану, спасены! Да, спасены, но лишь для того, чтобы попасть в руки людского правосудия, которое после этого подвергает их наказанию или казни точно так же, как врач работал над их спасением.

Кто-то скажет, что и адвокат тоже помогает спасению: к нему в руки попадает виновный, то есть тяжелораненый человек, а адвокат делает его невинным, то есть человеком, у которого со здоровьем все прекрасно.

Но пусть тот, кто скажет такое, не забывает одного: врач, давая жизнь больному, не отнимает ее у другого человека. А адвокат зачастую отнимает жизнь у невинного человека, чтобы отдать ее виновному.

Так было и в этих ужасных обстоятельствах, когда столкнулись лицом к лицу господин Жерар и господин Сарранти.

Вполне возможно, что адвокат господина Жерара и верил в невинность своего подзащитного. Но нет сомнения в том, что он не верил в виновность господина Сарранти.

Однако данное обстоятельство ничуть не мешало этому человеку заставить других поверить в то, во что он сам не верил.

В своем напыщенном выступлении он использовал все известные ораторские приемы, все те избитые фразы, которые газеты того времени направляли против бонапартистов. Он провел параллель между королем Карлом X и узурпатором. Он угостил присяжных всеми теми закусками, которые должны были возбудить их аппетит перед тем, как они приступят к основному блюду. А этим блюдом был господин Сарранти, один из тех заговорщиков, которые сеют ужас, один из тех чудовищ, которых ненавидит общество, один из тех преступников, которые способны совершать самые гнусные злодеяния, чьей показательной смерти требуют все современники, возмущенные, что вынуждены дышать одним с ним воздухом!

Таким образом, не произнеся этого ужасного слова, он подвел всех к мысли о необходимости вынесения *смертного приговора*.

Но следует признать, что, когда он сел на место, в зале стояла мертвая тишина.

Это молчание присутствующих, это явное неодобрение массы должны были наполнить сердце адвоката досточтимого господина Жерара злобой и стыдом. Никто ему даже не улыбнулся, не поздравил с блестящим выступлением, никто не пожал руку. Когда он закончил свою обвинительную речь, то почувствовал, что вокруг него образовалась пустота.

Вытирая платком свой вспотевший лоб, он стал с беспокойством ждать выступления адвоката противной стороны.

Защиту господина Сарранти вел молодой адвокат, принадлежавший к республиканской партии. Свою карьеру в адвокатуре он начал немногим более года тому назад, и его первые дела были проведены с большим блеском.

Он был сыном одного из самых знаменитых французских ученых, и звали его Эммануэль Ришар.

Господин Сарранти был дружен с его отцом, и когда молодой человек предложил свои услуги, господин Сарранти согласился.

Молодой человек поднялся, положил на скамью шапочку, откинул назад свои густые черные волосы и, побледнев от волнения, начал говорить.

Когда присутствующие увидели, что он готов произнести свою речь, в зале наступила тишина.

– Господа, – произнес он, обращаясь к присяжным заседателям, – не удивляйтесь тому, что мои первые слова будут криком возмущения и боли. Начиная с того момента, когда я увидел разрастание этого чудовищного обвинения, которое, я надеюсь, закончится только выкидышем и на которое мсье Сарранти запретил мне отвечать, я едва сдерживаюсь, а мое раненое сердце кровоточит и стонет в моей груди.

Ибо я присутствую на ужасном зрелище.

Уважаемый и достойный почитания человек, старый солдат, который проливал свою кровь на всех полях сражений и наших великих побед за того, кто был одновременно и его земляком, и его повелителем, и его другом, человек, чье сердце не запятнано ни единым дурным помыслом, чьи руки не запачканы ни единым постыдным деянием, этот человек явился сюда с высоко поднятой головой для того, чтобы ответить на обвинения, которые иногда приносят славу тому, кому они предъявлены. Этот человек пришел, чтобы сказать: «Да, я рисковал своей головой, участвуя в великих заговорах, которые свергают троны, меняют династии, рушат империи. Но я проиграл, судите меня за это!» Но ему говорят: «Замолчите! Никакой вы не заговорщик! Вы – вор, похититель детей, убийца!»

Ах, господа, согласитесь, что надо быть очень сильным человеком, чтобы оставаться с гордо поднятой головой перед лицом обвинения в тройном преступлении. И мы сильны! Поскольку на эти абсурдные обвинения мы отвечаем откровенно и просто: «Будь мы такими, как вы хотите нас представить, человек с орлиным взором и извергающими пламя глазами,

умевший так хорошо читать сердца людей, никогда не пожал бы нам руку, не назвал бы нас своим другом и не сказал бы: „Иди!..”».

– Простите, мэтр Эммануэль Ришар, – произнес председатель суда. – О каком человеке вы говорите?

– Я говорю о Его Величестве Наполеоне I, коронованном в 1804 году в Париже императором Франции, провозглашенном в 1805 году в Милане королем Италии и умершем 5 мая 1821 года в заключении на острове Святой Елены, – громко и внятно произнес молодой адвокат.

Невозможно описать ту странную дрожь, которая прошла по залу.

В то время Наполеона называли не иначе, как узурпатором, тираном, корсиканским людоедом, и вот уже тринадцать лет, то есть со дня его падения, никто, уверяю вас, даже в разговоре с самыми близкими друзьями не смел вслух произнести то, что Эммануэль Ришар произнес только что перед судьями, присяжными заседателями и публикой.

Жандармы, сидевшие слева и справа от господина Сарранти, встали и вопросительно посмотрели на председателя суда, как бы спрашивая, что им делать и не арестовать ли немедленно отважного адвоката.

Его спасла именно эта неожиданная отвага: суд хранил молчание.

Господин Сарранти схватил молодого человека за руку.

– Довольно, – сказал он. – Хватит! Во имя вашего отца, не подвергайте себя риску!

– Во имя вашего и моего отца, продолжайте! – воскликнул Доминик.

– Вы видели, господа, – снова заговорил Эммануэль, – процессы, на которых обвиняемые отводили свидетелей, отрицали неоспоримые факты, боролись за жизнь с королевским прокурором. Это происходит довольно часто, почти всегда... Так вот, господа, мы приготовили для вас еще более любопытный спектакль.

Мы только что сказали:

Да, мы виновны, и вот вам доказательства этого. Да, мы принимали участие в заговоре, угрожавшем безопасности и правопорядку государства, и вот вам доказательства этого. Да, мы хотели изменить форму правления, и вот доказательства. Да, мы организовали заговор против короля и его семьи, вот доказательства. Да, мы совершили преступление против короля, вот доказательства. Да, да, мы заслужили наказание за отцеубийство, вот доказательства этому. Да, мы требуем, чтобы нам разрешили взойти на эшафот босыми и с черной вуалью на голове, поскольку это наше право, наша воля, наше последнее желание...

Изо всех уст вырвался крик ужаса.

– Молчите! Молчите! – закричали со всех сторон молодому фанатику. – Вы погубите его!

– Говорите! Говорите! – воскликнул Сарранти. – Я хочу, чтобы меня защищали именно так!

Зал взорвался аплодисментами.

– Жандармы, очистите зал от публики! – крикнул председатель суда.

Затем, обернувшись к адвокату, произнес:

– Мэтр Эммануэль Ришар, я лишаю вас слова!

– Это теперь не имеет никакого значения, – ответил адвокат. – Я выполнил данное мне поручение. И сказал то, что хотел сказать.

И, повернувшись к господину Сарранти, добавил:

– Вы удовлетворены, мсье? Я правильно повторил ваши слова?

Вместо ответа господин Сарранти заключил своего защитника в объятия.

Жандармы бросились было исполнять приказание председателя суда, но по толпе пробежал такой рев недовольства, что председатель понял: он поставил перед жандармами не только невыполнимую, но и опасную задачу. Ибо могли возникнуть беспорядки, во время которых господин Сарранти мог быть похищен.

Один из членов суда, склонясь к председателю, что-то шепнул тому на ухо.

– Жандармы, вернитесь на место. – произнес председатель. – Суд призывает аудиторию к соблюдению порядка.

– Тихо! – раздался чей-то голос в толпе.

И толпа, словно привыкшая повиноваться этому голосу, смолкла.

Теперь вопрос стоял однозначно: с одной стороны, был заговор, основанный на вере в империю, на верности принесенной ей присяге, что являлось не то чтобы щитом, а венцом самого преступления. С другой стороны – правительство, решившее сделать из господина Сарранти не государственного преступника, не участника заговора против короля, а уголовного, виновного в краже ста тысяч экю, в похищении детей и в убийстве Урсулы.

Защищаться против этих обвинений значило бы согласиться с ними. Опровергать их одно за другим означало бы допустить то, что они имели под собой почву.

Эммануэль Ришар по требованию господина Сарранти не стал даже ни единым словом отвечать на это тройное обвинение королевского прокурора. Он предоставил публике самой оценить эту необычную ситуацию, когда обвиняемый признался в совершении того преступления, которое ему не вменялось в вину и которое не только не могло облегчить его участь, но и грозило отяготить наказание за то, в чем его обвиняли.

И публика вынесла свой приговор.

При любых других обстоятельствах после заслушивания защитника заседание обычно прерывается для того, чтобы дать возможность отдохнуть судьям и присяжным заседателям. Но после того, что произошло в зале, всякое промедление было опасно, и министерство юстиции решило, что лучше бы поскорее покончить с этим делом, которое грозило перерасти в бурю.

Поэтому королевский прокурор, поднявшись в тишине, которая обычно бывает на море между двумя шквалами, попросил слова.

С первых же его фраз всем присутствующим стало ясно, что дело пытались низвести с острых поэтических высот политического Синая в бездну уголовного процесса.

Словно бы и не было ужасного по своей смелости выступления адвоката господина Сарранти, словно бы тот полузабытый отвагой титан и не покачнул трон Юпитера в Тюильри, словно бы и не были ослеплены все присутствующие молниями взгляда императорского орла, пролетевшего над толпой и воспламенившего сердца людей. Королевский прокурор сказал:

– Господа. На протяжении нескольких месяцев внимание общественности было приковано к тем нескольким преступлениям, которыми активно и пристально занималось судопроизводство. Преступлений этих, являвшихся порождением чрезмерной концентрации растущего населения и, возможно, закрытия некоторых предприятий, а также роста цен на продовольственные товары, не было больше, чем обычно, они являются данью, и ее вынуждено общество платить порокам и праздности, требующим, подобно древнему Минотавру, определенное число жертв!

Было ясно, что королевский прокурор, говоря это, очень рассчитывал произвести на публику определенный эффект, поскольку, произнеся это, он сделал паузу и окинул глазами это людское море, которое было тем более бурным на глубине, чем спокойнее казалось на поверхности.

Публика оставалась бесстрастной.

– Итак, господа, – продолжал королевский прокурор, – отвага некоторых обвиняемых открыла им путь для новой карьеры, к которой мы еще не привыкли. Она беспокоит нас своей новизной и смелостью поступков. Но я должен с радостью признаться, господа, что то зло, с каким мы вынуждены бороться, не столь уж велико, как думают некоторые. Просто кому-то нравятся преувеличения. Распространяются тысячи заведомо ложных слухов, источником и причиной которых является недоброжелательность. Едва родившись, эти слухи с жадностью

подхватываются, и с каждым днем рассказы о так называемых ночных преступлениях вселяют ужас в души людей легковверных, охлаждают доверчивые головы.

Присутствующие на суде люди начали недоуменно переглядываться, не понимая, куда клонит королевский прокурор. И только завсегдатаи судебной палаты, кто ходит туда, чтобы найти там то, чего им не хватает зимой, то есть накаленную обстановку и зрелище, которое перестает быть для них чем-то новым, а становится привычкой и даже потребностью, только те завсегдатаи, привыкшие уже к фразеологии господ Берара и де Маршанжи, не волновались по поводу того, что пока было неясно, к чему же подводит дело королевский прокурор. Они-то знали, что не зря пословица гласит: «Все пути ведут в Рим», поскольку при определенном правительстве и в определенную эпоху ее можно перефразировать на манер Дворца правосудия: «Все пути ведут к смертной казни».

Королевский прокурор продолжал, сделав величественный и покровительственный жест:

– Успокойтесь, господа, криминальная полиция стоглава, как Аргус. Она бдит, она найдет современных Какусов в самых потайных местах, достанет их из самых глубоких нор. Для нее нет ничего невозможного, а судьи отвечают на гнусную клевету тем, что как никогда рьяно исполняют свой долг.

Да, мы не станем отрицать того, что у нас были совершены ужасные злодеяния. Но мы, как твердая длань закона, сами потребовали самых различных наказаний за эти совершенные преступления. Ибо никто, господа, смею вас в этом уверить, не сможет избежать карающего меча закона. И пусть общество не волнуется: самые отчаянные возмутители спокойствия уже находятся в руках правосудия, а те, кто еще гуляет на свободе, вскоре тоже получают по заслугам за совершенные ими преступления.

Поэтому те, кто, спрятавшись у канала Сен-Мартен, превратил его окрестности в арену своих ночных нападений и сидит теперь за решеткой, напрасно стараются отрицать улики, которые собрало против них следствие.

Испанец господин Феррантес, грек господин Аристолос, баварец господин Вальтер, овернец господин Кокерилья были арестованы позавчера ночью. И хотя ничто не выдавало их присутствия, ничто не смогло и не сможет укрыть их от зорких глаз правосудия. Истина и правопорядок уже сумели вырвать признания из их перепуганных душонок...

Публика в зале суда продолжала недоуменно переглядываться и задавать себе вопрос, какое отношение господин Феррантес, господин Аристолос, господин Вальтер и господин Кокерилья могли иметь к господину Сарранти.

Но завсегдатаи продолжали кивать головой с видом, который говорил: «Увидите, скоро всё увидите!»

Королевский прокурор продолжал:

– Ужас и возмущение общественности вызвали и еще три преступления, совершенные злодейской рукой. Один труп был найден около Лабриша: это труп бедного солдата, отпущенного на побывку домой. В то же самое время от ударов, полученных на полях Вильеты, умер молодой рабочий. И, наконец, спустя несколько дней после этого на дороге из Парижа в Сен-Жермен был убит каретник из Пуасси.

Прошло совсем немного времени, господа, и рука правосудия настигла людей, совершивших эти преступления, почти у границ Франции.

Но слухи только этим не ограничились: говорилось о сотне других преступлений. То какой-то несчастный был зарезан ножом на улице Карла X, то позади Люксембургского сада нашли окровавленного кучера, то на улице Кадран было совершено грязное надругательство над какой-то несчастной женщиной, то на почтовую карету было совершено два дня тому назад вооруженное нападение с целью ограбления слишком нам всем известным Жибасье, чье имя уже неоднократно звучало в этом зале и вы должны были его слышать.

Так вот, господа: в то время, когда кто-то старается таким путем взбудоражить граждан, уголовная полиция констатировала, что несчастный на улице Карла X умер от кровоизлияния в легкие, что кучера хватил апоплексический удар и его лошади протащили его тело по мостовой, что эта несчастная женщина, чья судьба вызвала такой трогательный интерес, просто-напросто сама нарвалась на скандал. Что же касается печально известного Жибасье, то я, господа, предоставляя вам бесспорное доказательство того, что он не совершал приписываемого ему преступления, даю вам возможность самим оценить, насколько лживы эти гнусные сплетни.

Услышав о том, что Жибасье ограбил почтовую карету между Ангулемом и Пуатье, я пригласил к себе мсье Жакаля.

Мсье Жакаль заверил меня в том, что Жибасье находится в Тулоне, где отбывает наказание под номером 171, и его раскаяние так искренне, что власти в настоящее время хлопочут перед Его Величеством Карлом X о досрочном освобождении Жибасье с каторги, где ему осталось находиться еще семь или восемь лет.

Приведя этот пример, который избавляет меня от опровержения других слухов, вы можете сами судить, господа, насколько грубыми выдумками пользуются те, кто хочет держать в состоянии страха и неуверенности умы людей.

Выразим же, господа, сожаление по поводу того, что в народе ходят еще подобные слухи, и пусть же те беды, которые выдумывают недоброжелатели, падут на головы тех, кто эти слухи распространяет!

Говорят, что общественное спокойствие нарушено, что люди в страхе, закрывшись дома, ждут наступления ночи. Что иностранцы уехали из города, где совершается столько преступлений. Что торговля пришла в упадок и разорение!

Но, господа, что вы скажете по поводу того, что злобность этих людей, скрывающих свои бонапартистские или республиканские взгляды под маской либерализма, является единственным источником бед, причиненных этими лживыми слухами?

Вы возмутитесь, не правда ли?

Но эти же самые люди породили своими происками и другое зло. Они, говоря, что заботятся об обществе, угрожают его существованию, распространяя ежедневно слухи о том, что преступники остаются безнаказанными, что некомпетентные и недобросовестные судейские позволяют преступникам гулять на свободе.

И получается, таким образом, что некий Сарранти, чью судьбу вам сейчас предстоит решить, осмеливается хвалиться тем, что целых семь лет смог избегать карающей десницы правосудия.

Господа, правосудие хромо, оно продвигается медленно, говорил Гораций. Пусть так! Но оно неотвратимо.

Итак, человек – я говорю о сидящем здесь преступнике – совершает три преступления сразу: ограбление, похищение детей и убийство. Он покидает родину, уезжает из Европы за моря и прячется на краю земли. Он просит власти другого государства, одного из королевств, потерянных в глубине Индии, принять его в качестве королевского гостя. Но и другой континент, другое королевство не принимают его. Индия говорит ему: «Зачем ты, преступник, хочешь спрятаться среди моих честных сыновей? Убирайся отсюда! Прочь! Retro, satanas! Изыди, сатана!»...

Раздались взрывы смеха, который до сих пор присутствующие едва сдерживали в груди. Этот смех смутил присяжных заседателей.

А королевский прокурор, который или не понял смеха толпы, или, напротив, слишком хорошо понял его причины, решив отринуть этот смех или обратить себе на пользу, воскликнул:

– Господа! Реакция публики мне хорошо понятна. Это презрительное осуждение толпой преступника и самое суровое обвинение, которое вынесено ему этой презрительной улыбкой...

Такое толкование реакции аудитории вызвало ропот присутствующих в зале.

– Господа, – обратился к зрителям председатель суда, – прошу вас помнить о том, что вы прежде всего обязаны хранить молчание.

Публика, очень уважавшая непредвзятое поведение председателя суда, вняла его предупреждению, и в зале снова воцарилась тишина.

Господин Сарранти с улыбкой на губах, высоко держа голову и сохраняя полнейшее спокойствие, держал в руке ладонь красивого монаха. А тот, уже почтительно смирившись с приговором, который неизбежно вынесут его отцу, чем-то напоминал одного из тех святых Себастьянов, которых изображали испанские художники и чье пробитое стрелами тело дышало божественным спокойствием и ангельским смирением.

Мы не станем больше слушать речь королевского прокурора, а скажем только, что он затем так долго, как только мог, снова изложил содержание обвинений свидетелей господина Жерара, используя при этом все избитые обороты, все перлы классической риторики, которые когда-либо раздавались в стенах Дворца правосудия. Закончил он свою обвинительную речь требованием применить к обвиняемому статьи 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.

По толпе пробежал шепот огорчения и страха. Волнение достигло своего апогея.

Председатель суда обратился к господину Сарранти:

– Обвиняемый, вы хотите что-нибудь сказать в свое оправдание?

– Мне так омерзительны выдвинутые против меня обвинения, что я даже не стану говорить, что я невиновен, – ответил господин Сарранти.

– А вы, мэтр Эммануэль Ришар, хотите ли вы сказать что-нибудь в защиту вашего клиента?

– Нет, мсье, – ответил адвокат.

– В таком случае слушание дела прекращается, – объявил председатель суда.

По присутствующим в зале прокатилась волна интереса, потом воцарилась тишина.

Только выступление председателя суда с подведением итогов заседания отделяло обвиняемого от вынесения вердикта. Было уже четыре часа утра. Все понимали, что последнее выступление председателя суда будет кратким, а потому, как уважаемый председатель вел слушание дела, выступление будет и беспристрастным.

И поэтому, едва он начал говорить, как судебные приставы оказались избавленными от необходимости призывать толпу к порядку и вниманию: толпа сама умолкла.

– Господа присяжные заседатели, – сказал председатель суда голосом, который, несмотря на все усилия, выдавал волнение, – я прекратил слушание дела, продолжительное рассмотрение которого было трудным для вашего сердца и утомительным для вашего разума.

Утомительным для разума оно было потому, что длилось более шестидесяти часов.

Трудным для сердца оно стало потому, что любой человек почувствовал бы волнение, видя перед собой в качестве истца старика, являющегося образцом добродетели и милосердия, украшением своих сограждан, а перед ним обвиненный в тройном преступлении человек, чье воспитание позволяло сделать приличную и даже блестящую карьеру, человек, отмечающий своим голосом и голосом достопочтенного священнослужителя, являющегося его сыном, это тройное обвинение, которое против него выдвинуто.

Вы, господа присяжные заседатели, как и я сам, все еще находитесь под впечатлением только что выслушанных выступлений представителей обеих сторон. Мы должны поэтому сделать над собой усилие, заглянуть себе в душу, успокоиться в этот ответственный момент и хладнокровно оценить все то, что вы слышали здесь.

Это вступление вызвало глубокое волнение в душах зрителей. Притихшая и напряженно дышащая толпа в нетерпении ждала анализа хода заседаний со стороны председателя суда.

Добросовестно и тщательно проанализировав все доводы обвинения и указав на то, что нежелание защищаться мало чем помогло обвиняемому, почтенный судья закончил свою речь такими словами:

– Я только что изложил вам, господа присяжные заседатели, скрупулезно и быстро, как смог, все обстоятельства этого дела. Теперь дело за вами. Со свойственной вам прозорливостью и мудростью вы должны определить, кто прав, кто виноват, и вынести свое решение.

А пока вы будете заниматься этим, ваши души будут содрогаться от тех глубоких и сильных переживаний, которым подвержено сердце честного человека в тот момент, когда ему предстоит решать участь себе подобного и объявить ужасную истину. Но у вас должно хватить ясности ума и храбрости. Каковым бы ни было ваше решение, оно будет считаться беспристрастным. Особенно когда руководствоваться при принятии решения вы будете одним: совестью!

Именно с верой в вашу совесть, о которую разбиваются все страсти – поскольку она глуха к словам, глуха к дружеским чувствам, глуха к ненависти, – закон доверяет вам исполнение ваших очень серьезных обязанностей, общество облекает вас своими полномочиями, доверяя вам защищать самые важные и дорогие ему интересы. Пусть же семьи, которые верят в вас, как в Бога, встанут под вашу защиту, пусть обвиняемые, чувствуя себя невиновными, с полной уверенностью вручат вам свои жизни и безоговорочно отдадут себя на ваш суд.

Это выступление, четкое, точное и краткое, несшее на себе с первого до последнего его слова печать честности и непредвзятости, было выслушано с благоговейным вниманием.

Едва председатель суда закончил говорить, как все присутствующие в едином порыве встали со своих мест и зааплодировали. Даже адвокаты не смогли удержаться от того, чтобы не присоединиться к зрителям.

Господин Жерар выслушал председателя суда со смертельно побледневшим лицом: он почувствовал, что в душе этого справедливого человека, который только что закончил говорить, было не обвинение, а сомнение.

Около четырех часов утра присяжные заседатели удалились в комнату для совещания.

Обвиняемого тоже увели. Но случилось то, что не было отмечено в судебных анналах: никто из присутствующих в зале и не подумал покинуть свое место, хотя заседание суда длилось с десяти часов утра и было неизвестно, сколько времени понадобится присяжным для вынесения своего вердикта.

И, начиная с этого момента, в зале началось многоголосое и оживленное обсуждение всех подробностей слушания дела, а сердца всех присутствующих охватила тревога.

Господин Жерар попросил разрешения покинуть зал заседания. Сил у него хватило только для того, чтобы услышать, как прокурор потребует смертной казни. Но он не мог и не хотел слушать, как будет вынесен этот приговор.

Он поднялся, чтобы выйти.

Толпа, как мы уже сказали, была очень плотной, но, несмотря на это, люди немедленно расступились, чтобы дать ему дорогу: каждый старался отойти в сторону, чтобы освободить проход этому человеку, словно это был какой-то гнусный и ядовитый зверь. Самый оборванный, самый бедный, самый грязный из присутствующих не желал запачкаться об него.

В половине пятого раздался звонок.

При его звуке по залу пробежала дрожь, которая немедленно передалась и тем, кто был вне его стен. И сразу же, подобно нарастающей волне, зал набился людьми, все поспешили занять свои места. Но волнение оказалось напрасным: председатель присяжных попросил принести протокол заседания суда.

А тем временем первые лучи беловато-серого дня, пробившись через стекла окон, начали приглушать сияние свечей и фонарей. В этот час самые могучие организмы начинают испы-

тивать усталость, самые веселые умы понимают, что такое грусть, самые разгоряченные начинают мерзнуть.

Около шести часов утра снова раздался звонок.

На сей раз ошибки быть не могло: после двух часов обсуждения присяжные вынесли вердикт о помиловании или о смертной казни.

По толпе словно бы прошел электрический разряд, со стороны очень заметный. В зале, еще секунду назад таком шумном и возбужденном, мгновенно воцарилась тишина.

Открылась дверь, ведущая в комнату для совещания присяжных, и в зал вошли заседатели. Каждый из присутствующих начал стараться прочесть на их лицах то решение, которое было принято. Лица некоторых из присяжных действительно выражали глубокое волнение.

Через несколько минут в зал вошли члены суда.

Председатель присяжных заседателей сделал шаг вперед и, приложив руку к груди, слабым голосом огласил вердикт.

Присяжным было поставлено пять вопросов.

Сформулированы они были следующим образом:

1. Виновен ли господин Сарранти в умышленном убийстве Урсулы?
2. Совершил ли он перед убийством два других преступления?
3. Имел ли он намерение подготовить и облегчить себе совершение этих преступлений?
4. Совершил ли господин Сарранти днем 19 или в ночь с 19 на 20 августа кражу со взломом в доме Жерара?
5. Похищал ли он двух племянников одного Жерара?

После оглашения вопросов была сделана небольшая пауза.

Никакое перо не в состоянии описать наивысшую степень тревоги, которая охватила за это быстро, словно мысль, пролетевшее время, оно, однако, показалось вечностью аббату Доминику, оставшемуся вместе с адвокатом стоять рядом с пустующей скамьей подсудимых.

Председатель присяжных произнес следующие слова:

– Отвечая за все моей честью и совестью перед Богом и людьми, объявляю, что присяжные постановили ответить «Да» на все поставленные им вопросы. Обвиняемый виновен!

Глаза всех присутствующих устремились на Доминика: он стоял, как и все в зале.

В сером свете нарождающегося дня было видно, как его лицо стало смертельно бледным. Закрыв глаза, он ухватился за перила, чтобы не упасть.

Все присутствующие испустили горестный вздох.

Был дан приказ ввести обвиняемого.

Все взоры обратились на дверь.

В зале появился господин Сарранти.

Доминик, протянув к нему руку, сказал только:

– Отец!..

Господин Сарранти выслушал решение присяжных точно так же, как слушал обвинения, не подавая ни единого признака волнения.

Доминик же, менее бесстрастный, испустив нечто похожее на стон, взглянул горящим взором на то место, где должен был сидеть Жерар, нервным движением достал спрятанный на груди свиток, а потом, сделав сверхчеловеческое усилие, запихнул его обратно.

За это короткое мгновение, вместившее в себя столько различных чувств, королевский прокурор осипшим голосом, чего никак нельзя было ожидать от человека, который настаивал на столь серьезном наказании, потребовал применить к господину Сарранти статьи 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.

Суд удалился на совещание.

Тут по залу пронесся слух о том, что господин Сарранти опоздал на оглашение ему смертного приговора только потому, что он во время совещания присяжных просто-напросто крепко

заснул. Одновременно по залу пошли разговоры о том, что вердикт о признании его виновным был принят не единогласно.

После пяти минут совещания суд вернулся в зал заседаний, и председатель с волнением произнес глухим голосом постановление о приговоре господина Сарранти к смертной казни.

Затем, повернувшись к самому господину Сарранти, выслушавшему приговор со спокойствием и бесстрашием, сказал:

– Обвиняемый Сарранти, у вас есть три дня для того, чтобы подать кассационную жалобу. Сарранти поклонился.

– Спасибо, господин председатель, – сказал он. – Но я не собираюсь обжаловать решение суда.

Эти слова, казалось, вывели Доминика из оцепенения.

– Да, да, господа! – воскликнул он. – Мой отец подаст кассацию, поскольку он невиновен!

– Мсье, – сказал на это председатель суда. – Закон запрещает произносить подобные слова, поскольку приговор уже вынесен.

– Закон запрещает это защитнику обвиняемого, господин председатель! – воскликнул Эммануэль. – Но не его сыну! Пусть будет проклят тот сын, который перестанет верить в невиновность своего отца!

Председатель, казалось, готов был упасть в обморок.

– Мсье, – обратился он к Сарранти, называя его по всем правилам вежливости, – нет ли у вас каких-нибудь просьб к суду?

– Я прошу дать моему сыну разрешение свободно навещать меня, поскольку надеюсь, что он будет тем священником, который подготовит меня и проводит на эшафот.

– О, отец, отец! – воскликнул Доминик. – Клянусь вам, что вы на эшафот не взойдете!

А потом тихо добавил:

– Если кто туда и поднимется, то это буду я!

Глава XXIV

Влюбленные с улицы Макон

Мы видели, какое действие произвело оглашение приговора на тех, кто находился в зале суда. Не меньший эффект приговор произвел и вне его стен.

Едва председателем суда были произнесены слова «Приговаривается к смертной казни», как, начиная с зала заседаний суда и до площади Шатле из тысяч грудей вырвался протяжный стон, громкий крик ужаса, который заставил поежиться всех зрителей. Это было похоже на то, как звон набатного колокола, висевшего до Революции на квадратной башне Курантов, совпал с ударом колокола церкви Сен-Жермен-л'Оксерруа в ту памятную ночь 24 августа 1572 года. Это словно было сигналом к резне в новую Варфоломеевскую ночь.

И вся толпа в угрюмом молчании и тоске стала медленно и неохотно расходиться, унося в сердце ужас от только что вынесенного судом чудовищного приговора.

Если бы кто-нибудь, не зная, что происходит, увидел эту погрузневшую толпу людей, если бы он присутствовал при том, как она молча и тихо покидала площади и улицы, он не нашел бы этому другого объяснения, решив, что произошла ужасная катастрофа, что-то вроде извержения вулкана, возникновения эпидемии чумы или слухов о начале гражданской войны.

Но у того, кто всю ночь присутствовал при слушании этого страшного дела, у того, кто, находясь в зале суда при дрожащем сиянии свечей и ламп, дождался наступления утра и услышал, как был вынесен смертный приговор, а после того, как недовольная толпа разошлась, тут же без промедления перенесся бы в уютное гнездышко, где проживали Сальватор и Фрагола, появилось бы нежное чувство, похожее на то, которое приносит дуновение свежего утреннего майского ветерка гуляке, пропьянствовавшему всю ночь напролет.

Он увидел бы вначале маленькую столовую с четырьмя панно, воспроизводящими убранство Помпеи, затем Сальватора и Фраголу, сидящих по обе стороны лакированного стола, на котором стоит баснословно дорогой чайный сервиз из тончайшего белого фарфора.

С первого же взгляда он распознал бы в них влюбленных, точнее любовников, а если еще точнее, двух любящих друг друга существ.

Но, приглядевшись, понял бы, что если не ссора – ибо ссора исключалась полностью судя по тому, как эта очаровательная девушка смотрела на молодого человека, – то какая-то забота и грусть охватили ум и сердце их обоих.

На простодушном личике Фраголы, напоминавшем весенний цветок, открывшийся под апрельским солнцем, наряду с тем благоговейным и нежным взглядом, который был устремлен на возлюбленного, читалось такое глубокое волнение, что оно походило на боль. А сидевший напротив Сальватор был погружен в такую глубокую скорбь, что даже и не думал утешать девушку.

И, однако, эта грусть их обоих была совершенно естественной.

Сальватор, который не был дома всю ночь, вернулся всего лишь полчаса тому назад. Он рассказал девушке со всеми волнующими подробностями обо всем, что случилось за ночь: и про появление Камила де Розена у госпожи де Моранд, и про обморок Кармелиты, и про смертный приговор, вынесенный господину Сарранти.

Во время этого печального рассказа сердечко Фраголы не раз сжималось от боли и тоски: таким печальным было все то, что происходило и в позолоченных гостиных банкира, и в мрачном зале суда. Потому что, если тело господина Сарранти было приговорено к смерти приговором председателя суда, то разве сердце Кармелиты не было тоже приговорено к смерти гибелью Колумбана?

Уронив голову на грудь, она задумалась.

Он тоже ушел в раздумья, подперев щеки ладонями. Перед ним открывались широкие горизонты мысли.

Он вспомнил о той ночи, когда они с Роландом перелезли через стену замка Вири. Он вспомнил о том, как собака понеслась через лужайки и лес и привела его к подножию дуба. Он вспомнил, наконец, и о том упорстве, с которым пес рыл землю, о том ужасном ощущении, которое его охватило, когда он своими сведенными пальцами коснулся шелковистых детских волос.

Какая связь была между этим зарытым под дубом детским трупом и делом господина Сарранти? Не обернется ли эта улика против него, вместо того, чтобы помочь ему?.. Да и потом, не обвинят ли во всем Мину?

О, если бы Господь снизошел до того, чтобы просветить разум Сальватора!..

Может быть, даже и через Рождественскую Розу...

Но не убьет ли этого впечатлительного ребенка воспоминание о столь кровавом эпизоде из ее детства?

Кстати, а кто же это ему самому дал приказ рыться во всех этих туманных глубинах?

Но, однако, не зря же он взял себе имя Сальватор, и разве не сам Господь вложил ему в руку путеводную нить, с помощью которой он мог бы разобраться во всем этом лабиринте преступлений?

Итак, он отправится к Доминику. Разве он не обязан жизнью этому священнику? И расскажет ему все эти отрывки истины, которые озарят его, словно вспышки молнии.

Приняв это решение, он уже поднялся, чтобы немедленно приступить к его исполнению. Но тут внезапно раздался звон бронзового колокольчика над дверью.

Услышав этот звук, лежащий у ног хозяина Роланд лениво поднял свою умную голову, потом встал.

– Кто пришел, Роланд? – спросил Сальватор. – Друг или враг?

Пес выслушал хозяина и, словно поняв вопрос, медленно направился к двери, помахивая хвостом. Это был первейший знак дружелюбного отношения к пришедшему.

Сальватор улыбнулся и пошел открывать дверь.

На пороге стоял бледный, печальный и серьезный Доминик.

Сальватор радостно воскликнул:

– Добро пожаловать в мое убогое жилище! Я только что думал о вас и собирался уже пойти к вам домой.

– Спасибо! – сказал священник. – Но сами видите, я решил не утомлять вас и пришел сам.

Фрагола, видевшая этого красивого монаха всего лишь один раз, у кровати Кармелиты, встала.

Доминик уже открыл было рот, чтобы заговорить, но Сальватор молитвенно сложил руки, давая священнику понять, чтобы тот прежде выслушал его.

Монах закрыл рот и стал ждать.

– Фрагола, – произнес Сальватор, – подойди сюда, любимое дитя.

Девушка приблизилась и взяла любимого под руку.

– Фрагола, – продолжал Сальватор, – если ты веришь в то, что семь лет моей жизни принесли какую-то пользу людям, если веришь в то, что я совершил что-то доброе на этой земле, преклони колени перед этим мучеником, поцелуй край его платья и поблагодари его. Ведь это только его заслуга, что я не превратился в труп семь лет тому назад!

– О, отец мой! – воскликнула Фрагола, падая на колени.

Доминик протянул ей руку:

– Встаньте, дитя мое, – сказал он, – и возблагодарите Бога, а не меня: только Господь дает и забирает жизнь.

– Так значит, – произнесла Фрагола, – это аббат Доминик проводил службу в Сен-Рош в тот день, когда ты хотел покончить с собой?

– В кармане у меня лежал заряженный пистолет, решение было принято. Еще час – и меня бы уже не было на этом свете. Слова этого человека удержали меня на самом краю пропасти: я остался в живых.

– И вы благодарите Бога за то, что вы живы?

– О, да. Всем сердцем! – сказал Сальватор, глядя на Фраголу. – Вот почему я и сказал вам: «Отец мой, чего бы вы ни пожелали, пусть даже невозможного, в любой час дня и ночи перед тем, как постучаться в какую-нибудь дверь, придите и постучитесь ко мне в дом!»

– И вот теперь я пришел!

– Что я могу сделать для вас? Приказывайте!

– Верите ли вы в невиновность моего отца?

– Да, клянусь душой. Я в ней уверен. И может быть, смогу помочь вам найти доказательство его невиновности.

– Оно у меня уже есть! – произнес на это монах.

– Вы надеетесь спасти его?

– Уверен, что спасу!

– Нужна ли вам в этом моя рука и моя голова?

– Никто, кроме меня самого, не сможет помочь мне сделать то, что я должен сделать.

– Так о чем же вы в таком случае меня просите?

– Об одной вещи, которая кажется мне невозможной, даже для вас. Но поскольку вы сказали мне прийти к вам с любой просьбой, я полагал, что не прийти к вам было бы нарушением долга.

– Скажите, что нужно сделать.

– Мне нужно сегодня, в крайнем случае завтра добиться аудиенции у короля... Сами видите, я прошу невозможного... По крайней мере для вас.

Сальватор с улыбкой посмотрел на Фраголу.

– Голубка, – сказал он ей, – вылети из ковчега и без оливковой ветви не возвращайся!

Ничего на это не ответив, Фрагола вышла в соседнюю комнату, надела шляпку с вуалью, накинула на плечи накидку из английской ткани, вернулась в комнату, подставила Сальватору лоб для поцелуя и вышла из дома.

– Присядьте, отец мой, – сказал молодой человек. – Через час мы узнаем, получите ли вы аудиенцию сегодня или завтра.

Священник сел. В его взоре читалось удивление, граничившее с изумлением.

– Но кто же вы такой, – спросил он у Сальватора, – если под такой скромной внешностью вы имеете такую огромную власть?

– Отец мой, – ответил Сальватор, – я такой же, как вы: я один должен пройти по избранному мною пути. Но если я кому-то и соберусь рассказать о моей жизни, то только вам.

Глава XXV

Союз четырех

Мастерская, или скорее оранжерея Регины в тот самый час, когда аббат Доминик пришел домой к Сальватору, то есть около десяти часов утра, представляла собой очаровательную картину, являвшую сидящих на одной софе трех молодых женщин и лежавшего у их ног ребенка.

Читатель уже узнал этих трех женщин: это были графиня Рапт, госпожа де Моранд и Кармелита. Ребенком была малышка Абей.

Обеспокоенная тем, что случилось прошлой ночью с Кармелитой, Регина встала очень рано и послала Нанон к подруге, поручив ей привезти ее в карете в том случае, если Кармелита чувствует себя достаточно хорошо, чтобы провести утро в особняке Ламот-Удан.

Кармелита обладала огромной волей, придававшей ей силы. Она попросила Нанон дать ей время только на то, чтобы накинуть на плечи шаль. Потом она села с ней в карету и приехала к Регине.

Ей хотелось поблагодарить Регину за заботу, которую та проявила по отношению к ней. Этого требовала ее душа. Физическая усталость отошла на второй план.

Вот что произошло в это время.

Когда господин де Моранд – а это было в семь часов утра, – покинул спальню жены, госпожа де Моранд попыталась было заснуть. Но безуспешно: сон к ней не шел.

В восемь часов она встала с постели, приняла ванну и спросила у господина де Моранда разрешения отправиться узнать, как себя чувствует Кармелита.

Господин де Моранд, который, несмотря на то, что тоже не спал ночь, был уже за работой, вместо ответа позвонил и велел передать кучеру, чтобы тот запрягал и все утро был в распоряжении мадам.

В десять утра госпожа де Моранд села в карету и велела кучеру ехать на улицу Турнон.

Она прибыла туда, когда Кармелита уже уехала. Но ее горничная, к счастью, знала, куда отправилась хозяйка. Кучеру поэтому было велено ехать на бульвар Инвалидов к дому графини Рапт.

Госпожа де Моранд приехала туда десятью минутами после Кармелиты.

Войдя в дом, Кармелита увидела, как маленькая Абей, стоя на коленях на табурете, находившемся перед Региной, как настоящая кокетка с увлечением слушала старшую сестру, рассказывающую подробности прошедшего вечера.

Когда Регина поведала об обмороке Кармелиты, объяснив его ужасной жарой в гостиной, в комнату вошла сама Кармелита. Девочка бросилась к ней на шею, нежно поцеловала и спросила, как Кармелита себя чувствует.

У Регины были две причины увидеться с Кармелитой: прежде всего она хотела узнать о состоянии ее здоровья, а затем, если Кармелита сможет рассказать об этом лично, передать ей приглашение на праздник в министерстве иностранных дел, который должен был состояться вечером. Девушка могла по своему усмотрению прибыть на этот бал в качестве гостьи или артистки, сама решить – будет она там петь или же не будет.

Кармелита приняла приглашение в качестве артистки. Накануне у нее было такое тяжелое и в то же время такое спасительное испытание, что отныне ей уже ничто не казалось страшным. Она больше не боялась никакой публики, даже той, что должна была собраться в министерстве, которое имело такое отдаленное отношение к искусству. И никто больше не смог бы испугать ее больше, чем то привидение, которое она увидела накануне.

Таким образом подруги условились, что Кармелита отправится на бал в качестве артистки, что там она будет под покровительством Регины, которая и представит ее публике.

И тут в гостиную вошла госпожа де Моранд.

Ее появление вызвало восклицание восторга, которое вырвалось одновременно у обеих подруг и у маленькой Абей, очень любившей госпожу де Моранд.

– Ах, вот и бирюзовая фея! – воскликнула Абей.

У госпожи де Моранд были самые прекрасные в Париже бирюзовые украшения. Именно поэтому Абей и звала ее так. Свою сестру она называла феей милосердия Каритой из-за ее приключения с Рождественской Розой, а Кармелита дала имя певчей феи Фоветты из-за ее замечательного голоса. Фрагола же была у нее феей Милашкой по причине тонкой талии и очаровательной шейки. Когда все четыре женщины собирались вместе, Абей утверждала, что все королевство фей было в сборе.

В этот день всем четверем феям суждено было собраться вместе, поскольку едва госпожа де Моранд расцеловалась с двумя своими подружками и села рядом с ними, как открылась дверь и слуга объявил о приходе Фраголы.

Все три женщины бросились навстречу своей подруге, с которой им удавалось увидеться довольно редко. Женщины расцеловались, а в это время Абей, которой не терпелось получить свою долю ласки Фраголы, прыгала вокруг подруг с криками:

– А я! А меня! Ты разве меня больше не любишь, фея Милашка?

Тогда Фрагола повернулась к Абей, подняла ее, словно птичку, и расцеловала девочку.

– Мы так редко видим тебя, дорогая! – сказали хором Регина и госпожа де Моранд. Кармелита же, у постели которой во время ее болезни Фрагола, как добросовестная сиделка, провела многие дни и ночи, не могла упрекнуть подругу в этом и только молча пожала ей руку.

– Но, сестрицы, – сказала Фрагола, – вы – принцессы, а я всего лишь бедная Золушка. И я должна сидеть дома...

– Ах! Ты не Золушка, – сказала Абей. – Ты – Трилби.

Девочка только что прочла сказку Шарля Нодье.

– Если только не происходят важные события, не случаются серьезные вещи... Тогда я набираюсь смелости и прихожу к вам, дорогие сестрички, чтобы спросить у вас, любите ли вы меня по-прежнему?

Ответом ей стали три поцелуя.

– Важные события?... Серьезные вещи?... – повторила Регина. – И правда, на твоём прекрасном лице читается печаль.

– С тобою приключилось какое-то несчастье? – спросила госпожа де Моранд.

– С тобой... или с ним? – задала вопрос Кармелита, понимавшая, что не всегда самое страшное может случиться с самим человеком.

– О! Слава богу, нет! – воскликнула Фрагола. – Ни со мной, ни с ним. Но беда случилась с одним нашим другом.

– С каким же? – спросила Регина.

– С аббатом Домиником.

– Ах, да! – воскликнула Кармелита. – Что с его отцом?..

– Приговорен!

– К смерти?

– К смерти!

Женщины вскрикнули.

Доминик был другом Коломбана, он был и их другом.

– Что мы можем для него сделать? – спросила Кармелита.

– Может быть, попросить помиловать мсье Сарранти? – произнесла Регина. – Мой отец в довольно близких отношениях с королем.

– Нет, – ответила Фрагола, – попросить надо о гораздо менее сложном одолжении, милая моя Регина. И попросить об этом должна ты.

– О чем же? Рассказывай!

- Надо добиться аудиенции у короля.
- Для кого же?
- Для аббата Доминика.
- На какой день?
- На сегодня.
- И это все?
- Да... По крайней мере это все, о чем он сейчас просит.
- Позвони, дитя мое, – обратилась Регина к Абей.

Абей позвонила.

А потом, снова подойдя к сестре, спросила:

– Ой, сестричка, неужели его убьют?

– Мы сделаем все, что будет возможно для того, чтобы этого несчастья не случилось, – ответила Регина.

В этот момент в дверях появилась Нанон.

– Прикажите немедленно заложить карету, – сказала Регина, не желавшая терять ни минуты времени. – И предупредите моего отца, что я еду в Тюильри по делу чрезвычайной важности.

Нанон ушла.

– К кому же ты едешь в Тюильри? – спросила госпожа де Моранд.

– К кому же еще, как не к очаровательной герцогине Беррийской?

– О, ты едешь к Мадам? – вмешалась маленькая Абей. – Я хочу поехать с тобой. Мадемуазель сказала, что я могу приезжать к ней всякий раз, когда папа или ты приедешь навестить Мадам.

– Ну, тогда едем!

– О, какое счастье! Какое счастье! – закричала Абей.

– Милое дитя! – воскликнула Фрагола, обнимая девочку.

– Да, а пока сестра будет говорить Мадам, что аббату Доминику надо увидеться с королем, я скажу Мадемуазель, что мы хорошо знаем аббата, что не надо, чтобы его папе сделали больно.

Четверо женщин заплакали, услышав наивное обещание ребенка. Девочка, еще не зная как следует жизни, уже боролась против смерти.

Вошла Нанон и объявила, что маршал только что вернулся из Тюильри и что во дворе стоит запряженная карета.

– Поехали! – сказала Регина. – Нельзя терять ни минуты. Пошли же, Абей. И сделай так, как ты сказала: тебе это принесет только счастье.

Затем она взглянула на часы и, обращаясь к подругам, произнесла:

– Сейчас одиннадцать часов. В полдень я вернусь с разрешением на аудиенцию. Подожди меня здесь, Фрагола.

И Регина ушла, оставив трех своих подруг, твердо верящих в силу ее влияния, а также в доброту той, у кого она отправилась испрашивать августейшего покровительства.

Как-то раз, если вы помните, мы уже видели четырех главных героинь нашего романа у постели Кармелиты. Теперь же мы вновь видим их вместе, но на этот раз у подножия эшафота господина Сарранти. Мы упомянули в нескольких словах об их общем воспитании. Давайте же заглянем чуть дальше, в первые годы их цветущей юности и увидим, что же их объединяет. Время на экскурс в прошлое у нас есть: ведь Регина сама сказала, что вернется не раньше полудня.

Узы, связывающие этих девушек, были очень прочными. Иначе и быть не могло, поскольку они, объединив четырех девушек таких разных по своим вкусам, социальному поло-

жению, темпераменту, настроению, привили им одинаковый вкус, одинаковый характер и одинаковую волю.

Все четверо: Регина, дочь пребывавшего в добром здравии генерала Ламот-Удана, Лидия, дочь скончавшегося, как мы уже видели, полковника Лакло, Кармелита, дочь капитана Жерве, погибшего в Шампобер, и Фрагола, дочь трубача Понруа, павшего при Ватерлоо, – все они были дочерьми военных, кавалеров орденов Почетного легиона и воспитывались в императорском пансионе Сен-Дени.

Но вначале ответим на один вопрос, который неизбежно возникает у тех, кто следит за нашим повествованием и не замедлит обвинить нас в том, что мы обошли его молчанием.

Каким же образом дочь простого трубача-кавалериста Фрагола была допущена в Сен-Дени, куда допускались только дочери офицеров?

Мы сейчас ответим на это несколькими словами.

При Ватерлоо, в тот момент, когда Наполеону показалось, что перевес на его стороне, и он отдавал приказы своим дивизиям, ему понадобилось послать приказание командиру молодой гвардии генералу графу де Лобо. Оглядевшись вокруг, он увидел, что под рукой не было больше ни одного адъютанта: все уже были разосланы по дивизиям и мчались в разных направлениях по полю боя.

Увидев неподалеку трубача, он подозвал его к себе.

Трубач подбежал к императору.

– Слушай, – сказал трубачу император, – доставь этот приказ генералу Лобо и постарайся добраться к нему самым коротким путем. Дело очень срочное!

Трубач посмотрел на местность, по которой ему предстояло пробираться, и покачал головой.

– Путь совсем не прост! – сказал он.

– Ты боишься?

– Еще чего... Я ведь кавалер ордена Почетного легиона!

– Ну тогда ступай! Вот приказ!

– А если я погибну, окажет ли император мне одну милость?

– Какую? Говори же скорее! Чего ты хочешь?

– Я хочу, чтобы в том случае, если меня убьют, моя дочь, Атенаис Понруа, проживающая со своей матерью в доме номер 17 по улице Амандье, воспитывалась в Сен-Дени как дочь офицера.

– Это я тебе обещаю: ступай же!

– Да здравствует император! – крикнул трубач.

И пустил лошадь в галоп.

Он проскакал все поле боя и прибыл к генералу графу де Лобо. Но, доскакав до генерала, он свалился с лошади и протянул генералу пакет с приказом императора. Сказать он уже больше ничего не смог: одна пуля перебила ему бедро, другая вспорола живот, а третья пробила грудь.

Никто больше ничего не слышал о трубаче Понруа.

Но император выполнил свое обещание: прибыв в Париж, он распорядился, чтобы девочку немедленно отвезли и устроили в Сен-Дени.

Вот так низкородившая Атенаис Понруа – чье несколько претенциозное имя, данное ей при крещении, было изменено Сальватором на Фраголу, – была устроена в пансион Сен-Дени, где воспитывались дочери полковников и маршалов.

Эти четыре девочки, столь разные по своему происхождению и по богатству, однажды были соединены братством сердец. Этому союзу, который образовался между ними с самого детства, суждено было жить до самой их смерти. Он для них одних представлял, если можно

так выразиться, все французское общество, включавшее в себя аристократию и дворянство Империи, буржуазию и простой народ.

Все четверо были приблизительно одного возраста с разницей в несколько месяцев и с первого же дня пребывания в пансионе он и почувствовал и друг к другу какую-то симпатию, что редко бывает в коллежах или пансионах с детьми столь разными по своему социальному положению. В отношениях этих четырех девочек положение, имя и богатство не играли никакой роли: для Лидии дочь капитана Жерве была просто Кармелитой, а дочь трубача Понруа была для Регины Атенаис и только. И никакие соображения высокого происхождения одной и низкого рода другой не мешали этой чистой привязанности, которая со временем переросла в тесную и глубокую дружбу.

Детские огорчения одной из них болью отзывались в сердцах остальных трех подруг. Они делились друг с другом не только своими горестями, но и радостью, надеждами, мечтами, короче, всеми своими чувствами. Да разве в таком возрасте девушки живут чем-то другим, кроме мечты?..

Это было братство в полном смысле этого слова, и братство это росло и укреплялось с каждым днем, с каждым месяцем и с каждым годом. А во время последнего года их пребывания в пансионе оно стало таким большим, что эта дружба четырех девушек вошла в Сен-Дени в поговорку.

Но этой совместной жизни когда-то должен был прийти конец. Прошло еще несколько месяцев, и каждой из них по выходу из стен Сен-Дени суждено было пойти своей дорогой, вернуться в родительский дом: одной в предместье Сен-Жермен, другой в предместье Сент-Оноре, третьей в предместье Сен-Жак, а четвертой в Сент-Антуанское предместье. Кроме того, каждой из них предстояло пойти своей дорогой по жизни и каждой войти в тот мир, где они могли встретиться только по чистой случайности.

Следовательно, должен был наступить конец этой очаровательной близости, этой нежной жизни четвером, где никто ничего не терял, а выигрывали все четверо! Получалось, что эти четыре сердца, столько лет подряд бившиеся в унисон, переставали испытывать одинаковые чувства! Значит, закончилось мирное и безмятежное детство! Всему этому суждено было закончиться, исчезнуть навсегда и никогда не возникнуть вновь. И объединявшая четверых девочек мечта должна была продолжиться для каждой по-своему. И печали одной из них уже не суждено было делить с тремя остальными подругами. Жизнь в пансионе была долгим и сладким сном, а теперь им предстояло окунуться в реальную жизнь.

И случай, а скорее – назовем это жестокое божество своим именем – судьба размела их своим дыханием, разбросала, как лепестки цветов в разные стороны. Но они храбро сопротивлялись судьбе, гнулись, как тростинки, но не ломались.

Взявшись за руки, они торжественно поклялись помогать друг другу, поддерживать друг друга и любить. Одним словом, оставаться подругами, как и в пансионе, на всю оставшуюся жизнь.

Таким образом они заключили между собой договор, основное положение которого предусматривало то, что каждая из них обязалась отвечать на призыв подруги в любое время дня и ночи, когда бы этот призыв ни был подан, в каком бы положении ни находилась та, которая позвала на помощь, и та, а вернее, три других, к которым за этой помощью обратятся.

Мы уже видели, как они, верные взятым на себя обязательствам, откликнулись на призыв умиравшей Кармелиты. Мы увидим, что они верны своему слову и в других, не менее сложных ситуациях.

Мы уже рассказали, как было договорено, что ежегодно, в первый день Великого поста они должны были встречаться на мессе в соборе Парижской Богоматери.

В течение двух-трех лет, прошедших после выпуска из пансиона, Кармелита и Фрагола виделись с подругами только на этих ежегодных свиданиях.

А в один год Фрагола не пришла в собор. И если мы пока не рассказали, почему это случилось, то лишь из-за того, что еще не было удобного случая.

Регина и Лидия виделись чуть более часто.

Но столь редкие встречи четырех девушек ничуть не ослабили их дружбу, а, напротив, только укрепили ее. Помогая друг другу, они четверо смогли бы, используя все доступные им средства, добиться того, чего не смог бы совершить целый конгресс дипломатов.

Они четверо, стоя на равных ступенях общественной лестницы, держали в руках ключи всего общественного здания: двор, аристократию, армию, ученый мир, духовенство, Сорбонну, Университет, академии, народ и кто знает, что еще? Их ключи подходили ко всем дверям. Они четверо располагали огромной, безграничной, абсолютной властью.

И только против смерти, как мы уже видели, они ничего не могли поделать.

Обладая одинаковыми добродетелями, воспитанные на одинаковых принципах, проникнутые одинаковыми чувствами, способные понести одинаковые жертвы, они, казалось, были рождены для благих дел. И, в одиночку или все вместе, каждая из них при случае старалась делать добро любой ценой.

Нет сомнения в том, что в нашем дальнейшем повествовании нам еще представится случай увидеть их во власти различных страстей и, вполне возможно, мы увидим также, как закаленные души умеют выходить победителями из самых опасных схваток.

А пока давайте послушаем.

Только что пробил полдень, скоро вернется Регина.

Прошло несколько минут, и на улице послышался стук колес.

Три молодые женщины разговаривали... О чем же? Кармелита, несомненно, об умершем, а две ее подруги, наверное, о живых. Но, услышав, как подъехала карета, они вскочили с мест.

Сердца их бились в унисон, но, конечно же, сердце Фраголы билось чуточку сильнее, чем сердца подруг.

Тут послышался голосок Абей, которая, как очаровательный предвозвестник, бежала по лестнице С криками:

– Вот и мы! Вот и мы! Сестричка Регина добилась аудиенции!

С этими же криками она влетела в оранжерею.

Вслед за ней показалась улыбающаяся, как триумфатор, Регина: в руке у нее было разрешение на аудиенцию.

Аудиенция была назначена на половину третьего пополудни, а посему нельзя было терять ни минуты.

Молодые женщины расцеловались в знак вечной дружбы. Фрагола быстро спустилась вниз, села в карету Регины, которая, по словам хозяйки, должна была доставить ее домой гораздо быстрее ее фиакра, и карета с гербами довезла очаровательную девушку до ее скромного жилища на улице Макон.

Мужчины ждали Фраголу, стоя у окна.

– Это она! – воскликнули они одновременно.

– Но почему она в карете с гербами? – спросил монах у Сальватора.

– Дело сейчас вовсе не в этом. Есть ли у нее разрешение на аудиенцию – вот в чем вопрос!

– Она держит в руке какую-то бумагу! – воскликнул Доминик.

– Тогда все в порядке, – сказал Сальватор.

Доминик бросился к лестнице.

Фрагола ждала, когда ей откроют дверь.

– Это я! – крикнула она. – Я привезла разрешение!

– Когда состоится аудиенция? – спросил Доминик.

– Сегодня, через два часа.

– О! – вскричал монах. – Будьте же благословенны, милое дитя!

– И хвала Господу нашему, отец мой! – произнесла Фрагола, с почтением протягивая монаху своей белой ручкой бумагу с разрешением на аудиенцию у короля.

Глава XXVI

Отсрочка

В тот день король был не в самом веселом настроении.

Роспуск национальной гвардии, о котором лаконично сообщил утром «Монитор», вызвал брожение в умах парижских торговцев. *Господа лавочники*, как их называли *господа придворные*, вечно всем были недовольны: как мы уже сказали, они ворчали, когда их заставляли заступать на службу, точно так же, как и когда им запретили ее нести.

Так чего же им было нужно?

Июльская революция, – вот чего они хотели.

Добавим к этому, что такая мгновенно разнесшаяся по городу зловещая новость, как вынесение смертного приговора господину Сарранти, только способствовала брожению умов уважаемой части граждан.

И теперь, несмотря на то, что Его Величество отстоял мессу вместе с Их Высочествами господином дофином и мадам герцогиней Беррийской, несмотря на то, что Его Величество уже принял Его Высокопревосходительство канцлера, Их Превосходительств министров, государственных советников, кардиналов, князя де Талейрана, маршалов, папского нунция, посла Сардинии, посла Неаполя, великого референдаря палаты пэров, многочисленных депутатов и генералов, несмотря на то, что Его Величество подписал брачный контракт господина Тассена де Лавальера, генерального сборщика налогов департамента Верхние Пиренеи и мадемуазель Шарле, – все эти дела не смогли разгладить морщин на королевском челе. И, повторяем, Его Величество в интервале от часа до двух пополудни 30 апреля 1827 года был далеко не в самом веселом настроении.

Скорее наоборот, лоб его выражал глубокое беспокойство, что вообще-то ему было несвойственно. В этом старом, добром и простодушном венценосце была какая-то детская беззаботность. Он был уверен в том, что идет по правильному пути. Этот последний из рода тех, кто жил под белым стягом, взял для себя девизом девиз своих предков: *Делаю, что должен, и будь, что будет!*

По своему обыкновению, он был одет в тот самый синий с серебром мундир, в котором Верне изобразил его на параде. На груди у короля висел тот же самый шнур и тот же самый орден Святого Духа, с которым он год спустя примет Виктора Гюго и запретит ему ставить «*Марион Делорм*». Стихи поэта, написанные по поводу этой встречи, еще пока живы, а «*Марион Делорм*» будет жить вечно. А где теперь вы, добрый король Карл X, не позволявший поэтам ставить их пьесы?

Услышав, как дежурный дворецкий объявил имя человека, принять которого попросила невестка, король поднял голову.

– Аббат Доминик Сарранти? – машинально переспросил он. – А, ну да!

Но прежде чем дать разрешение войти, он взял лежавшую на столе бумагу и быстро пробежал по ней глазами. И только потом сказал:

– Введите мсье аббата Доминика.

В дверях зала для аудиенции показался аббат Доминик. Остановившись на пороге, он, сложив руки у груди, глубоко поклонился.

Король тоже поклонился. Но не человеку, а священнику.

– Войдите, мсье, – сказал он.

Аббат сделал несколько шагов и остановился.

– Мсье аббат, – снова сказал король, – срочность, с которой я дал вам аудиенцию, должна показать вам, что я особо уважаю служителей Бога.

– Это делает честь Вашему Величеству, – ответил аббат, – и является причиной любви, которую испытывают к вам ваши подданные.

– Я слушаю вас, мсье аббат, – произнес король, приняв ту особую осанку, которая свойственна принцам, дающим аудиенцию.

– Государь, – сказал Доминик, – мой отец был приговорен сегодня ночью к смертной казни.

– Я знаю об этом, мсье. И мне глубоко вас жаль.

– Мой отец был невиновен в тех преступлениях, за которые он осужден...

– Простите меня, мсье аббат, – прервал его Карл X. – Но это мнение не разделили господа присяжные заседатели.

– Сир, присяжные – тоже люди. И, как люди, они могут быть введены в заблуждение внешней стороной дела.

– Согласен с вами, мсье аббат. Это не только утешение сыновних чувств, но и аксиома человеческого права. Но поскольку правосудие все же отправляется людьми, оно было решено в отношении вашего отца господами присяжными заседателями.

– Сир, у меня есть доказательство невиновности моего отца!

– У вас есть доказательство невиновности вашего отца? – удивленно переспросил Карл X.

– Есть, сир!

– Так почему же вы не предъявили его до сих пор?

– Я не мог.

– Ну, тогда, мсье, пока еще не поздно, дайте это доказательство мне.

– Дать его вам, сир? – сказал аббат Доминик, тряхнув головой. – К несчастью, это невозможно.

– Невозможно?

– Увы! Это так, сир!

– Да что же может помешать человеку снять обвинение с невиновного человека. Особенно, когда этим человеком является сын, а обвиняется его отец?

– Сир, я не могу ответить Вашему Величеству. Но король знает, может ли и захочет ли обманывать тот, кто борется с ложью в других, кто всю свою жизнь проводит в поисках истины, где бы она ни находилась, тот, кто является одним из служителей Бога. И посему, сир, я клянусь дланью Господа нашего, который сейчас видит меня и слышит, Господа, которого я молю наказать меня, если я лгу, я клянусь и заявляю у ног Вашего Величества о том, что отец мой невиновен. Я заявляю это в полном здравии ума и совести и клянусь Вашему Величеству, что настанет день и я дам вам доказательство его невиновности!

– Мсье аббат, – ответил король с величавой мягкостью в голосе. – Вы говорите как сын, и я уважаю чувства, которые подсказывают вам эти слова. Но позвольте мне сказать как королю.

– О, сир, я смиренно слушаю вас!

– Если бы преступление, в совершении которого был обвинен ваш отец и за которое он был осужден, касалось только меня лично, если бы это было слово, политическое деяние, попытка нарушить общественный порядок, оскорбление моей особы или же покушением на мою жизнь и будь я в результате этого ранен или же сражен насмерть, как это сделал Лувель с моим сыном, я поступил бы точно так же, как и мой умиравший сын. Я бы отдал дань вашим одеяниям и вашей набожности и последним моим деянием пощадил бы вашего отца.

– О, сир, вы так добры!

– Но здесь дело совсем в другом: королевский прокурор отвел обвинение в политическом преступлении, а обвинение в краже, в похищении детей, в убийстве...

– Сир! Сир!

– О, я знаю, вам тяжело это слушать. Но, поскольку я отказываю вам в снисхождении, я должен по крайней мере изложить вам причины отказа... Так вот обвинение в краже, похище-

нии и убийстве не было опровергнуто. А это обвинение представляет угрозу уже не королю и не государству, оно направлено не против личности или власти короля. Оно направлено против общества. Отмщения требует сама мораль.

– О! Если бы я имел право говорить, сир! – вскричал Доминик, заламывая руки.

– Эти три преступления, в которых ваш отец не просто обвинен, он в них повинен, поскольку так решили присяжные заседатели, а их решение, согласно данной французам Хартии, сомнению не подлежит, так вот эти три преступления – самые гнусные и мерзкие и заслуживают самого примерного наказания. За самое меньшее из них людей ссылают на галеры.

– Сир! Сир! Пощадите, не произносите этого ужасного слова!

– И вы хотите... Ведь вы пришли молить меня помиловать вашего отца, не так ли?..

Аббат Доминик опустил на колени.

– Вы хотите, – продолжал король, – чтобы в том случае, когда речь идет об этих трех ужасных преступлениях, я, как отец моих подданных, дал повод всем преступникам обращаться ко мне с просьбой о помиловании и чтобы я воспользовался при этом правом – к счастью, оно мне не дано – отменить смертную казнь?.. Послушайте, мсье аббат, ведь вы же – проповедник покаяния! Спросите самого себя, сможете ли вы сказать такому опасному преступнику, каковым является ваш отец, другие слова, чем те, которые говорю вам я, которые подсказывает мне сердце. Я желаю убитому все божественное милосердие, но я должен свершить правосудие, наказав живого.

– Сир! – воскликнул аббат, забыв обо всех почтительных оборотах речи официального этикета, за соблюдением которого так строго следил этот потомок Людовика XIV. – Сир! Вы совершаете ошибку: с вами говорит не сын, не сын вас умоляет, не сын рыдает у ваших ног. Это говорит вам честный человек, который знает о том, что другой человек невиновен. Людское правосудие уже не в первый раз ошибается, сир! Вспомните Каласа, вспомните Лабарра, вспомните, сир, Лезюркеса! Ваш высокочтимый предок Людовик XV сказал, что отдал бы одну из своих провинций за то, чтобы Калас не был казнен во время его правления. Сир, сами того не ведая, вы позволяете топору упасть на шею человека честного. Сир, именем бессмертного Бога я говорю вам, что виновный останется цел и невредим, а невинный умрет!

– Но в таком случае, мсье, – сказал король взволнованно, – говорите! Говорите же! Если вы знаете, кто настоящий преступник, назовите мне его имя. В противном случае вы будете палачом своего отца! Вы понесете ответственность за его невинную смерть!.. Ну же, мсье, говорите! Это не только ваше право, но и ваш долг!

– Сир, мой долг заставляет меня молчать, – ответил аббат, глаза которого – впервые в жизни – наполнились слезами.

– Коли дело обстоит именно так, мсье аббат, – снова заговорил король, который, видя результат, но не понимая причины, начал сердиться на упрямство монаха, – коли дело обстоит именно так, позвольте мне согласиться с решением присяжных заседателей.

И он кивнул аббату в знак того, что аудиенция закончена.

Но, несмотря на всю величественность этого жеста, Доминик не подчинился. Встав с колен, он почтительно, но твердо произнес:

– Государь! Ваше Величество неправильно меня поняли: я не прошу, или, вернее, больше уже не прошу вас помиловать моего отца.

– Тогда чего же вы просите?

– Сир, я прошу Ваше Величество об отсрочке казни.

– Об отсрочке?

– Да, сир.

– На сколько дней?

Доминик прикинул в уме и сказал:

– На пятьдесят дней.

– Но, – произнес король, – закон дает приговоренному право в три дня подать кассационную жалобу. Она должна быть рассмотрена в течение сорока дней.

– Это обычно так и бывает, сир. Но кассационный суд, если его поторопят, может вынести свой приговор за два дня и даже за один, не ожидая, пока пройдут сорок дней... Да к тому же...

Доминик замялся.

– Так что к тому же?.. – спросил король. – Закончите же вашу мысль!

– К тому же, сир, мой отец не станет подавать кассационной жалобы.

– Как это не станет?

Доминик покачал головой.

– Но в таком случае, – воскликнул король, – ваш отец хочет умереть?

– Он ничего не станет предпринимать, во всяком случае, ничего, чтобы избежать смерти.

– В таком случае, мсье, правосудие будет совершено в установленном порядке.

– Сир, – сказал Доминик. – Бога ради, окажите одному из его служителей милость, о которой он вас попросил!

– Хорошо, мсье, я, возможно, окажу такую милость, но при одном условии: пусть осужденный не относится пренебрежительно к правосудию. Пусть ваш отец подаст кассационную жалобу, а уж я посмотрю, стоит ли ему давать помимо трех дней, положенных по закону, отсрочку в сорок дней, на которую толкнет меня мое милосердие!

– Но сорока трех дней будет недостаточно, сир, – решительно произнес Доминик. – Мне нужны пятьдесят дней.

– Пятьдесят, мсье! Для чего же?

– Для того, чтобы совершить долгое и утомительное путешествие, сир. Для того, чтобы добиться аудиенции, получить которую, возможно, будет непросто. Наконец, для того, чтобы убедить человека, который, как и вы, сир, не захочет, вероятно, чтобы его убедили.

– Так вы отправляетесь в длительное путешествие?

– Да, длиною в триста пятьдесят лье, сир.

– И вы пойдете пешком?

– Пешком, сир.

– Но почему же пешком?

– Потому что именно так путешествуют странники, которые хотят попросить Бога о высшей милости.

– Но если я оплачу дорогу, дам вам денег, сколько будет нужно?..

– Сир, пусть Ваше Величество раздаст эти деньги нищим. Я должен идти туда пешком и босым, и я пойду пешком и босым.

– И вы беретесь через пятьдесят дней доказать невиновность вашего отца?

– Нет, сир, я ни за что не берусь и клянусь королю, что никто другой не взял бы на себя такое обязательство. Но я утверждаю, что после моего путешествия, если я не получу возможности объявить о невиновности моего отца, я смирюсь с людским приговором и стану повторять приговоренному к смерти слова короля: «Взываю к вам милосердие Господне!»

Карла X снова охватило волнение. Он посмотрел в открытое честное лицо аббата Доминика, и в сердце у него зародилось что-то вроде полууверенности.

Но, независимо от его воли – мы ведь знаем, что король Карл X не всегда принадлежал себе, – несмотря на непреодолимую симпатию, которую внушало лицо благородного монаха, являвшееся отражением его сердца, Карл X, как бы для того, чтобы набраться плохого настроения в борьбе с добрым чувством, которое грозило завоевать его сердце, опять взял лежавший на столе листок бумаги, который он прочитал перед появлением аббата Доминика. Король снова быстро пробежал листок глазами, и этого мимолетного взгляда хватило для того, чтобы подавить в нем доброе настроение, которое было еще неясным. Теперь же смягчившееся от рассказа аббата Доминика лицо короля стало опять холодным, замкнутым, недовольным.

И ему было от чего стать недовольным, замкнутым и холодным: на лежавшем перед королем листке бумаги была изложена краткая история жизни господина Сарранти и аббата Доминика. Это были два портрета, набросанных рукою мастера, как это умела делать конгрегация. Это были два портрета закоренелых революционеров.

Первым было жизнеописание господина Сарранти. Оно начиналось с его отъезда из Парижа. Затем были описаны его похождения в Индии при дворе Рундже-Сингха, его связи с генералом Лебатаром де Премоном, о котором он сам отзывался, как о человеке необычайно опасном. Затем описывался путь его из Индии, который лежал через замок Шенбрун, давались подробности заговора, раскрытого благодаря усилиям господина Жакаля, описывалось падение генерала Лебатара в реку с Венского моста, рассказывалось о путешествии господина Сарранти в Париж и о действиях его вплоть до самого ареста. На полях стояли следующие слова: «Обвинен и признан виновным, кроме того, в краже, похищении детей и убийстве, за что и приговорен к смертной казни».

Что же касается аббата Доминика, то и его биография была изложена не менее подробно. Начиналась она с момента окончания им семинарии. Его называли учеником и последователем аббата Ламеннэ, который уже начал вести свою диссидентскую деятельность. Затем Доминик был изображен посетителем мансард, несущим людям не слово Божье, а революционную пропаганду, была упомянута одна из его проповедей, за которую он подвергся бы критике со стороны вышестоящего церковного начальства, если бы во Франции не был возрожден испанский духовный орден. В конце концов в записке предлагалось отправить его за границу, поскольку его дальнейшее пребывание в Париже представляло собой, по мнению конгрегации, угрозу общественному спокойствию.

В общем и целом из докладной записки, которую бедный король держал перед глазами, выходило, что отец и сын Сарранти были кровопийцами, у которых в руках было страшное оружие: у отца – шпага, с помощью которой он мог свергнуть трон, а у сына – факел, которым он хотел поджечь Церковь.

И поэтому человеку, пропитанному иезуитским ядом, достаточно было только посмотреть еще раз на этот листок, чтобы вновь проникнуться политической ненавистью, которая могла на секунду затихнуть, чтобы потом вновь начать рисовать себе призраки революции.

Король вздрогнул и посмотрел на аббата Доминика недобрый взглядом.

Аббат угадал значение этого взгляда, который коснулся его, словно раскаленное железо. Он гордо поднял голову, поклонился, не сгибая спины, сделал два шага назад и приготовился уйти.

То высочайшее презрение к королю, который не желал прислушаться к велению своего сердца, подчиняясь ненависти кого-то третьего, то уничижительное презрение сильного по отношению к слабому отразилось помимо воли Доминика в его прощальном взгляде, брошенном на короля.

Карл X, в свою очередь, увидел, как это чувство вспыхнуло, словно пламя, во взгляде аббата. Он был все-таки Бурбоном, то есть способным на пощаду, и в душе его зародилось одно из тех угрызений совести, которые испытывал, должно быть, глядя на Агриппу д'Обинье, его предок Генрих IV.

В подсознании у него зародилась истина, или по крайней мере сомнение. Он не посмел отказать в том, что обещал этому честному человеку. Поэтому он окликнул собравшегося уже удалиться аббата Доминика.

– Мсье аббат, – сказал он, – я еще не сказал ни «да», ни «нет» на вашу просьбу. Но не сделал я этого только лишь потому, что перед моими глазами, а вернее, в моем мозгу пронеслись в это время образы несправедливо казненных людей.

– Сир! – воскликнул аббат, сделав два шага вперед. – Еще есть время, и королю стоит только сказать слово.

– Я даю вам два месяца, мсье аббат, – сказал король со своим обычным высокомерием, словно раскаивался и краснел за то, что допустил появление на своем лице признака малейшего волнения. – Но запомните: ваш отец должен подать кассационную жалобу! Я иногда прощаю непокорность режиму, но никогда не прощу непокорности правосудию!

– Сир, не можете ли вы дать мне разрешение прийти к вам в любое время дня и ночи после моего возвращения?

– Охотно, – ответил король.

Он позвонил.

– Посмотрите на этого господина, – сказал Карл X появившемуся на вызов привратнику. – Запомните его. И когда он придет сюда в любое время дня или ночи, проводите его ко мне. И предупредите об этом стражу.

Аббат поклонился и вышел. Сердце его было наполнено радостью, а возможно, и признательностью.

Глава XXVII

Отец и сын

Все цветы надежды, медленно вызревающие в душе человека и приносящие плоды только в надлежащее время, расцвели в сердце аббата Доминика по мере того, как он с каждой ступенькой удалялся от королевского величества и приближался к согражданам.

Вспоминая о минутах слабости несчастного монарха, он представлял невозможным, чтобы этот человек, согнутый под бременем годов, добрый сердцем, но вялый умом, явился серьезным препятствием на пути великого божества по имени Свобода, которое продвигается вперед с тех пор, как человеческий гений зажег его факел.

И тут, странное дело, – это подтверждало, что план его на будущее был превосходен – перед ним пронеслась вся его прошлая жизнь. Он вспомнил о мельчайших подробностях своей жизни священника, о нерешительности перед принятием обета и о душевной борьбе в момент посвящения в сан священника. Но все эти колебания и сомнения были побеждены разумом, который, подобно огненному столбу Моисея, указал ему путь в обществе и подсказал, что наибольшую пользу людям он сможет принести в качестве священнослужителя.

Подобно волшебным звездам его сознание освещало и указывало ему верный путь. Было всего одно мгновение затмения, когда он чуть было не сбился со своей дороги, но он сумел разобраться в темноте и продолжил свой путь если не укрепившись в вере, то, во всяком случае, с окрепшей решимостью.

По последним ступеням дворца он спускался с улыбкой на губах.

Какая же тайная мысль соответствовала в данной ситуации этой улыбке?

Едва он оказался во дворе дворца Тюильри, как увидел симпатичное лицо Сальватора, который, охваченный беспокойством за исход этого странного поступка аббата Доминика, немного нервничая, поджидал его у выхода.

Но едва увидев лицо бедного монаха, Сальватор понял, что аббат получил то, что хотел.

– Итак, – сказал Сальватор, – я вижу, что король пообещал вам предоставить отсрочку, о которой вы его попросили.

– Да, – ответил аббат Доминик. – В душе он прекрасный человек.

– Вот и хорошо, – сказал Сальватор, – это меня с ним несколько примиряет, и я начинаю чуть более снисходительно относиться к Его Величеству Карлу X. Я прощаю ему его слабости, памятуя о его врожденной доброте. Следует быть терпимым к тем, кто ни разу не слышал правдивых слов.

Затем он внезапно сменил тему разговора.

– А теперь мы поедem в тюрьму «Консьержери», не так ли? – спросил он у аббата.

– Да, – ответил тот просто и пожал руку своему другу.

На набережной они остановили проезжавший мимо свободный фиакр и скоро прибыли туда, куда хотели.

У ворот этой мрачной тюрьмы Сальватор протянул Доминику руку и спросил, что тот рассчитывал делать после свидания с отцом.

– Я немедленно покину Париж.

– Могу ли я быть вам полезным в той стране, куда вы направляетесь?

– Не могли бы вы ускорить выполнение формальностей, которые связаны с получением паспорта?

– Я могу помочь вам получить паспорт без всяких проволочек.

– Тогда ждите меня у себя дома: я зайду за паспортом.

– Нет, лучше я буду ждать вас через час на углу набережной. Вы не сможете оставаться в тюрьме позже четырех часов, а сейчас уже три.

– Хорошо, значит, через час, – сказал аббат Доминик, еще раз пожав руку молодого человека.

И вошел во мрак пропускной будки.

Узник был помещен в ту же самую камеру, где до этого сидел Лувель, а потом будет сидеть Фьеши. Доминика без лишних слов провели к отцу.

Сидевший на табурете господин Сарранти встал и пошел навстречу сыну. Тот поклонился отцу с почтением, с каким обычно приветствуют мучеников.

– Я ждал вас, сын, – сказал господин Сарранти.

В его голосе едва уловимо слышался упрек.

– Отец, – произнес аббат, – если я не пришел пораньше, то в этом нет моей вины.

– Я вам верю, – сказал узник, пожимая обе руки сына.

– Я только что из Тюильри, – продолжил Доминик.

– Вы были в Тюильри?

– Да, я только что виделся с королем.

– Вы разговаривали с королем, Доминик? – удивленно переспросил господин Сарранти, пристально глядя на сына.

– Да, отец.

– Зачем же вы ходили к королю? Надеюсь, не для того, чтобы просить его о моем помиловании!

– Нет, отец, – поспешил заверить его аббат.

– Так о чем же вы его в таком случае просили?

– Об отсрочке.

– Об отсрочке? Но зачем же?

– Закон предоставляет вам три дня для подачи кассационной жалобы. Когда дело неспешное, суд рассматривает кассацию в течение сорока двух дней.

– И что же?

– То, что я попросил два месяца.

– У короля?

– У короля.

– Но почему именно два месяца?

– Потому что эти два месяца нужны мне для того, чтобы раздобыть свидетельство вашей невиновности.

– Я не стану подавать кассационную жалобу, Доминик, – решительно произнес господин Сарранти.

– Отец!

– Я не стану подавать кассации... Это решено. Я запретил Эммуэлю подавать кассацию от моего имени.

– Что вы такое говорите, отец?!

– Я говорю, что отказываюсь от любой отсрочки казни. Меня приговорили к смерти, и я желаю быть казненным. Я не признаю тех, кто меня осудил, но не палача.

– Отец, выслушайте же меня!

– Я хочу, чтобы меня казнили... Мне не терпится покончить с муками жизни и людской несправедливостью.

– Ах, отец, – грустно прошептал аббат.

– Доминик, я знаю все, что вы хотите мне сказать по этому поводу, знаю, в чем вы хотите и имеете полное право меня упрекнуть.

– О, высокочтимый отец! – сказал на это аббат Доминик, покраснев. – А если я стану умолять вас, стоя на коленях...

– Доминик!

– Если я скажу вам, что доказательство вашей невиновности я смогу показать людям и доказать им, что вы так же чисты, как и свет Божий, проникающий через решетки этой тюрьмы...

– Тогда, сын, после моей смерти это доказательство невиновности станет еще более поразительным и ярким. Отсрочки я просить не буду, а от помилования откажусь!

– Отец! Отец! – в отчаянии воскликнул Доминик. – Не упорствуйте в этом решении, оно грозит вам смертью и станет терзать меня всю мою жизнь. И, возможно, приведет к гибели моей души.

– Довольно! – сказал Сарранти.

– Нет, не довольно, отец!.. – снова заговорил Доминик, опускаясь на колени, сжимая ладони отца, покрывая их поцелуями и орошая слезами.

Господин Сарранти попытался отвести в сторону взгляд и отдернул руки.

– Отец, – продолжал Доминик. – Вы отказываетесь потому, что не верите моим словам. Вы отказываетесь потому, что в голове у вас засела нехорошая мысль о том, что я прибегаю к уловкам для того, чтобы вырвать вас из рук смерти, и хочу продлить вашу благородную и полную добрых деяний жизнь на эти два месяца. Потому что вы чувствуете, что можете умереть в любое время и в любом возрасте и что умрете чистым перед высшим судьей, сохранив свою честь.

На губах господина Сарранти появилась грустная улыбка, доказывавшая, что слова Доминика попали точно в цель.

– Так вот, отец, – продолжал Доминик. – Я клянусь вам в том, что ваш сын говорит не пустые слова. Я клянусь вам в том, что здесь у меня, – и Доминик указал рукой на грудь, – есть доказательства вашей невиновности!

– И ты не предъявил их на суде?! – вскричал господин Сарранти, отступив на шаг и глядя на сына с удивлением, смешанным с недоверием. – Ты позволил, чтобы меня судили, ты дал суду возможность приговорить твоего отца к позорной смерти, имея здесь, – и господин Сарранти указал пальцем на грудь монаха, – доказательства невиновности твоего отца?!

Доминик протянул вперед руку.

– Отец, вы ведь человек чести. И я в этом похож на вас. Если бы я предъявил суду эти доказательства, я спас бы вам жизнь, спас бы вашу честь, но после этого вы были бы первым, отец, кто стал бы меня презирать. И это было бы для вас гораздо более жестокой смертью, нежели смерть от руки палача.

– Но если ты не можешь предъявить эти доказательства сегодня, как ты сможешь предъявить их в будущем?

– Отец, это – еще одна тайна, о которой я пока не стану вам говорить. Эта тайна касается только меня и Бога.

– Сын, – несколько резким тоном сказал осужденный к смерти, – во всем этом есть что-то слишком для меня непонятное. А я никогда не соглашаюсь с тем, чего не могу понять. В этом деле я ничего не понимаю и, следовательно, отказываюсь.

И, отступив на шаг, сделал монаху знак подняться с колен.

– Довольно, Доминик! – сказал он. – Избавьте меня от ненужных споров. Пусть последние часы, которые мы можем провести вместе на этой земле, пройдут в мире и согласии.

Монах тяжело вздохнул. Он знал, что после этих слов отца надеяться ему было уже не на что.

И все же, встав с колен, он продолжал думать, каким еще путем он сможет заставить этого неслышаемого человека, как он звал своего отца, изменить свое решение.

Господин Сарранти, указав аббату Доминику рукой на табурет, сделал, продолжая находиться в состоянии волнения, три или четыре шага по узкой камере. Затем, пододвинув другой

табурет к сыну, сел, собрался с мыслями и сказал бедному монаху, слушавшему его с опущенной головой и с болью в сердце:

– Сын, испытывая сожаление от того, что нам суждено расстаться, я должен накануне смерти раскаяться, или скорее поделиться с вами опасениями о том, что я плохо провел свою жизнь.

– О, отец! – вскричал Доминик, поднимая голову и пытаясь взять в свои руки ладони отца, которые тот отдернул, но не по причине холодности, а из опасения снова дать сыну возможность магнетически на него воздействовать.

Сарранти продолжил:

– Да, Доминик, это так. Выслушайте меня и судите об этом сами.

– Отец!

– Повторяю, посудите об этом сами... Как по-вашему, мне нравится говорить это вам, сын, поскольку я считаю вас человеком высокой морали, правильно ли я употребил тот ум, которым наградил меня Господь для того, чтобы я мог принести пользу другим людям?.. Иногда меня охватывают сомнения... выслушайте меня... Мне кажется, что этот ум не принес никому никакой пользы. А ведь мог бы, поскольку является продуктом нашей цивилизации, принести пользу прогрессу общества. А я посвятил свою жизнь служению одной только идее, скорее одному человеку, хотя и великому.

– О, отец! – простонал монах, глядя на господина Сарранти горящим взором.

– Слушайте, сын, – продолжал узник. – Так вот я и говорю, что у меня есть сомнения и я опасаясь, что шел по жизни неправильной дорогой. И теперь, готовясь покинуть этот мир, я спрашиваю об этом у своей совести и счастлив, что делаю это в вашем присутствии. Не считаете ли вы, что я мог бы лучше употребить ту энергию, которая была скрыта во мне? Правильно ли я использовал те способности, которыми наградил меня Господь? И, поставив перед собой одну цель, сумел ли я достичь ее? Ответьте мне, Доминик.

Доминик снова опустился на колени перед отцом.

– Мой благородный отец, – сказал он, – я не знаю, есть ли под этим небом человек, который более доброжелательно и щедро, чем вы, отдал свои силы на службу делу, которое казалось ему справедливым и правым. Я не знаю человека более честного, чем вы, человека, более преданного и менее корыстного. Да, мой благородный отец, вы выполнили вашу миссию в той мере, в какой ее себе поставили. И камера, в которой мы сейчас находимся, является материальным свидетельством величия вашей души и вашего высшего самопожертвования.

– Спасибо, Доминик, – ответил господин Сарранти. – Если что-то и утешает меня перед смертью, то это мысль о том, что сын мой может гордиться тем, как я прожил мою жизнь. А поэтому, мой единственный отпрыск, я покидаю этот мир без угрызений совести и без сожаления. И все-таки я признаю, что у меня еще есть силы, которые могли бы послужить родине. Я выполнил – как мне кажется сегодня – едва ли половину того, что хотел выполнить, того, что виделось мне в далеком и туманном будущем. Но теперь я уже вижу луч лучшей жизни, нечто вроде освобождения моей отчизны, а за этим – как знать – освобождение всех народов!

– Ах, отец! – воскликнул аббат. – Не теряйте из виду, умоляю вас, этот луч надежды. Именно он, как огненный столб, должен вывести народ Франции к земле обетованной. Выслушайте же меня, отец, и пусть Господь вложит убедительность в слова своего ничтожного слушателя.

Господин Сарранти провел рукой по взмокшему лбу как бы для того, чтобы разогнать облака, которые могли затмить его мысль и помешать словам сына достичь его разума.

– Теперь пришла пора и вам выслушать меня, отец. Вы только что одним словом осветили социальный вопрос, служению которому благородные люди посвящали всю свою жизнь. Вы сказали: *Человек и идея*.

Господин Сарранти, пристально глядя на сына, кивнул, подтверждая его слова.

– *Человек и идея*, именно так, отец! Человек в своей гордыне полагает, что является властелином идеи, в то время как, напротив, идея владеет человеком. Идея, отец, это – дочь Бога, ее дает Бог для того, чтобы выполнить свою огромную работу, используя людей, как орудия своего труда... Послушайте меня внимательно, отец. Иногда я выражаюсь очень туманно...

По прошествии определенных периодов времени идея, подобно солнцу, светит, ослепляя людей, делающих из нее Божество. Она появляется там, где зарождается день. Там, где есть идея, есть и свет. Без идеи везде царит мрак.

Когда идея появилась над Гангом, поднялась над Гималайскими горами, осветила эту примитивную цивилизацию, от которой в память нам остались только традиции, эти доисторические города, которые мы можем видеть только в руинах, вокруг идеи сверкали вспышки света, озаряя, одновременно с Индией, все соседние народы и страны. Но самый яркий свет был только там, где была идея. Египет, Арабия и Персия остались в полутьме. А остальной мир был окутан мраком: Афины, Рим, Карфаген, Кордова, Флоренция и Париж – все эти будущие очаги цивилизации, эти будущие маяки еще не появились из-под земли и никто не знал даже их названий.

Индия выполнила свою задачу древнейшей патриархальной цивилизации. Мать рода человеческого, взявшая себе символом корову с неоскудевающим выменем, передала скипетр Египту с его сорока племенами, тремястами тридцатью фараонами и двадцатью шестью династиями. Никто не знает, сколько времени главенствовала Индия. Египет просуществовал три тысячи лет. И породил Грецию, где патриархальное и теократическое правление сменилось республиканским. Античное общество достигло верха языческой религии.

Затем пришла очередь Рима. Это был привилегированный город, в котором идее суждено было создать для себя человека и править в будущем... Отец, давайте же преклоним головы: я сейчас произнесу имя этого праведника, который умер не только за праведников, которым суждено было пожертвовать собой после него, но и за всех грешников. Отец, я сейчас произнесу имя Христа...

Сарранти опустил голову. Доминик перекрестился.

– Отец, – продолжал монах, – в тот момент, когда справедливейший испустил последний вздох, раздался гром, разорвалась завеса храма, треснула расщелиной земля... Эта расщелина, прошедшая от полюса к полюсу, создала трещину, отделившую старый мир от нового. Все надо было начинать сначала, все переделать. Можно было подумать, что непогрешимый Бог ошибался, если бы не появились, словно светочи, зажженные его собственной рукой, там и сям, великие предвестники, которых звали Моисей, Эсхил, Платон, Сократ, Вергилий и Сенека.

Идея до Иисуса Христа имела свое название: *Цивилизация*. Посла Иисуса Христа она приобрела свое современное название: *Свобода*. В мире языческой цивилизации не нужна была свобода: посмотрите на Индию, посмотрите на Арабию, посмотрите на Персию, Грецию, Рим... В христианском мире нет сейчас цивилизации без свободы: вы помните, как пал Рим, Карфаген, Гренада, вы видите, как зародился Ватикан.

– Сын, – спросил Сарранти с некоторым сомнением, – да разве Ватикан – храм Свободы?

– Во всяком случае, он был им до Григория VII... Ах, отец! Именно здесь человек снова был разлучен с идеей! Идея выпала из рук папы и попала в руки короля Людовика Толстого, который закончил то, что было начато Григорием VII. Дело Рима было продолжено Францией. И именно в этой Франции, едва начавшей лепетать слово *коммуна*, в процессе формирования ее языка, во Франции, в которой было уничтожено рабство, решаются отныне судьбы мира! У Рима есть только тело Христа; у Франции есть его слово, его душа – идея! Именно она и возникла, воплотившись в слово *коммуна*... Коммуна – это значит права человека, демократия, свобода!

О, отец! Люди полагают, что они используют идеи, но на самом деле это идея использует людей!

Выслушайте же меня, отец, потому что в тот момент, когда вы жертвуете своею жизнью во имя вашей веры, надо сделать так, чтобы вокруг этой веры загорелся свет, так, чтобы вы смогли увидеть и убедиться сами, привел ли зажженный вами факел туда, куда вы хотели пойти...

– Я слушаю, – произнес приговоренный к смерти, подперев рукой лоб, как бы стараясь не дать ему взорваться перед рождением Минервы и чувствуя, что в мозгу его роятся тысячи мыслей.

– События могут быть разными, – продолжал монах, – но идея остается неизменной. После Коммуны появились пастухи, их сменила *Жакерия*. За Жакерией последовали колотушечники, за ними была *Война за общественное богатство*. После Войны за общественное богатство была *Лига*. Лигу сменила *Фронда*, а после Фронды пришла *Французская* революция. Так вот, отец, все эти восстания, пусть они назывались Коммуной, восстанием пастухов, Жакерией, восстанием колотушечников, Войной за общественное богатство, Лигой, Фрондой, Революцией, – это была все та же идея. Она меняла формы, но при каждом своем перевоплощении она становилась все более великой.

Капля крови, пролившаяся из рта человека, который первым на площади Камбре выкрикнул слово *Коммуна* и которому отсекли язык, как богохульнику, стала источником демократии. Из этого источника вытек ручеек, ставший затем речушкой, превратившийся потом в полноводную реку, в огромное озеро, в бескрайний океан!

А теперь, отец, давайте посмотрим, как плыл по этому океану тот великий кормчий, которого избрал Господь и имя которому Наполеон Великий...

Узник, никогда в жизни не слышавший подобных слов, внимал сыну в глубоком молчании.

Монах продолжал:

– Три мужа, три достойнейших человека были в истории рода человеческого избранниками Господа, служившими орудием для воплощения его идеи. Им предназначено было соорудить то здание христианского мира, который задумал Бог. Этими тремя избранниками Божьими были Цезарь, Карл Великий и Наполеон. И заметьте, отец, каждый из этих троих не знал, что он творит, думал совсем о другом: язычник Цезарь подготавливал зарождение христианства, варвар Карл Великий готовил цивилизацию, деспот Наполеон подготовил людей к свободе.

Этих трех людей отделяли друг от друга восемьсот лет. Отец, они – три очень разные представителя рода человеческого, но души их были озарены одним и тем же – идеей!

Язычник Цезарь своими завоеваниями объединил различные народы в одном государстве для того, чтобы над этим людским венком поднялся во времена правления его преемника Христос, подобно солнцу, оплодотворившему современный мир.

Варвар Карл Великий установил феодальный строй, явившийся отцом цивилизации, и остановил на границах своей обширной империи миграцию народов, еще более варварских, чем его империя.

Наполеон... Позвольте мне, отец, высказать мою теорию относительно Наполеона, для чего мне потребуется больше времени. Я говорю вам не пустые слова и очень надеюсь на то, что они позволят мне достичь желанной цели.

Когда появился Наполеон, а скорее Бонапарт, поскольку у этого исполина два имени, как и два лика, Франция была настолько изолирована Революцией от всех остальных народов, что это поколебало равновесие в Европе. Буцефалу нужен был Александр, льву необходим был Андроклес. И вот в этом безумии свободы, которую следовало обуздать, чтобы излечить от нее народ, появился Бонапарт, сочетавший черты простого люда и аристократии. Бонапарт отставал от идеи Франции, но был по идеям своим намного впереди остальных народов.

Короли не разглядели того, что в нем было. Короли часто бывают слепцами. И они, безумцы, пошли на него войной.

И тогда Бонапарт – человек идеи – взял все, что было в детях Франции самого чистого, самого умного, самого прогрессивного. Он сформировал священные батальоны и выставил их против Европы. Эти охваченные идеей батальоны принесли смерть королям и жизнь народам. Повсюду, где прошла идея Франции, за ней следовала огромными шагами свобода, сея ветры революций подобно тому, как сеятель бросает в землю зерно.

В 1815 году Наполеон пал, но брошенные им семена на некоторых землях уже успели созреть и дать свой урожай. И вот уже в 1818 году – обратите внимание на даты, отец, – великие герцогства Баденское и Баварское требуют себе конституцию и получают ее. В 1819 году герцогство Вюртенбергское требует конституцию и получает ее. В 1820 году в Испании и Португалии совершаются революции и учреждаются кортесы. В том же 1820 году происходят революции и вводятся конституции в Неаполе и Пьемонте. В 1821 году греки восстают против турецкого ига. В 1823 году вводятся штаты в Пруссии.

Человек находится в заключении, он прикован к скале на острове Святой Елены, человек умирает, его кладут в могилу, он покоится под безымянным камнем, но идея свободна, идея переживает его, идея бессмертна!

И только один народ, одна страна не испытали на себе вследствие своего географического положения благотворного влияния Франции. Они были слишком удалены для того, чтобы мы решились вступить на ее территорию. Наполеон задумал подорвать могущество Англии в Индии и для этого заключил союз с Россией... Едва только взглянув в направлении Москвы, он привык к расстояниям. Расстояния мало-помалу стали теряться для него. Это был пагубный оптический эффект. Нужен был предлог для того, чтобы завоевать Россию, как мы уже завоевали Италию, Египет, Германию, Австрию и Испанию. Предлог не замедлил представиться, равно как он всегда находился во времена крестовых походов, когда мы отправлялись позаимствовать достижения цивилизации на Востоке. Так хотел Господь: нам суждено было принести свободу на Север. И стоило только какому-то английскому кораблю войти в порт не помню уже какого балтийского города, как Наполеон объявил войну человеку, который за два года до этого, преклонив голову, процитировал ему вот этот стих Вольтера:

С великим человеком дружба – благословение небес!

И тут с первого же взгляда становится понятно, что прозорливость Господа отступила перед деспотичным характером одного человека. Французы вступают в Россию, но русские отступают перед французами. Свобода и рабство не находят контакта между собой. Ни одно семя не смогло прорости на этой замерзшей почве, поскольку перед нашими армиями отступают не только армии, но и население противника. И мы захватываем пустынные земли, подожженную столицу. И когда мы входим в Москву, Москва пуста, она горит!

И тогда миссия Наполеона завершилась, наступил момент его падения. Но и падению Наполеона суждено было сослужить добрую службу свободе, равно как и возвышению Бонапарта. Русский царь, такой осторожный перед побеждающим врагом, потерял осторожность, видя перед собой врага побежденного. Он пятился перед победителем, а теперь, видите, отец, он готов преследовать бегущего...

Бог лишил Наполеона поддержки... За три года до этого его добрый гений Жозефина уступила место Марии-Луизе, самому воплощению деспотизма. И Господь отвратил от Наполеона свой взор. А для того, чтобы кара Божья была более наглядна и видна всем, уже не люди стали биться против людей: нарушен порядок в природе, резко наступают холода и снега, и они добивают нашу армию.

И случается то, что было предусмотрено Божественной мудростью: поскольку Париж не сумел донести свою цивилизацию до Москвы, Москва сама пришла за ней в Париж.

Спустя два года после того, как он сжег свою столицу, Александр вступил в нашу столицу. Но пребывание его здесь не было продолжительным: его солдаты только прикоснулись к земле Франции, наше солнце, вместо того, чтобы просветить, только ослепило их.

Господь снова призвал своего избранника, и Наполеон вновь появился во Франции: гладиатор вновь вышел на арену. Он бьется, падает и теряет все под Ватерлоо.

И тогда Париж вновь открывает свои ворота перед русским царем и его дикой армией. На сей раз оккупация продлилась три года. На берегах Сены гуляли люди с берегов Невы, Волги и Дона. Затем, проникнувшись новыми и странными для них идеями, выучив и начав лепетать слова, доселе неизвестные, о цивилизации, освобождении и свободе, они вернулись в свои дикие края, а потом в Санкт-Петербурге происходит выступление заговорщиков-республиканцев... Взгляните на Россию, отец, и увидите, как на Сенатской площади еще не рассеялся дым этого пожара.

Вы, отец, посвятили всю свою жизнь служению человеку-идее. Но человек умер, а идея продолжает жить. Так живите же и вы ради этой идеи!

– Что вы такое говорите, сын? – вскричал господин Сарранти, глядя на Доминика. В глазах его читались одновременно удивление, радость и гордость.

– Я говорю, отец, что после того, как вы столь храбро сражались, вы не должны желать расстаться с жизнью прежде чем услышите, как пробьет час будущей независимости. Отец, мир сейчас находится в состоянии возбуждения. Франция бурлит подобно вулкану. Еще несколько лет, а быть может, и несколько месяцев, и лава начнет истекать из кратера. Она поглотит на своем пути, словно проклятые Богом города, все рабские привычки, всю низость старого общества, обреченного на то, чтобы уступить место новому обществу.

– Повтори это еще раз, Доминик! – воскликнул в воодушевлении корсиканец, чьи глаза стали метать искры радости, когда он услышал из уст сына такие пророческие и утешительные слова, ставшие для него драгоценными, как алмазная россыпь. – Повтори, что ты сейчас сказал... Ты – член какого-то тайного общества, не так ли? И ты знаешь, что произойдет в будущем?

– Я не состою ни в каком тайном обществе, отец, и если я что-то и знаю о будущем, то только то, что я увидел в прошлом. Я не знаю, зреет ли где-то во тьме какой-нибудь заговор. Но я знаю то, что на глазах у всех, в лучах солнца зреет всеобщий и всепобеждающий заговор: это заговор добра против зла. Противники готовы, мир ждет, когда начнется их схватка... А посему я призываю вас, отец, живите!

– Да, Доминик! – воскликнул господин Сарранти, протягивая сыну руку. – Вы правы. Теперь мне хочется жить. Но как я могу выжить, коль я приговорен к смерти?

– Это уже моя забота, отец.

– Но только не помилование, слышишь, Доминик? Я не желаю получать его от тех людей, которые на протяжении двадцати лет боролись против Франции.

– Нет, отец. Доверьтесь мне: я сумею сохранить честь семьи. От вас требуется лишь одно: подать кассационную жалобу. Невиновный не должен молить о пощаде.

– Так каковы же ваши планы, Доминик?

– Отец, я должен скрывать их от всех. Даже от вас.

– Это тайна?

– Совершеннейшая тайна. И я никому не могу говорить о ней.

– Даже отцу, Доминик?

Доминик взял руку отца и с уважением поцеловал ее.

– Даже отцу! – сказал он.

– Тогда не будем больше об этом, сын... Когда я смогу снова увидеться с вами?

– Через пятьдесят дней, отец... Возможно, чуть раньше. Но никак не позже.

– Так, значит, я увижу вас только через пятьдесят дней? – испуганно воскликнул господин Сарранти.

Он уже начал бояться смерти.

– Я отправляюсь в длительное паломничество... И теперь я прощаюсь с вами. Я уйду сегодня вечером, ровно через час. И остановлюсь только по возвращении... Благословите меня, отец!

На лице господина Сарранти появилось возвышенное выражение.

– Пусть Господь сопровождает тебя в твоём нелегком паломничестве, благородное сердце! – сказал он, подняв руки над головой сына. – Пусть он спасет тебя от засад и предательств и пусть приведет тебя назад для того, чтобы открыть двери моей темницы, независимо от того, выйду ли я отсюда, чтобы жить или чтобы умереть!

Затем, взяв в ладони лицо коленопреклоненного монаха, посмотрел в него с нежностью и гордостью, поцеловал в лоб и знаком показал на дверь, боясь, вне всякого сомнения, что наполнившее его сердце волнение перерастет в рыдания.

И монах, тоже почувствовав, как силы изменили ему, отвернулся, чтобы скрыть от отца брызнувшие из глаз слезы, а затем стремительно вышел из камеры.

Глава XXVII I

Паспорт

Когда аббат Доминик выходил из тюрьмы «Консьержери», часы пробили четыре раза. На улице монаха подждал Сальватор.

Молодой человек, увидев взволнованное состояние аббата, догадался о том, что происходило в его душе, и понял, что разговором об отце он только разбередит его рану. А посему он сказал всего лишь:

– И что же вы теперь намерены делать?

– Я отправляюсь в Рим.

– Когда?

– Как можно скорее.

– Вам нужен паспорт?

– Может быть, моя одежда сможет заменить его мне. Но все же для того, чтобы не возникало никаких задержек, я предпочел бы иметь паспорт.

– Тогда пошли за ним. Мы находимся в двух шагах от префектуры полиции. И я надеюсь, что смогу сделать так, что получение его не займет у вас много времени.

Спустя пять минут они уже входили во двор префектуры полиции.

При входе в отдел по выдаче паспортов они едва не столкнулись в темном коридоре с каким-то человеком.

Сальватор узнал господина Жакаля.

– Прошу извинить меня, мсье Сальватор, – сказал полицейский, узнав молодого человека. – Я не стану спрашивать у вас, какому счастливому случаю я обязан тем, что снова вижу вас.

– Почему же вы не хотите спросить меня об этом, мсье Жакаль?

– Да потому что я знаю, зачем вы пришли.

– Вы знаете, что привело меня сюда?

– Разве мое положение не обязывает меня знать все?

– В таком случае, почему же я пришел сюда, дорогой мсье Жакаль?..

– Вы пришли за паспортом, дорогой мсье Сальватор.

– Для себя? – со смехом спросил Сальватор.

– Нет... Для мсье, – ответил господин Жакаль, указывая пальцем на монаха.

– Мы с братом Домиником стоим рядом с отделом выдачи паспортов. Вы знаете, что дела удерживают меня в Париже. Отсюда нетрудно догадаться, дорогой мсье Жакаль, что я пришел за паспортом и что паспорт нужен этому господину.

– Да. Но главное было в том, чтобы предугадать ваше желание.

– Ах, ах!.. И вы его предугадали?

– Настолько, насколько мне позволила сделать это моя ничтожная предусмотрительность.

– Не понимаю.

– Не соизволите ли из дружеского ко мне расположения пройти с мсье аббатом со мной, дорогой мсье Сальватор? И тогда вы, возможно, все поймете.

– И куда же вы хотите нас отвести?

– Да в комнату, где выдаются паспорта. И там вы увидите, что паспорт для мсье аббата уже готов!

– Готов? – произнес Сальватор с сомнением.

– О, бог мой, конечно, готов, – ответил господин Жакаль со столь знакомым нам выражением добродушия на лице.

– И даже с приметам?

– Даже с приметами. Там не хватает только росписи мсье аббата.

Они подошли к конторке, стоявшей прямо перед дверью.

– Паспорт мсье Доминика Сарранти, – сказал господин Жакаль начальнику отдела, сидевшему в маленькой деревянной клетушке.

– Вот он, мсье, – ответил начальник отдела, протягивая паспорт господину Жакалю. Тот передал его монаху.

– Это то, что нужно, не так ли? – продолжал господин Жакаль, видя, что Доминик с удивлением посмотрел на официальную бумагу.

– Да, мсье, – ответил аббат. – Это то, что нужно.

– В таком случае, – сказал Сальватор, – нам остается только получить визу у господина папского нунция.

– Это совсем просто, – произнес господин Жакаль, беря из табакерки большую щепоть табака и с наслаждением втягивая его ноздрей.

– Но этим вы оказали нам огромную услугу, дорогой мсье Жакаль, – произнес Сальватор. – И я не знаю, как выразить вам мою признательность.

– Не стоит об этом и говорить. Ведь друзья наших друзей – наши друзья, не так ли?

Господин Жакаль произнес эти слова с таким пожатием плечами, с таким добродушным выражением на лице, что Сальватор посмотрел на него с подозрением.

У него иногда уже бывали моменты, когда он готов был принять господина Жакаля за филантропа, который избрал для себя профессию полицейского только из любви к человечеству.

Но именно в этот самый момент господин Жакаль бросил на него мельком один из тех взглядов, которые указывали на его сходство с животным, чье название было созвучно его фамилии.

И Сальватор сделал Доминику знак подождать его. А сам обратился к полицейскому:

– Могу я вас на пару слов, дорогой мсье Жакаль?

– Да хоть на четыре, мсье Сальватор... На шесть, на все слова из словарного запаса. Мне доставляет такое большое удовольствие беседа с вами, что, когда мне удастся завязать разговор, хочется, чтобы он никогда не кончился.

– Вы очень любезны, – произнес Сальватор.

И, несмотря на отвращение, которое он испытывал в душе от подобного знакомства, он взял полицейского под руку.

– Дорогой мсье Жакаль, ответьте мне, пожалуйста, на два вопроса...

– С превеликим удовольствием, дорогой мсье Сальватор.

– Зачем вы приготовили заранее этот паспорт?

– Это – первый из тех двух вопросов, которые вы хотели мне задать?

– Да.

– Да затем, чтобы сделать вам приятное.

– Спасибо... А теперь скажите, как вы узнали о том, что сможете сделать мне приятное, приготовив заранее паспорт на имя мсье Доминика Сарранти?

– Ведь мсье Доминик Сарранти ваш друг, насколько я смог судить об этом в тот день, когда встретился с вами у постели мсье Коломбана.

– Отлично! Но каким образом вы смогли догадаться о том, что он отправляется в путешествие?

– Об этом мне не надо было и догадываться: он сам сказал об этом Его Величеству, когда попросил у него отсрочить на пятьдесят дней приведение в исполнение приговора.

– Но ведь он не сказал Его Величеству, куда именно он собрался.

– О, святая простота, мсье Сальватор! Мсье Доминик Сарранти просит у короля отсрочить казнь своего отца на пятьдесят дней для того, чтобы успеть совершить путешествие в

триста пятьдесят лье. А каково расстояние от Парижа до Рима? Тысяча триста километров по дороге на Сиенну, тысяча четыреста, если следовать по дороге на Перузу. Следовательно, среднее арифметическое равняется тремстам пятидесяти лье. К кому же может направляться мсье Сарранти при данных обстоятельствах? К папе римскому: ведь он же монах, а папа римский король всех монахов. Следовательно, ваш приятель отправляется в Рим для того, чтобы попытаться заинтересовать короля монахов судьбой своего отца. Для того, чтобы тот попросил короля Франции помиловать его. Вот и все, дорогой мсье Сальватор. Я мог бы оставить вас при мнении, что я волшебник, но я предпочел рассказать вам всю правду. Теперь сами видите, что любой человек путем умозаключений сумел бы так же ловко, как и я, достичь желанной цели. А посему мсье Доминику остается только поблагодарить меня от вашего и своего имени и отправиться в Рим.

– Хорошо, – сказал Сальватор. – Именно так он и поступит.

Затем подозвал к себе монаха.

– Дорогой мой Доминик, – сказал он. – Мсье Жакаль готов выслушать от вас слова благодарности.

Монах приблизился, поблагодарил господина Жакаля, выслушавшего его все с тем же выражением доброты и даже простоты на лице, которое он хранил на протяжении всего разговора.

Друзья покинули здание префектуры полиции.

Метров сто они прошли, храня молчание.

Потом вдруг аббат Доминик резко остановился и тронул за руку погруженного в раздумья Сальватора.

– Друг мой, меня гложет беспокойство, – сказал он.

– Меня тоже, – ответил Сальватор.

– Предупредительность этого полицейского кажется мне какой-то неестественной.

– Да и мне, признаться, тоже... Но давайте продолжим наш путь. За нами, возможно, следят.

– Зачем бы ему было облегчать мое путешествие? – сказал аббат, подчиняясь приглашению Сальватора.

– Не знаю. Но, как и вы, считаю, что за этим что-то кроется.

– Вы поверили тому, что он сделал это, лишь чтобы доставить вам удовольствие?

– О, вообще-то это не исключено: он человек странный и иногда, не знаю, почему и как, его охватывают чувства, никак не вяжущиеся с его положением. Однажды ночью, когда я возвращался домой через самые отдаленные кварталы города, я услышал на одной из не имеющих названия, но страшных улочек, где-то между улицей Тюэри и улицей Старого Фонаря, сдавленные крики. Я всегда ношу при себе оружие – вы догадываетесь, почему, Доминик, – и поэтому я бросился в ту сторону, откуда доносились крики. И увидел, как внизу, на осклизлой лестнице, соединяющей улицу Тюэри с улицей Старого Фонаря, один человек боролся стремя. Те пытались утащить его к Сене через открытую дверь сливного колодца канализации. Я не смог спуститься вниз по лестнице, поскольку поскользнулся и упал на улицу, оказавшись всего в двух шагах от дерущихся. Один из нападавших бросился ко мне, подняв над головой палку. И в тот же самый миг раздался pistolетный выстрел, и он рухнул замертво в сточную канаву. При виде этого испуганные звуком выстрела двое других разбойников скрылись. А я оказался лицом к лицу с тем человеком, на помощь которому Провидению угодно было меня направить. Это был мсье Жакаль. Я знал его только по имени, как и все остальные. Он рассказал мне, как и почему он оказался в этом месте: ему надо было проникнуть в один пользовавшийся дурной славой притон, что находился на улице Старого Фонаря, всего в нескольких метрах от лестницы. Он прибыл туда на четверть часа раньше своих людей и притаился у решетки колодца для сточных вод. Но тут внезапно решетка распахнулась и на него набросились трое. Это были

в некотором роде делегаты от всех парижских воров и убийц. Они поклялись покончить с мсье Жакалем, чье рвение по службе не давало им спокойно заниматься своим делом. И им удалось бы сдержать свое слово и избавить от мсье Жакаля преступный мир, но тут, к несчастью для них, а особенно для того, кто хрипел у моих ног, появился я и пришел на помощь мсье Жакалю... С того самого дня мсье Жакаль испытывает ко мне некоторую признательность и иногда оказывает мне и моим друзьям те мелкие услуги, которые он может оказать, без ущерба для своего долга начальника полиции.

– Значит, действительно возможно, – сказал аббат Доминик, – что он сделал все это для того, чтобы доставить вам удовольствие.

– Возможно, и так, но давайте войдем в дом. Видите вон того пьяницу: он плетется за нами следом с самой Иерусалимской улицы. Но стоит нам оказаться по ту сторону двери, как он моментально протрезвеет.

Сальватор вынул из кармана ключ, открыл дверь садика, пропустил вперед Доминика, вошел сам и запер за собой дверь.

Роланд уже учуял хозяина. Поэтому встретил молодых людей на первом этаже. Фрагола ждала Сальватора у дверей жилища.

Ужин был уже готов, поскольку, пока происходили все эти события, время уже перевалило за шесть.

Лица у вошедших были серьезными, но спокойными. А это означало, что не случилось ничего особенного.

Фрагола на всякий случай все же вопросительно взглянула на Сальватора.

– Всё в порядке! – ответил тот, едва улыбнувшись.

– Не соблаговолит ли мсье аббат разделить наш ужин? – спросила Фрагола.

– С удовольствием.

Фрагола исчезла.

– Теперь, – произнес Сальватор, – дайте-ка мне ваш паспорт, брат мой.

Монах достал сложенный вдвое и спрятанный на груди паспорт.

Сальватор развернул бумагу, тщательно ее просмотрел, покрутил перед глазами, но не нашел там ничего подозрительного.

Наконец он приложил бумагу к окну.

И тут он увидел на прозрачной бумаге совсем в другом месте, где он предполагал, невидимую для глаза букву.

– Взгляните-ка, – сказал Сальватор. – Видите?

– Что? – спросил аббат.

– Вот эту букву.

И он указал на нее пальцем.

– Букву «С»?

– Да, букву «С». Теперь понимаете?

– Нет.

– Буква «С» является первой буквой в слове слежка.

– И что с того?

– А то, что она означает: «Именем короля Франции я, Жакаль, доверенное лицо префекта полиции, предписываю всем французским полицейским, действующим в интересах Его Высочества, и всем иностранным полицейским, действующим в интересах своих правительств, следить, наблюдать, останавливать на дороге и при необходимости даже обыскивать предьявителя этого паспорта». Словом, друг мой, вы, сами того не ведая, находитесь под пристальным наблюдением высших чинов полиции.

– Но какое мне до этого дело? – спросил аббат.

– О, брат мой, мы должны отнестись к этому со всей осторожностью! – с серьезным выражением на лице сказал Сальватор. – То, каким образом был проведен процесс против вашего отца, доказывает, что кое-кому было бы выгодно убрать его. Не хочу хвалить Фраголу, – добавил Сальватор с едва уловимой улыбкой, – но только благодаря ее связям в самых высоких сферах вы смогли получить аудиенцию у короля, в результате которой вы добились у него отсрочки казни на два месяца.

– Полагаете, что король способен нарушить свое слово?

– Нет. Но в вашем распоряжении всего два месяца.

– Этого больше чем достаточно для того, чтобы я успел побывать в Риме и вернуться назад.

– Если у вас не возникнет никаких затруднений. Если с вашего пути будут устранены помехи. Если вас не остановят. И если, после вашего туда прибытия, вам не помешают путем тысячи подводных интриг увидеться с тем, с кем вам хотелось бы увидеться.

– Я полагал, что любой монах, проделавший паломничество в четыреста лье и прибыв в Рим босым и с посохом в руке, может только подойти к дверям Ватикана и что лестница, ведущая к покоям того, кто некогда и сам был простым монахом, будет для него открыта.

– Брат мой, вы все еще верите в то, во что постепенно перестанете верить... Человек, который появляется на свет, похож на дерево. И ветер сначала разбрасывает его цветы, потом срывает с него листья, затем ломает ветви, и так продолжается до тех пор, пока буря, следующая за ветром, однажды не сломает его совсем... Брат мой, они заинтересованы в том, чтобы мсье Сарранти умер, они используют все возможные средства к тому, чтобы свести на нет обещание, которое вы вырвали у короля.

– Вырвал! – воскликнул Доминик, удивленно глядя на Сальватора.

– С их точки зрения, вырвали... Послушайте, как, вы думаете, они объясняют то влияние, которое привело к тому, что мадам герцогиня Беррийская, любимая дочка короля, муж которой погиб от руки фанатика, заинтересовалась судьбой сына другого революционера, который и сам является революционером и фанатиком?

– И правда, – пробормотал, побледнев, Доминик. – Но что же делать?

– Принять меры предосторожности.

– Но как?

– Мы сейчас сожжем этот паспорт, который может вам только повредить.

И Сальватор, разорвав паспорт, бросил его в огонь.

Доминик посмотрел на него с беспокойством.

– Но как же я теперь буду путешествовать без паспорта? – спросил он.

– Прежде всего, брат мой, поверьте, что намного лучше путешествовать совсем без паспорта, чем с таким, как тот, который мы получили. Но вы без паспорта не останетесь.

– Но кто же даст мне паспорт?

– Я! – сказал Сальватор.

И, открыв небольшой секретер, он нажал на потайную кнопку и выдвинул ящичек. Потом извлек из стопки лежавших там бумаг подписанный бланк паспорта, в который оставалось внести фамилию владельца и его приметы.

Взяв перо, он заполнил пробелы: в графу фамилия он вписал «брат Доминик», указав приметы Сарранти.

– А виза? – спросил Доминик.

– На нем стоит виза посольства Сардинии. Она действительна до Турина. Я собирался, инкогнито, разумеется, съездить в Италию. Поэтому-то и запасся этим паспортом. Пусть он послужит вам.

– А в Турине?..

– В Турине вы скажете, что дела вынуждают вас отправиться в Рим. И вам безо всяких затруднений продлят визу.

Монах схватил руки Сальватора и крепко сжал их.

– О, брат мой, о, мой друг! – сказал он. – Как я смогу отплатить вам за все, что вы для меня сделали?

– Я вам уже сказал, брат мой, – ответил Сальватор с улыбкой, – что бы я ни сделал для вас, я останусь вашим должником.

В этот момент вошла Фрагола. Она услышала эти последние слова.

– Повтори нашему другу то, что я ему только что сказал, дитя мое, – произнес Сальватор, протягивая девушке руку.

– Он обязан вам жизнью, отец мой. Я обязана вам моим счастьем. Франция будет обязана ему в той мере, в которой может сослужить родине человек своим освобождением. Вы сами видите, что долг огромен. А поэтому можете располагать нами.

Монах посмотрел на этих красивых молодых людей.

– Вы творите добро: будьте же счастливы! – сказал он с жестом отеческой и милосердной снисходительности.

Фрагола указала на накрытый стол.

Монах сел между молодыми хозяевами, с серьезностью прочел *Benedicite*. Они прослушали эту молитву с улыбкой чистых душ, которые уверены в том, что молитва достигнет Бога.

Отужинали быстро и молчаливо.

Не успел еще ужин закончиться, как Сальватор, увидев нетерпение в глазах монаха, поднялся из-за стола.

– Я в вашем полном распоряжении, отец мой, – сказал он. – Но перед тем, как уйти, позвольте мне вручить вам талисман. Фрагола, принеси ящик для писем.

Фрагола вышла.

– Талисман? – переспросил монах.

– О, не беспокойтесь, отец мой, это никак не связано с идолопоклонством. Но вы, должно быть, помните о том, что я вам сказал по поводу трудностей, которые могут возникнуть на пути к святому отцу.

– О, так значит, вы и там можете мне чем-то помочь?

– Вполне возможно! – с улыбкой ответил Сальватор.

Затем, увидев вошедшую с коробкой Фраголу, добавил:

– Принеси еще свечу, воск и печатку с гербом, дорогое дитя.

Девушка поставила коробку на стол и снова ушла.

Сальватор открыл коробку маленьким золотым ключиком, висевшим на цепочке у него на шее.

В коробке было штук двадцать писем. Он вынул одно из них не глядя.

В этот момент вошла Фрагола, принеся свечу, воск и печатку.

Сальватор положил письмо в конверт, наложил на него печатку с гербом и надписал на конверте адрес:

Господину виконту де Шатобриану, Рим.

– Вот, держите, – сказал он Доминику. – Три дня тому назад тот, кому это письмо адресовано, устав видеть, как развиваются события во Франции, уехал в Рим.

– Господину виконту де Шатобриану? – повторил монах.

– Да. Перед таким именем, как у него, откроются все двери. Если вы столкнетесь с непреодолимыми, на ваш взгляд, препятствиями, передайте ему это письмо, скажите, что оно вручено вам сыном того, кто написал эти строки. Он пойдет туда, куда вам будет нужно, вам останется только следовать за ним. Но вы должны прибегнуть к этому средству только в случае

крайней необходимости. Поскольку в нем заключена тайна, которую будут знать только три человека: вы, мсье де Шатобриан и мы с Фраголой, но мы составляем единое целое.

– Я буду слепо следовать вашим инструкциям, брат мой.

– Тогда это – все, что я хотел вам сказать. Поцелуйте руку этого святого человека, Фрагола. Я же провожу его до последнего парижского дома.

Фрагола подошла и поцеловала руку монаха. Тот посмотрел на нее со своей мягкой улыбкой.

– Я еще раз даю вам мое благословение, дитя, – сказал он. – Будьте столь же счастливы, сколь вы целомудренны, добры и красивы.

Потом, словно все живые существа в доме имели право на благословение, он погладил по голове собаку и вышел.

Сальватор, немного задержавшись, нежно поцеловал Фраголу в губы и прошептал:

– Да, ты целомудренна, добра и красива!

И вышел вслед за аббатом.

Глава XXIX

Паломник

Перед тем, как отправиться в путь, аббат решил зайти домой. Поэтому молодые люди пошли в сторону улицы По-де-Фер.

Не прошли они и десятка шагов, как от стены кто-то отделился, по виду комиссионер, которому только что вручил письмо человек, укутанный в плащ. Комиссионер пошел вслед за нашими молодыми людьми.

– Взгляните, – сказал Сальватор монаху. – Могу поспорить, что у этого человека есть дело в той же стороне, что и у нас.

– Значит, за нами следят?

– Черт побери!

И действительно, молодые люди, обернувшись один раз на углу улицы Шпоры, второй раз на углу улицы Сен-Сюльпис и в третий раз перед домом аббата, увидели, что тот человек явно шел по делам в ту же сторону, что и они.

– О! – прошептал Сальватор. – Этот человек так же ловок, как и мсье Жакаль. Но поскольку с нами Бог, а на его стороне только дьявол, мы, возможно, сможем перехитрить его.

Они вошли в дом. Аббат взял ключ от своей комнаты. Тот человек остался внизу, разговаривая с консьержкой и поглаживая кошку.

– Рассмотрите повнимательнее этого человека, когда мы будем выходить, – сказал Сальватор, поднимаясь по лестнице вслед за Домиником.

– Какого человека?

– Того, что разговаривает сейчас с вашей привратницей.

– Зачем?

– Затем, что он будет сопровождать нас до самой заставы, а вас, возможно, и еще дальше.

Они вошли в комнату Доминика.

После тюрьмы «Консьержери» и префектуры полиции эта комната могла показаться оазисом. Заходящее солнце освещало ее в этот час своими самыми ласковыми лучами. На цветущих платанах Люксембургского сада щебетали птички. Воздух был чист. Только войдя в это пристанище, человек начинал сразу же чувствовать себя счастливым.

У Сальватора сердце сжалось при мысли о том, что бедному монаху приходится покинуть эту священную обстановку и отправиться бродить по дорогам, переходя из страны в страну под обжигающим солнцем юга, под ледяным ветром его ночей.

Аббат остановился посреди комнаты и оглядел ее.

– Я так был счастлив здесь! – сказал он, выражая словами мысли своего друга. – Я провел в этом мирном убежище самые приятные часы моей жизни. Здесь я вкушал наслаждение учебы, утешение от Господа. Подобно монахам, живущим на острове Табор или на Синае, здесь ко мне приходили воспоминания о прошедшей жизни, откровения о жизни будущей. Здесь проходили, будто живые, самые радужные мечты моей молодости, самые восхитительные видения моего отрочества. Я желал только одного: иметь друга. Бог дал мне этого друга в лице Коломбана, но Бог и отнял его у меня. И все же он дал мне нового друга – вас, Сальватор! Свершилась воля Божья!

Сказав это, монах взял какую-то книгу, которую сунул в карман своего одеяния. Затем повязал поверх своих белых одежд простой черный шнур. Пройдя мимо Сальватора, он взял в углу комнаты длинный сосновый посох и показал его другу.

– Я принес его из одного печального паломничества, – сказал он. – Это – единственное вещественное воспоминание о Коломбане.

Затем, из боязни размягчиться и зарыдать, он добавил, не теряя ни минуты:

– Может быть, пойдём, друг мой?

– Пошли! – ответил Сальватор и поднялся на ноги.

Они спустились вниз. У привратницы никого не было: следивший за ними человек стоял на углу улицы.

Молодые люди прошли через Люксембургский сад. Человек проследовал за ними. Они вышли на аллею Обсерватории, прошли по улице Касини, миновали предместье Сен-Жак и прошли в полном молчании заставу Фонтенбло под любопытными взглядами таможенников и простолюдинов, не привыкших видеть монашеские одеяния. На протяжении всего пути тот человек неотступно следовал за молодыми людьми.

Мало-помалу дома стали попадаться все реже, расстояние между ними все увеличивалось, и наконец перед ними открылась равнина, на которой раскачивались колосья.

– Где вы заночуете сегодняшней ночью? – спросил Сальватор.

– В первом же доме, где захотят предоставить мне кров, – ответил монах.

– Вам придется смириться с тем, что именно я предоставляю вам этот кров.

Монах покорно кивнул в знак согласия.

– В пяти лье отсюда, – продолжал Сальватор, – чуть дальше Кур-де-Франс, слева, вы увидите тропинку, которую узнаете по столбу, на нем нарисован белый крест в виде герба. Из тех, что называют крестом на лапках.

Доминик снова кивнул.

– Вы пройдёте той тропинкой, она проведет вас через заросли ольхи, тополя и ив, и увидите в свете луны маленький домик. На двери этого домика будет такой же белый крест, как и на столбе.

Доминик кивнул в третий раз.

– Рядом с домиком растёт ива с дуплом, – продолжал Сальватор. – Вы сунете руку в дупло этой ивы и найдёте там ключ от двери дома. Возьмите его и откройте дверь. На эту ночь и на столько ночей, сколько пожелаете, хижина будет в вашем полном распоряжении.

У монаха даже и мысли не возникло спросить у Сальватора, зачем ему нужен был дом у реки. Он просто обнял своего друга.

Молодые люди обнялись. Их сердца были полны волнения.

Пришло время расстаться.

Аббат ушел.

Сальватор продолжал стоять неподвижно на том же самом месте, где они расстались, следя взором за удаляющейся в сумерках фигурой монаха.

Если бы кто увидел этого красивого монаха, который мирно и важно, опираясь на сосновый посох, в развевавшихся на ветру ослепительно белых одеяниях и накинутом поверх них плаще, уходил в длительное и утомительное паломничество, если бы кто увидел, как этот прекрасный монах босиком ступал ровными и уверенными шагами, тот непременно почувствовал бы в душе одновременно сострадание и грусть, уважение и восхищение им.

Наконец Сальватор, потеряв его из виду, сделал знак, говоривший: «Да хранит его Бог!», и возвратился в этот вонючий и грязный город. В душе у него было одним огорчением больше и одним другом меньше.

Глава XXX

Девственный лес на улице Ада

Оставим аббата Доминика на его пути в Италию. Пусть он продолжает совершать свое грустное и длительное паломничество длиною в триста пятьдесят лье с сердцем, наполненным тревогой, с израненными об острые камни ногами, и посмотрим, что произошло приблизительно за три недели до его отправления в дальний путь. То есть в понедельник 21 мая в полночь в доме, а если точнее, в парке перед неким необитаемым домом в одном из самых густонаселенных предместий Парижа.

Наши читатели, возможно, помнят, как однажды, весенней ночью Кармелита и Коломбан в те быстро прошедшие времена их счастья посетили могилу Лавальер. В ту самую ночь, если читатель помнит, они, пройдя по улицам Сен-Жак и Валь-де-Грас, повернули налево и подошли на улице Ада к маленькой деревянной решетчатой двери, которая вела в бывший сад монастыря Кармелиток.

Так вот, по другую сторону улицы, а следовательно, справа от Обсерватории, почти напротив сада монастыря Кармелиток есть небольшая дверца с низким сводом. Она сделана из стальных прутьев и закрыта на железную цепь.

Когда вы будете проходить мимо, взгляните через решетку этой двери, и вы будете очарованы дикой растительностью, которую никогда до сих пор не видели и о которой даже и не мечтали.

Действительно, представьте себе вход в лес платанов, смоковниц, лип, каштанов, акаций, сумах, сосен и тюльпановых деревьев, сплетенных между собой, словно лианы, и соединенных тысячеруким плющом в неописуемую мешанину. Что-то вроде непроходимого леса, джунглей Индии или Америки. И тогда у вас будет более или менее точное представление о том очаровании, которое открывается, когда вы с удивлением видите этот уединенный уголок парка. И даже более чем уединенный – таинственный.

Но это очарование видом девственного леса и буйной растительности очень быстро проходит, уступая место страху, когда прохожий видит его не при свете дня, а в вечерних сумерках или в ночном мраке, едва освещенном луной.

И тогда, при бледном свете серебряной диадемы, прохожий замечал вдали развалины какого-то дома и огромный зияющий колодец, окруженный высокой травой. Тогда он слышал в тишине звук тысяч шагов, которые в полночь раздаются на кладбищах, в разрушенных башнях и в заброшенных дворцах. И тем более если запоздалый прохожий являлся поклонником Гёте или почитателем Гофмана, и, значит, сердце его было полно образов и впечатлений от произведений этих двух поэтов. И в памяти его всплывали воспоминания о рейнских деревушках, которые навещали призраки баронов, о духах из Богемских лесов, обо всех этих сказках, легендах и ужасных происшествиях из истории древней Германии. А поэтому он начинал желать, чтобы эти молчаливые деревья, этот разверзнутый колодец, этот полуразрушенный дом рассказали ему свою историю, свою сказку или легенду.

Что же произойдет с тем, кто, расспросив проживающую напротив двери парка славную тряпичницу по имени мадам Тома, попросив ее рассказать какую-нибудь легенду или историю об этом загадочном парке, добьется от нее силой или хитростью разрешения войти в него? Он, несомненно, вздрогнет уже от того, что увидит через решетку эту странную, темную и таинственную чашу, где перемешались старые деревья, высокие травы, папоротник, крапива и плющ.

Ребенок ни за что не осмелился бы переступить порог этой двери. Женщина упала бы в обморок, только взглянув на парк сквозь решетку.

Посреди этого квартала, образованного заставой Сен-Жак, Обсерваторией и площадью Сен-Мишель, уже полного легенд, начиная с легенды о дьяволе Вовере, парк этот является чем-то вроде гнезда, откуда вылупляются все новые и новые легенды, о которых может рассказать каждый встречный.

Какая же из всех этих противоречивых легенд наиболее соответствует истине? Этого мы вам сказать не можем. Но, не клянясь Богом в подлинности, мы расскажем вам ту, которая нам ближе. И тогда вы поймете, почему воспоминание об этом мрачном фантастическом доме осталось в нашей памяти и продолжает жить, хотя прошло уже без малого тридцать лет.

Я только что приехал в Париж. Мне было двадцать лет. Я жил на улице Фобур-Сен-Дени и имел любовницу на улице Ада.

Вы спросите меня, каким образом я умудрился, живя на улице Фобур-Сен-Дени, завести любовницу в этом потерянном квартале, расположенном так далеко от моей квартиры. Отвечу, что, когда человек в двадцать лет приезжает в столицу из Вилье-Котре и когда у него только тысяча двести франков жалованья, он любовницу не выбирает. Это она выбирает его.

Вот и я был выбран в любовники одной юной очаровательной особой, проживавшей, как я уже сказал, на улице Ада.

И трижды в неделю я отправлялся, к ужасу моей бедной матери, с ночным визитом к этой юной и прекрасной особе. Я выходил из дому в десять вечера, а возвращался в три часа утра.

Совершая эти ночные прогулки, я, уверенный в своем росте и своей силе, не брал с собой ни трости, ни кинжала, ни пистолетов.

Маршрут моих прогулок был очень простым. Его можно было бы начертить на карте Парижа линейкой и карандашом: таким он был прямым. Выйдя из дома номер 53 по улице Фобур-Сен-Дени, я следовал через мост Менял, по улице Бочаров и мосту Сен-Мишель. Затем по улице Арфы выходил на улицу Ада, с улицы Ада попадал на Восточную улицу, с Восточной улицы на площадь Обсерватории. Потом, пробираясь вдоль стены приюта подкидышей, проходил мимо заставы и на полпути между улицей Пепиньер и улицей Ларошфуко открывал дверцу сада, доходил до ныне исчезнувшего и живущего, быть может, только в моих воспоминаниях дома. Домой я возвращался точно той же дорогой. Это значит, что ночью я проделывал путь длиной что-то около двух лье.

Моя бедная мать, очень беспокоившаяся оттого, что не знала, куда я хожу, была бы еще более напугана, если смогла бы проследить за мной и увидеть, через какие мрачные и пустынные места лежал мой путь, начиная с того места, что называлось Горный институт.

Но самым пустынным и мрачным отрезком этого маршрута были, бесспорно, те пятьсот метров, которые мне надо было преодолеть между улицей Аббе-де-л'Эпе и улицей Пор-Руаяль и обратно. Эти пятьсот метров мне надо было пройти рядом со стенами проклятого дома.

Признаюсь, что безлунными ночами эти самые пятьсот метров очень меня волновали.

Говорят, что у пьяниц и влюбленных есть свой бог, который их охраняет. Слава богу, я не могу ничего сказать про пьяниц. Но что касается влюбленных, то я очень склонен в это верить: мне ни разу никто на пути не попался.

Честно говоря, толкаемый страстью все знать до конца, я решил взять быка за рога, то есть проникнуть в этот загадочный дом.

Я начал с того, что стал справляться о легенде, которая этот дом окружала, у той особы, что заставляла меня через ночь совершать тот опрометчивый поступок, о котором я только что вам рассказал. Она пообещала справиться об этом у своего брата, одного из самых буйных студентов Латинского квартала. Легенды его мало интересовали, но все же для того, чтобы удовлетворить любопытство сестры, он навел справки и кое-что узнал.

Одни говорили, что этот дом принадлежал некоему богатому индийскому набобу, а после того, как умерли его сыновья и дочери, внуки и внучки, а также правнуки – этому индийцу было уже полтора века, – он поклялся никого больше не видеть, пить воду только из своей

цистерны, питаться только травами из своего сада, спать только на голой земле, положив под голову камень.

Другие уверяли, что этот дом был приютом банды фальшивомонетчиков, что все ходившие в Париже фальшивые деньги были изготовлены между аллеей Обсерватории и Восточной улицей.

Набожные люди говорили шепотом, что в этом жилище поселилось в стародавние времена привидение генерала ордена иезуитов, которое, посетив братьев в Монруже, возвращалось в это странное жилище через подземный ход длиной всего в полтора лье.

Люди с сильным воображением туманно говорили что-то о привидениях, влачащих цепи, о душах, произносящих молитвы, о необъяснимых, необычайных и нечеловеческих шумах, которые можно было услышать в полночь в определенные дни месяца при определенных фазах луны.

Те, кто занимался политикой, рассказывали тем, кто желал их слушать, что этот парк, являясь частью земель, на которых некогда стояла обитель, перед которой казнили маршала Нея, был куплен семьей маршала вместе с домом, прилегающим к этому печальному месту. И что семья маршала, словно совершая обряд освящения, бросила в колодец ключ от дома, а ключ от ворот – через ограду и удалилась, не смея обернуться и посмотреть назад.

В конце концов этот дом, куда никто никогда не входил, эта обитая железом дверь, истории об ограблениях, об убийствах, о похищениях людей и о самоубийствах, паривших над этим печальным парком подобно стайке птиц, эти сказки, достоверные или недостоверные, которые рассказывались о нем в близлежащем квартале, эта ветвь смоковницы, на которой повесился некто по имени Жорж и которую показывали всем, кто останавливался перед решеткой и расспрашивал о доме, – все это возбудило во мне огромное желание войти днем в этот пустынный сад и в этот заброшенный дом, мимо которого я, вздрагивая, проходил по ночам три раза в неделю.

Ворота сада находились на улице Ада, но вход в дом располагался и располагается поныне на Восточной улице под номером 37. То есть это был предпоследний дом перед Обителью.

По несчастью, в те времена я не был богат – не хочу сказать, что я богат теперь, – и не мог приобрести тот волшебный ключик, которым, как говорят, открываются все двери, ворота и решетки. Но и без этого ключика для того, чтобы проникнуть в этот недоступный дом, я пустил в ход все просьбы, хитрости и интриги. Но ничто не помогло.

Можно было бы взять его штурмом. Но это было делом серьезным: вторжение в чужие владения преследовалось Уголовным кодексом, и если бы меня схватили во время моего ночного посещения этого девственного леса и необитаемого – а возможно, и обитаемого, как знать? – дома, мне было бы очень трудно убедить моих судей в том, что меня привело туда простое любопытство.

Кстати, я уже настолько привык проходить мимо этой стены, за которой росли густые деревья, образывавшие как бы навес над улицей, что вместо того, чтобы ускорить шаг, как я делал это поначалу, я замедлял шаги и иногда останавливался, ловя себя на мысли о том, что готов был пропустить любовное свидание и, если бы это было возможно, посетить этот фантастический сад.

Он был именно фантастическим, вы сами в этом вскоре убедитесь.

Июльским вечером 1826 года, то есть приблизительно за год до тех событий, о которых мы вам сейчас расскажем, когда я, готовясь пойти на свидание, поужинал в Латинском квартале, а к девяти часам уже направлялся к Восточной улице, я, как это уже у меня было принято, поднял глаза на таинственный дом, то увидел на уровне второго этажа огромную табличку, на которой крупными буквами были написаны два слова:

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Я резко остановился, подумав, что неправильно прочел. Потом протер глаза: нет, это не было ошибкой. На фасаде были написаны именно эти два слова: «Продается дом».

– Ах, черт побери! – сказал я себе. – Вот прекрасный случай, которого я так долго ждал. Не будем его упускать!

Я бросился к двери, довольный тем, что теперь у меня было что ответить на вопрос, что я там делаю, и громко постучал. Ответа не было.

Я снова постучал. И снова не получил ответа!

Я еще несколько раз стукнул железным молотком по двери, но результат был все тем же.

Тогда я оглянулся и увидел, что на меня смотрит цирюльник, стоящий на пороге своего дома.

– К кому следует обратиться, – спросил я его, – чтобы осмотреть этот дом?

– Вы хотите осмотреть этот дом? – спросил он с удивлением.

– Да... Разве он не продается?

– Действительно, утром я видел на фасаде это объявление. Но дьявол меня побери, я не знаю, кто прибил это объявление!

Сами понимаете, что мнение этого цирюльника, так совпавшее с моим собственным мнением, вместо того, чтобы уменьшить мое любопытство, только его усилило.

– Не могли бы вы, – продолжил я, – сказать, как мне войти в этот дом и осмотреть его?

– Дьявольщина! Постучитесь в этот погребок и спросите.

Сказав это, цирюльник указал мне на углубление рядом с домом, в которое вела лесенка в пять или шесть ступеней.

Спустившись на последнюю ступеньку, я наткнулся на вещественную преграду: ею оказался огромный, черный как ночь пес. Он был едва различим в сумерках: в темноте светились только его зубы и глаза. Тела же не было видно вовсе. Казалось, что это – чудовище, охраняющее логово. Пес встал, преградил дорогу и с глухим рычанием повернул голову в мою сторону.

Этим рычанием он, казалось, вызывал хозяина... Им оказался обитатель этой таинственной пещеры!

Реальная жизнь, живые люди – все это было в трех шагах позади меня. Я еще ощущал реальность ладонью, но мое воображение было так поражено, что мне показалось, что этих пяти ступенек хватило для того, чтобы я смог попасть в совсем другой мир.

Человек, как и пес, имел очень характерную внешность. Он был одет во все черное, на голове у него была черная фетровая шляпа, огромные поля которой обрамляли его лицо, на нем, как и у собаки, сверкали только глаза и зубы. В руке он держал палку.

– Что вам надо? – спросил он хриплым голосом, подходя ко мне.

– Я хотел бы осмотреть дом, который продается, – ответил я.

– В такое время? – хмыкнул человек в черном.

– Я понимаю, что вам это может показаться странным, но успокойтесь!

И я побренчал в кармане несколькими монетами, единственными, которые у меня были.

– В такое время дома смотреть не приходят, – снова произнес сквозь зубы человек в черном, качая головой.

– Кое-кто приходит, – возразил я. – Я ведь пришел.

Этот аргумент показался человеку в черном явно неоспоримым.

– Ладно, – сказал он. – Вы его увидите.

И он скрылся в глубинах своей пещеры. Признаюсь, что перед тем, как последовать за ним, я сильно колебался. Но в конце концов решился.

Едва я сделал шаг, как наткнулся на препятствие: в грудь мне уперлась ладонь человека в черном.

– Вход на улице Ада, – сказал он, – а не здесь.

– Однако, – возразил я, – дверь дома расположена на Восточной улице.

– Возможно, – ответил человек в черном. – Но через дверь вы в дом не войдете.

Человек в черном может иметь такие же причуды, как и человек в белом. Посему я решил уважать причуды моего гида.

Я вышел из погребка. Мне, кстати, для этого надо было сделать всего пару шагов. И вот я очутился на улице.

Человек в черном, держа в руках палку, последовал за мной. По его пятам поплелся и пес. При свете фонарей мне показалось, что человек этот бросал на меня страшные взгляды. Затем он произнес глухим голосом:

– Сверните направо.

И указал палкой на улицу Валь-де-Грас.

Потом он подозвал к себе пса, обнюхивавшего меня с вызывающей тревогой нескромностью, – словно предчувствуя, что в определенный момент ему будет принадлежать лучший кусочек моего тела. Пес в последний раз взглянул на меня и отошел в сторону. После чего собака и ее хозяин скрылись куда-то налево. Я же продолжал идти направо.

Дойдя до решетки ворот, я остановился.

Сквозь решетку я увидел таинственные глубины того сада, который мне наконец-то разрешили посетить. Это было странное зрелище: грустное, мечтательное, немного мрачное, оно притягивало к себе и захватывало. Луна только что поднялась и светила вовсю, как бы украсив вершины высоких деревьев коронами из опала, жемчуга и бриллиантов. Высокая трава сверкала, подобно изумрудам. То там, то сям по всему лесу вспыхивали светлячки, придавая фиалкам, мху и плющу свой синеватый отблеск. Каждое дуновение ветерка, как в лесах Азии, приносило тысячу незнакомых ароматов и тысячу таинственных шорохов, дополнявших открывшееся глазам очарование сладострастием слуха и обоняния.

Какая радость должна была бы охватить поэта, который, сбежав из Парижа, смог бы в самом же Париже гулять днями и ночами по этой волшебной стране!

Я продолжал оставаться в этом молчаливом восхищении, когда между мной и этим волшебным зрелищем, открывшимся перед моими глазами, вдруг встала какая-то тень.

Это был тот самый человек в черном. Войдя внутрь, он подошел к двери.

– Вы по-прежнему хотите войти? – спросил он.

– Как никогда! – ответил я.

И тут услышал звук отодвигаемого засова, снимаемых железных перекладин, разматываемых цепей, скрип старого ржавого железа, похожий на звук тяжелой тюремной двери, открывающейся перед узником.

Но это было еще не все: когда человек в черном выполнил все эти различные операции, доказывающие, что он хорошо знаком со слесарным делом, когда он освободил дверь от всех запоров, когда я подумал, что дверь сейчас откроется, и уже нетерпеливо уперся руками в прутья, напрягши спину для того, чтобы повернуть дверь на ржавых петлях, дверь не открывалась, несмотря даже на усилия, которые прилагал человек в черном, и на лай собаки, которую было слышно, но не видно, настолько высока была скрывававшая ее непомерно высокая трава.

Человек в черном первым прекратил всякие попытки. Я же готов был толкать решетку до утра!

– Придется вам прийти в другой день, – сказал мне он.

– Это еще почему?

– Потому что перед дверью образовалась горка земли и ее надо разрыть.

– Так разрыйте же сейчас!

– Что? Разрыть ее ночью?

– Конечно. Ведь когда-то ее вам все равно придется разрывать. Почему бы не сделать это немедленно?

– А вы что, торопитесь?

– Завтра я уезжаю на три месяца.

– Ну, тогда подождите, пока я схожу принесу заступ и лопату.

И он исчез со своей собакой в густой тени гигантских деревьев.

Действительно, то ли от того, что западный ветер за много лет намел у двери горку пыли и та от дождя превратилась в цемент, то ли оттого, что земля просто вздулась, но перед решеткой сада изнутри образовался холмик высотой, вероятно, восемнадцать дюймов. Он был укрыт от взора высокой травой, росшей вдоль нижних железных перекладин.

Очень скоро человек в черном вернулся, неся в руке лопату. Через решетку, увеличенный до гигантских размеров моим возбужденным воображением, он показался мне древним галлом, вооруженным своим дротиком. Лишь черная кожа его лица портила всю картину.

Он принялся долбить землю, испуская при каждом ударе что-то вроде стоны, напоминающего звук, производимый булочниками, за что те и получили прозвище *нытиков*.

Это было то время, когда Лоев-Веймар только что перевел Гоффмана. Голова моя была набита историями наподобие *Оливье Брюнона*, *Майората*, *Кота Мурльки*, *Кремонской скрипки*. Я был уверен в том, что живу в мире фантастики.

Наконец, по прошествии некоторого времени человек в черном закончил свою работу и, опершись на черенок лопаты, произнес:

– Теперь ваша очередь!

– Как это: моя очередь?

– Да, ваша... толкайте!

Подчинившись этому приказу, я стал толкать дверь руками и ногами. Она поупрямилась немного, но в конце концов сдалась. И распахнулась так резко, что ударила человека в черном по лбу, да так сильно, что тот распластался на траве.

Пес, несомненно решив, что этот инцидент явился объявлением войны, яростно залаял, выгнул спину и изготовился уже наброситься на меня.

Я приготовился к отражению двойного нападения, поскольку был уверен в том, что человек в черном, когда он поднимется на ноги, непременно набросится на меня... Но к моему огромному удивлению, из травы, в которую он упал, человек этот приказал псу замолчать и, бормоча: «Ничего, ничего!», встал на ноги, появившись на поверхности.

Когда я говорю *на поверхности*, то это – чистая правда, поскольку, когда человек в черном поднялся и пригласил меня следовать за ним, мы оказались в зарослях травы, которая доходила нам до подбородка. Мне казалось, что я иду по каштанам. Они, вероятно, и лежали под слоем земли, мха, мертвых листьев и плюща толщиной не менее фута.

Я уже собрался броситься наугад в чащу, но мой проводник остановил меня.

– Минутку! – сказал он.

– Что еще? – спросил я.

– Мне думается, надо запереть дверь.

– Какой смысл? Ведь мы скоро выйдем отсюда.

– Отсюда никто еще никогда не выходил, – ответил мне человек в черном, бросив на меня косой взгляд, от которого я стал искать какое-нибудь оружие.

Ничего я, естественно, не нашел.

– А почему же это никто отсюда никогда не выходил? – спросил я.

– Потому что это – входная дверь.

Этот аргумент, каким бы он туманным ни казался, удовлетворил меня. Я был настроен на то, чтобы довести мое приключение до конца.

Заперев дверь, мы тронулись в путь.

Мне казалось, что я проник в этот недоступный лес, каким он изображался на бульварных картинках: там было все, даже упавшее дерево, которое служило мостком через овражек. Плющ, словно фурия, оплетал стволы деревьев и затем свисал растрепанными прядями с их

веток. Два десятка растений с гибкими стволами, переплетясь, словно клубок змей, и тесно прижавшись друг к другу, образовывали при лунном свете некий гамак из зелени, делавший лес почти непроходимым.

Если бы в эти минуты из чашечки какого-нибудь цветка или из дупла дерева появилась фея растений и предложила мне провести всю жизнь среди этой восхитительной чащи, вполне возможно, что я бы согласился, даже не подумав, что скажет на это другая фея, та, что ждала меня на улице Ада.

Но из этого зеленого дворца появилась отнюдь не фея, а мой проводник, который, то отодвигая в сторону, то безжалостно сбивая своей палкой головки растений, попадавшихся ему на пути, подвел меня к такой густой чаще, каких я в жизни не видывал. И произнес своим хриплым голосом:

– Проходите!

Собака пошла первой.

Я последовал за ней.

По моим пятам шел человек в черном. Этот порядок следования нашего каравана меня несколько беспокоил, ибо приходилось помнить о том, что я представился покупателем. А поскольку покупатель обычно человек богатый, то вполне мог получить палкой по затылку!

Оглянувшись, я увидел, что кусты позади нас сомкнулись, снова образовав зеленую стену.

И тут вдруг почувствовал, как меня потащили назад за воротник моего редингота... Я подумал, что настал момент решающей схватки.

Я обернулся.

– Да стойте же! – сказал мне человек в черном.

– Это еще почему?

– Вы разве не видите перед собой колодец?

Посмотрев туда, куда он мне указал, я увидел на земле черный круг и догадался, что это было находившееся на уровне земли отверстие колодца.

Еще один шаг, и я рухнул бы в бездну!

Признаюсь честно, у меня от этой мысли по спине пробежали мурашки.

– Колодец? – переспросил я.

– Да. Он, насколько мне известно, ведет в катакомбы.

И человек в черном, подняв с земли камень, бросил его в зияющую бездну.

Прошло несколько секунд, с десятков, наверное, но они показались мне вечностью.

Наконец до нас долетел звук удара и приглушенное эхо: камень достиг дна колодца.

– Туда однажды упал какой-то человек, – спокойно продолжал мой проводник. – Сами понимаете, его больше никто не видел... Пошли дальше!

Я обошел колодец, стараясь держаться как можно дальше от его краев.

Спустя пять минут я живым и невредимым выбрался из этой чащи. Но когда я вышел на поляну, мой проводник вдруг резко схватил меня за руку.

Я уже начал привыкать к его странному поведению. Кроме того, мы уже не были в крошечной темноте, как пять минут тому назад, а стояли на освещенном лунной открытой пяталке.

– Что еще? – довольно спокойно спросил я его.

– А то, – ответил человек в черном, указывая пальцем на одну из смоковниц. – Вот это дерево.

– Какое дерево?

– Да смоковница, черт побери!

– Я и сам вижу, что это смоковница... И что дальше?

– Вот этот сук.

– Какой сук?

– Сук, на котором он повесился.

– Кто?

– Бедный Жорж.

И тут я вспомнил эту историю с повешенным, о которой мне кто-то что-то рассказывал.

– А! – сказал я. – А кем он был, этот бедный Жорж?

– Бедным парнем, которого все так и звали.

– А почему его звали бедным парнем?

– Да потому, что он, как я вам уже сказал, повесился.

– Но почему он повесился?

– Потому что был бедным парнем.

Я понял, что продолжать расспросы было делом бесполезным. Мой необычный проводник начал представляться мне в своем истинном виде. Другими словами, я начал понимать, что он – идиот.

Я взял его за руку и почувствовал, что она дрожит.

Задав ему еще несколько вопросов, я увидел, что дрожь его тела перешла на голос.

И тогда я понял, что то нежелание, с которым он решился показать мне ночью сад и дом, было продиктовано не чем иным, как чувством страха.

Оставалось только узнать причину темного цвета его одежды, лица и собаки. Я уже собрался задать ему этот вопрос, как он, словно бы торопясь подалее отойти от этого проклятого дерева, снова устремился в лес со словами:

– Пошли! Покончим с этим поскорее!

На сей раз он пошел впереди.

Мы снова вошли под своды деревьев. Лес занимал не больше арпана земли, но росшие в нем деревья были такими толстыми и стояли так плотно, что мне показалось, будто лес этот тянется на целое лье.

Что же касается дома, то он был в своем роде уникален: все было разбито, разрушено, поломано. Перед домом было крыльцо с лесенкой в четыре или пять ступеней. Затем шло нечто наподобие платформы, с которой по другой, каменной витой, лестнице можно было попасть в комнату, выходящую на Восточную улицу. Ступеньки этой лестницы были расшатаны, и в двух десятках мест зияли дыры.

Я собрался было подняться, но почувствовал, как в третий раз рука моего проводника потянула меня назад.

– Э, мсье, – сказал он мне, – что это вы делаете?

– Осматриваю дом.

– Поостерегитесь! Он настолько ветхий, что стоит только дунуть, и он развалится.

И действительно, или от того, что кто-то слишком сильно на него дунул – северный ветер, например, – или же от того, что и не надо даже было на него дуть, но часть здания сегодня уже обвалилась.

Я спустился не только на те две ступеньки витой лестницы, на которые я уже поднялся, но и сбежал по тем четырем или пяти ступенькам, которые вели на крыльцо.

Осмотр был закончен. Оставалось только уйти. Но каким путем?

Мой проводник, казалось, угадал мое желание, и оно совпало с его собственным. Поскольку, повернувшись ко мне, он спросил:

– С вас достаточно, не так ли?

– Я все осмотрел?

– Абсолютно все.

– Тогда пошли отсюда!

Он открыл невидимую в темноте дверь, спрятанную под сводом, и мы очутились на Восточной улице.

Я машинально пошел за этим человеком до его подвала: мне было любопытно увидеть, как Какус возвращается в свою пещеру.

За время нашего отсутствия в подвале был зажжен свет: рядом с дверью горела свеча. На последней ступеньке лестницы стоял человек, как две капли похожий на того, с кем я только что имел дело. Он был также черен с головы до ног.

Оба негра пожали друг другу руки. Затем заговорили на языке, который показался мне вначале странным. Но потом, прислушавшись, я узнал овернское наречие.

Напав на след, я легко догадался обо всем остальном.

Просто-напросто я имел дело с членом уважаемого братства карбонариев. Ночь и мое богатое воображение придали всему происходящему оттенок величия и поэзии.

Я дал моему провожатому три франка в компенсацию за те хлопоты, которые я ему доставил. Тут он снял шляпу, и в том месте, где головной убор вытер слой угольной пыли, я увидел полоску светлого тела, подтвердившую мои догадки.

И теперь, спустя двадцать восемь лет, я отыскал в глубинах моей памяти эти воспоминания и изложил их здесь, может быть, несколько нескромно, но только для того, чтобы дать читателю представление о том месте, куда мы сейчас его перенесем.

Именно в тот заброшенный сад на Восточной улице вокруг одиноко стоящего и наполовину разрушенного дома мы и просим читателя проследовать за нами ночью 21 мая 1827 года.

Глава XXXI

На бога надейся, а сам не плошай

Итак, в понедельник 21 мая, в полночь, в лесу, слева, какходишь с улицы Ада – но мы думаем, что сегодня туда с этой улицы не попасть, поскольку нам кажется, что цепь решетки была заклепана наглухо с того раза, когда мы там были в последний раз и когда мы бросили ретроспективный взгляд на этот изолированный от мира уголок, – так вот в понедельник 21 мая, в полночь, в лесу, слева от входа с улицы Ада и справа, если войти туда с Восточной улицы, собрались (проведенные туда карбонарием, проводником и охранником этих мест, о котором мы уже рассказали нашим читателям и который был не кем иным, как Туссенем Лувертюром) человек двадцать карбонариев в масках. То есть отдельная вента.

Почему же и как эта вента выбрала для своего собрания именно это место? Объяснить это будет совсем просто.

Мы помним о той ночи, когда господин Жакаль, обвязавшись веревкой, спустился в колодец на улице Говорящего колодца и раскрыл тайну сборищ карбонариев в катакомбах. Мы помним, что вследствие этого господин Жакаль поехал в Вену и сорвал претворение в жизнь заговора, имевшего целью похищение герцога Рейхштадского.

Неловкие полицейские проболтались об этом открытии и о спуске в колодец господина Жакаля, что ни для кого из заговорщиков не осталось тайной.

Этот спуск, разрушивший столь тщательно продуманный генералом Лебатаром де Пре-моном план, был для парижских заговорщиков не столь уж опасен, как мог показаться с первого взгляда. В катакомбы могли бы спуститься и десять правительственных полков, но они не сумели бы схватить там ни единого карбонария: тысячи троп в этом темном подземелье вели в недоступные тайные убежища. К тому же в пяти-шести местах катакомбы были искусно заминированы, и хватило бы одной искры, одного подожженного запала, чтобы обвалился весь левый берег.

И тогда, поглотив Париж, люди поглотили бы сами себя. Разве не так умер Самсон?

Но все же, не доходя до таких ужасных крайностей, лучше было покинуть эти катакомбы, надеясь вернуться туда только в случае крайней необходимости. В местах для проведения тайных встреч недостатка не было, и если катакомбы не могли больше быть использованы в этом качестве, их вполне можно было использовать в качестве путей для того, чтобы невидимо перемещаться во тьме к тем братьям, которые предлагали для встреч свое жилище.

Таким образом, желая подыскать место для проведения собрания, один из заговорщиков, проживавших на улице Ада, обнаружил, что погреб, через который он обычно проникал в катакомбы, соединялся с востока с одним из погребов покинутого дома. Но встречаться в погребе было опасно, пусть даже в погребе заброшенного дома.

И поэтому в погребе был прокопан ход длиною в тридцать футов, выведивший на поверхность. Пройдя по нему, можно было очутиться посреди леса. Подземный ход, чтобы избежать обвала, укрепили подпорками. В конце подземелья был оставлен вход для одного человека, и было условлено, что до получения нового приказа братья будут собираться в этом пустынном лесу. Каждый из участников собрания готов был пустить пулю в лоб любому чужаку, который надумал бы их там потревожить.

Поэтому не стоит удивляться тому, что мы так подробно описали это подземелье: это для того, чтобы придать рассказу побольше правдивости. Добавим, что более пятидесяти домов того квартала, где происходят описываемые нами события, имели подобные подземные ходы. И мы можем привести множество примеров этому. Обратитесь, например, к славному владельцу кафе, что на улице Сен-Жак, и попросите его показать вам погребок и рассказать его легенду:

он проведет вас туда и расскажет, что это подземелье было некогда частью сада ордена Кармелитов.

– Но кому же это понадобился подземный ход в саду Кармелитов и куда он вел?

– Черт побери! К кармелиткам, которые располагались напротив, где теперь Валь-де-Грас! Спросите об этом в Гиверне.

Но пусть нас не обвиняют в том, что мы видим люки и подземные ходы там, где нет ни подземных ходов, ни люков. Под левым берегом Парижа проходит сплошной подземный ход, начиная с Нельской башни и кончая Томб-Иссуаром, куда можно было пройти из Монружа. И если современные строительные работы когда-нибудь приоткроют тайны Парижа, то жители левобережья, возможно, ужаснутся, обнаружив, что живут на этих самых тайнах.

Но давайте вернемся к нашему ночному собранию.

В нем участвовали, как мы уже сказали, человек двадцать карбонариев. Ибо, несмотря на то, что с 1824 года движение карбонариев потерпело тысячи неудач подряд, было официально запрещено и сохранило только внешние признаки своего существования, его основные участники вновь собрались и реорганизовали это движение если не под тем же названием, то уж по крайней мере на тех же самых основах.

Целью собрания, проходившего той ночью, и было заложить основы этого общества, которому суждено было спустя некоторое время получить название *«На Бога надейся, а сам не плошай»*. Организаторы его поставили себе главной целью влиять на выборы, просвещать народ и направлять общественное мнение.

Было предложено несколько различных способов формирования комитета, который должен был осуществлять руководство создаваемым обществом. Было решено, что этот комитет будет избираться ежеквартально, как только число членов общества дойдет до сотни. Кроме того, было условлено, что общество начнет действовать только в рамках законности. Или скорее под прикрытием законности.

Однако мало было проводить собрания в Париже и создавать комитет для руководства выборами. Надо было наставить на путь истинный департаменты и довести их сознание до уровня столицы. Поэтому разговор зашел о том, чтобы создать комитеты по выборам в каждом округе и в каждом кантоне, наладить с этими комитетами постоянную связь для того, чтобы заставить их работать.

Такова была цель ночного собрания, которое наметило первые вехи создания великолепного общества *«На Бога надейся, а сам не плошай»*, которому суждено было приобрести такое большое влияние на предстоящих выборах.

Время было около часа ночи, обсуждение вопросов в самом разгаре, когда послышался хруст сухих веток под ногами человека, который черной тенью показался на поляне.

В одно мгновение в руке у каждого из заговорщиков оказался спрятанный до этого на груди кинжал.

Тень приблизилась: это был Туссен, консьерж заброшенного дома и сам карбонарий, поставленный на эту должность для того, чтобы охранять не только дом, но и тех, кто около него собирался.

– В чем дело? – спросил один из вождей заговорщиков.

– Некий иностранный брат просит, чтобы его провели на собрание, – ответил Туссен.

– Член ли он нашего братства?

– Он подал опознавательный знак.

– Откуда он?

– Из Триеста.

– Он один или с кем-нибудь еще?

– Один.

Собравшись в кружок, вне которого остался только Туссен, карбонарии стали держать совет. Затем круг разомкнулся и чей-то голос произнес:

– Проведите сюда брата из-за границы, но только с соблюдением всех мер предосторожности.

Туссен кивнул и скрылся в темноте.

Через некоторое время снова послышалось похрустывание хвороста и все увидели, как из темноты показались уже две тени вместо одной.

Карбонарии ждали приближения их в полной тишине.

Туссен ввел в центр круга, образованного братьями, иностранного карбонария. Глаза у того были завязаны и шел он, держась за руку своего проводника. Введя незнакомца в круг, Туссен оставил его одного и ушел.

Карбонарии снова сомкнулись в круг, центром которого стал вновь прибывший.

Тот же самый голос, который слышался и раньше, обратился к нему:

– Кто вы? Откуда вы? Что вы хотите?

– Я – генерал граф Лебатар де Премон, – ответил вновь прибывший. – Я прибыл из Триеста, куда скрылся после того, как провалилось наше дело в Вене. В Париж я приехал для того, чтобы спасти мсье Сарранти, моего друга и сообщника.

Среди карбонариев пробежал шепот восхищения.

Затем все тот же голос произнес:

– Снимите повязку, генерал. Вы находитесь среди ваших братьев!

Генерал граф де Премон снял с глаз повязку, и все присутствующие увидели перед собой его благородное лицо.

И тут же к нему были протянуты два десятка дружеских рук. Каждый захотел пожать его руку, подобно тому, как после прекрасного тоста каждый хочет чокнуться своим бокалом с тем, кто этот тост произнес.

Наконец снова установилась тишина. Волнение присутствовавших улеглось.

– Братья, – произнес генерал, – вы знаете, кто я. В 1812 году по приказу Наполеона я уехал в Индию, где должен был создать военное королевство, которое пришло бы на помощь нам и русским в том случае, если бы мы пересекли Каспийское море и вступили в Непал. И я такое королевство создал: это королевство Лахор. Когда пал Наполеон, я подумал, что с ним исчезла необходимость в этом проекте... Но вот однажды ко мне прибыл мсье Сарранти: он присоединился ко мне по приказу императора. Но продолжать надо было уже не дело Наполеона I. Следовало возвести на престол Наполеона II. Я принялся немедленно налаживать связи с Европой. Когда я узнал о том, что они налажены, я немедленно уехал из Индии и через Джедду, Суэц, Александрию прибыл в Триест, где меня укрыл один из наших итальянских братьев. Оттуда я перебрался в Вену... Вы знаете, как провалился наш план... Вернувшись в Триест, я укрылся в доме у одного из наших итальянских братьев и там уже узнал о смертном приговоре, вынесенном мсье Сарранти. Я немедленно отплыл во Францию, рискуя очень многим и поклявшись, что разделю участь моего друга. Другими словами, буду жить, если он останется в живых, и умру, если он погибнет. Мы сообщники в одном преступлении и поэтому должны понести одинаковое наказание.

Эти слова были встречены глубоким молчанием.

Господин Лебатар де Премон продолжал:

– Один из наших братьев в Италии дал мне письмо к находящемуся во Франции нашему брату: мсье де Моранду. Это было кредитное письмо, а вовсе никакая не политическая рекомендация. Мсье де Моранд принял меня и узнал. Я рассказал ему о цели моего прибытия во Францию, о принятом мною решении и попросил его свести меня с основными руководителями какой-нибудь центральной венты. Мсье де Моранд сообщил мне, что как раз сегодня состоится собрание, и рассказал мне, где оно должно произойти. Потом указал, каким путем я

могу проникнуть в этот сад и встретиться с вами. И я воспользовался полученными инструкциями. Не знаю, присутствует ли здесь сам мсье де Моранд. Но если он здесь, я хочу его поблагодарить за это...

Присутствующие ни единым жестом не показали, что господин де Моранд находится среди них.

Снова установилась глубокая тишина.

Генерал де Премон почувствовал, как по телу его прошла дрожь, но все же продолжил:

– Я знаю, братья, что у нас несколько разные мнения. Я знаю, что среди вас есть республиканцы и орлеанисты. Но как республиканцы, так и орлеанисты желают, как и я сам, добиться освобождения страны, славы Франции и чести народу. Не так ли, братья?

Все качнули головами, но не произнесли ни единого слова.

– Так вот, – снова заговорил генерал. – Я знаю мсье Сарранти вот уже шесть лет. В течение этого времени мы не расставались с ним ни на секунду. Я отвечаю за его храбрость, порядочность и добродетель. Одним словом, я отвечаю за мсье Сарранти, как за самого себя! И поэтому я пришел просить вас от своего имени и от имени брата, готового пожертвовать за него собой, помочь мне в том, что одному мне сделать не под силу. Я прошу вас помочь мне избавить одного из наших от недостойной его смерти, вырвать любой ценой мсье Сарранти из его темницы. Я предлагаю для этого прежде всего две моих руки, а в придачу к ним такое огромное состояние, которого хватило бы на то, чтобы содержать в течение года армию французского короля... Братья, примите мои руки, заберите мои миллионы и верните мне моего друга! Я все сказал. Теперь жду вашего ответа.

Но горячий призыв генерала был встречен холодным молчанием.

Оратор оглядел стоявших вокруг него людей. Вместо дрожи во всем теле он почувствовал, как лоб его покрылся холодным потом.

– Итак, – спросил он, – что же происходит?

Ответом ему было молчание.

– Уж не сделал ли я, – продолжал он, – неуместное предложение? Не считаете ли вы, что моя просьба содержит чисто личный интерес, и не полагаете ли, что перед вами всего-навсего один из ваших друзей, который просит вас вступить за другого друга?.. Братья, чтобы приехать к вам, я преодолел пять тысяч лье. Я никого из вас не знаю. Но уверен, что все мы одинаково любим добро и ненавидим зло. Поэтому на самом деле мы знаем друг друга, хотя ни разу и не виделись и я впервые с вами говорю. Так вот, во имя вечной справедливости я прошу вас спасти от несправедливого и гнусного приговора, от ужасной смерти одного из самых великих праведников, которых я знаю!.. Ответьте же мне, братья! Иначе я расценю ваше молчание как отказ, а ваш отказ помочь мне – как одобрение вами самого несправедливого приговора, который когда-либо был произнесен человеком!

После таких слов заговорщикам волей-неволей надо было что-то сказать в ответ.

И тот, чей голос мы уже слышали, поднял вверх руку, показывая, что он будет говорить, и произнес:

– Братья, всякая просьба брата для нас священна. Устав обязывает нас обсудить эту просьбу, а потом большинством голосов согласиться выполнить ее или отказаться. Мы будем совещаться.

Генералу были знакомы эти мрачные формальности. Он кивнул в знак согласия и остался стоять на месте. А окружившие его люди отошли в сторонку и встали в кружок чуть поодаль.

Спустя пять минут заговорщик, который уже говорил, подошел к генералу и, словно бы вынося вердикт суда присяжных, сказал торжественно:

– Генерал, выражая не мою личную мысль, а мнение большинства присутствующих здесь членов, я вынужден сказать вам от их имени и от моего лично следующее. Цезарь говорил, что жена Цезаря должна быть вне всяких подозрений. Свобода – это мать семейства, кото-

рая должна быть еще более чистой, еще более незапятнанной, чем жена Цезаря! И поэтому, брат, – мне тяжело вам это говорить – не имея очевидных, неопровержимых и однозначных доказательств невиновности мсье Сарранти, большинство решило, что мы не сможем помочь вам в том предприятии, которое вы задумали, чтобы избавить от кары закона того, кто был законно осужден. Я говорю законно, прошу вас, генерал, правильно меня понять, пока нет доказательств обратного... Поверьте, что мы страстно желали мсье Сарранти оправдательного приговора во время этого тяжкого процесса. Поверьте, что все мы дрожали перед тем, как был вынесен приговор. Поверьте, что сердца наши обливались кровью, когда этот приговор был зачитан... А теперь, генерал, дайте нам доказательства невиновности мсье Сарранти, и тогда у вас будут не две руки, не десятки рук для того, чтобы оказать вам помощь. Вам помогут тогда сотни тысяч рук членов нашей организации!

Затем, сделав еще один шаг к генералу Лебатару де Премону, он добавил:

– Генерал, дадите ли вы нам доказательства невиновности мсье Сарранти?

– Увы! – сказал генерал, опустив голову. – У меня нет никаких доказательств, кроме личной убежденности!

– В таком случае, – снова произнес карбонарий, – наше решение остается в силе.

И, поклонившись господину Лебатару де Премону, он присоединился к своим единомышленникам, которые уже готовились разойтись.

Но тут, подняв голову и простерев руки, словно для того, чтобы сделать последнее усилие, генерал произнес:

– Братья, я слышал решение большинства и подчиняюсь ему. Но позвольте мне теперь бросить призыв к каждому из вас лично. Братья, неужели среди вас нет никого, кто был бы в душе так же, как и я, убежден в невиновности мсье Сарранти? Если есть, то пусть этот человек присоединится ко мне и тогда я попытаюсь с его помощью исполнить то, что счастлив был бы совершить с помощью всех вас.

Говоривший перед этим карбонарий повернулся к своим друзьям.

– Братья, – сказал он. – Если среди вас есть человек, уверенный в невиновности мсье Сарранти, он может присоединиться к генералу и попытаться с ним удачи в его предприятии.

Тут от группы отделился человек. Он подошел к графу де Премону, положил левую руку на плечо генерала, а правой снял с лица маску.

– Я готов! – произнес он.

– Сальватор! – хором воскликнули девятнадцать других карбонариев.

Это и впрямь был Сальватор. Уверенный в невиновности господина Сарранти, он предложил генералу свою помощь.

Остальные карбонарии исчезли по одному во тьме смоковничной аллеи, которая вела ко входу в подземелье.

На поляне остались только Сальватор и граф де Премон.

Глава XXXII

Что можно и что невозможно сделать с помощью денег

Прислонившись к стволу дерева, Сальватор в течение нескольких секунд молча смотрел на генерала Лебатара де Премона.

Даже лицо самого господина Сарранти в тот момент, когда он услышал свой смертный приговор, было менее расстроенным и менее бледным, чем было лицо у генерала, услышавшего это жестокое решение друзей, которых он, рискуя собственной жизнью, пришел просить помочь ему спасти жизнь своему другу.

Сальватор подошел к генералу.

Тот протянул ему руку.

– Мсье, – сказал он при этом. – Я знаю вас только понаслышке. Ваше имя, которое сейчас произнесли ваши друзья, кажется мне хорошим предзнаменованием. Кто говорит о вас, говорит о Спасителе.

– Да, мсье, – с улыбкой ответил Сальватор. – Это имя говорит действительно о многом.

– Вы знакомы с мсье Сарранти?

– Нет, мсье, но я близкий и, самое главное, преданный друг и должник его сына. Одним словом, генерал, я разделяю вашу скорбь. И для спасения мсье Сарранти вы можете располагать мною, моим телом и душой.

– Так, значит, вы не разделяете мнения наших братьев? – живо спросил генерал, в которого слова молодого человека вдохнули новую жизнь.

– Послушайте, генерал, – сказал Сальватор. – Движение народных масс, почти всегда справедливое, поскольку оно инстинктивно, бывает зачастую слепым, суровым и жестоким. Каждый из тех людей, которые только что согласились с приговором, вынесенным судом мсье Сарранти, спроси его лично и отдельно, вынес бы совершенно другое решение. То есть поступил бы так, как я. Нет, я всей душой верю в то, что мсье Сарранти невиновен. Тот, кто тридцать лет рискует собственной жизнью на полях брани, участвует в кровавых схватках различных партий, не станет совершать столь гнусное преступление, не пойдет на грабеж и убийство невинного человека. Поэтому я глубоко уверен в невиновности мсье Сарранти.

Генерал сжал руку Сальватора.

– Спасибо, мсье, за то, что вы так со мной говорите, – сказал он.

– Но, – продолжал Сальватор, – поскольку я предложил вам свою помощь, я тем самым отдал себя в полное ваше распоряжение.

– Что вы хотите этим сказать? Я начинаю тревожиться.

– Я хочу сказать, мсье, что в сложившейся ситуации недостаточно просто заявить о невиновности нашего друга. Надо ее доказать с помощью неопровержимых фактов. В той войне, которую ведут заговорщики против правительства, а следовательно, и правительство против заговорщиков, все средства хороши. И то оружие, от которого откажутся в этой войне два честных человека, с удовольствием будет использовано их противниками.

– Объяснитесь!

– Правительство хочет смерти мсье Сарранти. Оно хочет, чтобы он умер позорной смертью, потому что этот позор падет на головы всех противников правительства и все будут говорить, что заговорщики – гнусные люди, поскольку выбрали себе главарем грабителя и убийцу.

– А! Так вот почему королевский прокурор отвел обвинение в политической деятельности!

– И именно поэтому мсье Сарранти так хотел, чтобы его судили по обвинению именно в этом.

– И что же дальше?

– А то, что правительство можно будет победить только с помощью очевидных, осязаемых и бесспорных доказательств. Мало просто сказать: «Мсье Сарранти не совершал преступления, в котором его обвиняют». Надо сказать: «Вот тот человек, который совершил преступление, в котором обвиняют мсье Сарранти!»

– Но, мсье! – воскликнул генерал. – Как вы сумеете достать эти доказательства? Как вы обнаружите того, кто совершил эти преступления?

– Этих доказательств у меня нет. Личность преступника мне тоже неизвестна, – ответил Сальватор. – Но...

– Но?..

– Может быть, у меня есть след.

– Говорите! Говорите же! И тогда вы действительно будете достойны своего имени, мсье!

– Хорошо, – сказал Сальватор, придвинувшись к генералу. – Слушайте, генерал, то, чего я еще не говорил никому и говорю вам первому.

– Говорите! Говорите! – прошептал генерал, тоже подходя поближе к Сальватору.

– В том доме, который принадлежал мсье Жерару, в который мсье Сарранти нанялся воспитателем и из которого он скрылся 19 или 20 августа 1820 года (весь вопрос может заключаться в точной дате его бегства), короче, в парке Вири я нашел доказательства того, что дети, по крайней мере один из них, были убиты.

– О! – простонал господин де Премон. – Вы уверены в том, что эта улика не отяготит участь нашего друга?

– Мсье, поскольку мы решили докопаться до истины, нам важна только истина, не так ли? Если мсье Сарранти окажется виновным, мы предоставим правосудию право покончить с его жизнью, как это было со многими другими. Но поскольку мы хотим знать истину, мы должны хвататься за любую улику, независимо от того, кажется ли она, на первый взгляд, направленной за или против того, чью невиновность мы хотим доказать. Истина несет в себе свет. Отыскав ее, мы все узнаем.

– Хорошо... А теперь расскажите, как вы нашли эту улику.

– Однажды ночью, гуляя со своей собакой по парку в Вири по причинам, совершенно не связанным с тем делом, которым мы в настоящее время заняты, я обнаружил в яме у подножья дуба, в том месте, где мой пес начал рыть землю, скелет ребенка, которого зарыли в землю стоя.

– И вы полагаете, что это – один из исчезнувших детей?

– Это более чем вероятно.

– Но где же второй ребенок? Ведь речь шла о мальчике и девочке.

– Мне кажется, что я отыскал и второго ребенка.

– И тоже благодаря собаке?

– Да.

– Живым или мертвым?

– Живой. Это была девочка.

– И что же дальше?

– То, что из этого двойного совпадения следует, что, будь я свободен в своих действиях, я смог бы, наверное, восстановить картину преступления, а это неминуемо вывело бы меня и на преступника.

– Действительно, вы ведь нашли девочку живой! – воскликнул генерал.

– Да, живой.

– Ей в то время было лет шесть-семь.

– Да, шесть лет.

– И она могла бы вспомнить...

– Она помнит.

– Так в чем же дело?

– В том, что она очень хорошо это помнит.

– Не понимаю.

– Когда бедной девочке напоминают об этом ужасном происшествии, у нее начинает мутиться рассудок и начинается нервный кризис, грозящий полным психическим расстройством. Да разве кто-нибудь поверит показаниям ребенка, которого сразу же обвинят в безумстве и которого одним словом можно и впрямь довести до этого состояния? О, я все это хорошо обдумал!

– Ладно. Тогда давайте оставим живого и перейдем к погибшему. Коль живой ребенок молчит, не скажет ли нам что-нибудь труп?

– Да, если бы у меня была свобода действий.

– Но кто вам мешает? Ступайте к королевскому прокурору, расскажите ему обо всем. Пусть правосудие займется поисками истины, о которой вы говорите. И...

– Да. И полиция за одну ночь заметет все следы, которые на другой день придет искать правосудие. Я ведь вам уже сказал, что полиция очень заинтересована в том, чтобы убрать эти доказательства для того, чтобы утопить мсье Сарранти в этом грязном деле по обвинению в грабеже и убийстве!

– Тогда продолжайте расследование сами. Давайте продолжим его вместе. Вы сказали, что для того, чтобы докопаться до истины, вы должны иметь свободу действий. Но скажите, что же вам мешает?

– О! Это – совсем другое дело. И оно не менее серьезно и не менее гнусно, чем дело мсье Сарранти.

– Ладно! Но ведь надо действовать!

– Действовать! Я только этого и желаю, но вначале...

– Что?

– Надо найти возможность свободно обыскать дом и парк, где были совершены эти преступления.

– Эта возможность реальна?

– Да.

– Что нужно для того, чтобы ее получить?

– Деньги.

– Я ведь уже сказал вам, что сказочно богат.

– Я слышал, генерал. Но этого недостаточно.

– Что же еще нужно?

– Немного смелости и настойчивости.

– Повторяю, что для того, чтобы достичь цели, я отдаю все свое состояние. И не только состояние, но и мои руки. И в придачу ко всему этому мою жизнь.

– В таком случае, генерал, полагаю, что мы начинаем понимать друг друга.

Затем, оглядевшись вокруг и заметив, что луна ярко освещала ствол смоковницы, о который он опирался плечом, и они были хорошо заметны, он сказал генералу:

– Отойдемте в тень, генерал. Мы сейчас будем говорить о вещах, в которых рискуем нашими жизнями. И смерть может поджидать нас не только на эшафоте, но и в лесу, на углу улицы. На сей раз мы имеем дело не только с полицией, как заговорщики, но и с негодьями, как хорошие люди.

И Сальватор увлек господина Лебатара де Премона в то место леса, где темнота была наиболее густой.

Генерал предоставил молодому человеку возможность пристально оглядеться вокруг, дал ему время прислушаться ко всем звукам, которые доносились до его слуха. А затем, увидев, что тот несколько успокоился, сказал:

– Говорите!

– Так вот, генерал, – снова заговорил Сальватор, – для начала нам надо стать полноправными владельцами замка и парка Вири.

– Нет ничего проще.

– Что вы имеете в виду?

– Очень просто: их надо купить.

– К несчастью, генерал, они не продаются.

– Неужели есть что-то, что не продается?

– Увы, генерал, есть: именно этот дом и парк.

– Но почему?

– Потому что они служат убежищем, местом сокрытия преступления почти столь же ужасного, как и то, улики по которому мы стараемся отыскать.

– Значит, в этом доме кто-то живет?

– Да, один всемогущий человек.

– У него сильные связи среди политиков?

– Нет, в церковных кругах. А это очень важно.

– И как же имя этого человека?

– Граф Лоредан де Вальженез.

– Постойте, – произнес генерал, опершись подбородком на ладонь, – это имя мне знакомо...

– Вполне возможно, поскольку его имя – одно из самых известных аристократических имен Франции.

– Если мне не изменяет память, – произнес генерал, – маркиз де Вальженез, которого я знал, был одним из самых достойных уважения людей.

– О, да! Маркиз, – воскликнул Сальватор, – имел самое благородное и самое доброе сердце, какое я знал!

– Вот как? – спросил генерал. – Значит, вы его тоже знали, мсье?

– Да, – просто ответил Сальватор. – Но сейчас речь идет вовсе не о нем.

– Ах, значит, о графе... Ну, о нем я не могу сказать того, что говорил о его брате.

Сальватор промолчал, словно не желая высказывать свое мнение о графе де Вальженезе. А генерал продолжал:

– А что же случилось с маркизом?

– Он умер, – произнес Сальватор, горестно опустив голову.

– Умер?

– Да, генерал... внезапно... Апоплексический удар.

– Но, насколько я помню, у него был сын... Кажется, побочный?

– Именно так.

– И что же случилось с этим сыном?

– Он умер. Через год после смерти отца.

– Умер!.. Я знавал его еще ребенком, вот таким, – сказал генерал, опустив руку до травы. – Это был не по годам умный мальчик. И удивительно волевой... Умер!.. А как?

– Пустил себе пулю в лоб, – коротко ответил Сальватор.

– Это, должно быть, очень больно.

– Наверное.

– И тогда, значит, брат маркиза купил замок и парк Вири?

– Это сделал сынок этого брата, граф Лоредан. Но не купил, а взял парк и замок в аренду.

– Желая ему не походить на своего папашу.

– По сравнению с сыном папаша – образец порядочности и честности.

– Дорогой мой мсье, вы сына не любите... Затухает еще один славный род, – с грустью произнес генерал. – И не просто превращается в прах, а, что намного хуже, покрывает себя позором!

Затем, немного помолчав, спросил:

– И что же сделал мсье Лоредан де Вальженез с этим домом, которым он так дорожит?

– Разве я не говорил вам, что в этом доме скрыто преступление?

– Именно поэтому я и спрашиваю вас о том, что сделал мсье де Вальженез с этим домом.

– Он превратил его в тюрьму для девушки, которую он похитил.

– Девушки?

– Да. Девушки, которой исполнилось шестнадцать лет.

– Девушка... Шестнадцать лет! – прошептал генерал. – Именно столько же должно быть и моей дочери.

А потом вдруг спросил в упор:

– Но коль скоро вы знаете об этом преступлении, мсье, или скорее коль скоро вы знаете преступника, почему вы не отдаете его в руки правосудия?

– Потому что в наше гнусное время, генерал, правосудие не только закрывает глаза на многие преступления, но и берет преступников под свою защиту.

– О! – сказал генерал. – И почему же вся Франция не поднимается и не выступает против подобного положения вещей?

Сальватор улыбнулся.

– Франция ждет подходящего случая, генерал.

– Но этот случай, как мне кажется, можно ей дать!

– Именно для этого мы и собираем силы.

– Давайте вернемся к нашему делу. Ибо если Франция не восстанет для того, чтобы спасти мсье Сарранти, спасти его должен я... Итак, если этот дом не продается, каким образом вы надеетесь стать его хозяином?

– Прежде всего, генерал, позвольте мне объяснить вам ситуацию.

– Слушаю.

– Один из моих друзей нашел девять лет тому назад маленькую потерявшуюся девочку.

Он воспитал и вырастил ее. Ребенок превратился в очаровательную шестнадцатилетнюю девушку. Он уже собрался жениться на ней, но ее похитили из пансиона в Версале. Она пропала бесследно. Никто не знал, где она была спрятана. Я вам уже рассказывал, как я, толкаемый случаем, напал на следы преступления, отыскав с помощью моей собаки труп ребенка. В тот момент, когда я, встав на колени у ямы, с ужасом трогал рукой волосы жертвы, я услышал звук шагов. Обернувшись, я увидел чей-то белый силуэт. Присмотревшись пристальнее, я узнал в свете луны невесту моего приятеля. Ту, что была похищена и спрятана неизвестно где. Я прекратил интересоваться одним преступлением и бросился по следам другого. Девушка меня узнала, и я стал мучиться мыслью, почему она была такой молчаливой и, не пытаясь даже бежать, мирилась со своим затворничеством. И тогда она рассказала мне, что пригрозила похитителю, что напишет, позовет на помощь, сбежит, но тот добился ареста Жюстена...

– Кто такой этот Жюстен? – спросил генерал с живостью, которая указывала на то, что его очень заинтересовал рассказ Сальватора.

– Жюстен – это мой приятель. Жених этой девушки.

– Каким же образом можно было добыть мандат на его арест?

– Его обвинили в преступлении за его добрый поступок, генерал. Он обвинялся в том, что похитил найденную им девочку. Та забота, которой он окружал ее в течение девяти лет, была истолкована как содержание в заточении, а предполагавшаяся женитьба расценивалась как насилие. Подозревали, что девочка была из богатой семьи, а за это Уголовный кодекс предусматривает для человека, обвиняемого в насильственном заточении, наказание от трех

до пяти лет каторги на галерах, в зависимости от отягчающих обстоятельств. Вы сами понимаете, генерал, что обстоятельства были сделаны максимально отягчающими. Таким образом, мой бедный друг будет приговорен к пяти годам каторги на галерах за преступление, которого не совершал.

– Но это же невозможно! – вскричал генерал.

– А разве мсье Сарранти не был приговорен к смерти за ограбление и убийство? – холодно возразил Сальватор.

Генерал поник головой.

– Несчастливые времена, – прошептал он, – позорные времена!

– Следовательно, надо было ждать. И в этот момент, если я и колеблюсь в поисках доказательств невиновности мсье Сарранти, то лишь потому, что, если я приведу органы правосудия в этот замок и в этот парк, тот, кто высказал подобную угрозу, подумает, что я хочу отнять у него его добычу, и он в ослеплении выместит свою злобу на Жюстене.

– Но это значит, что в этот парк никак нельзя проникнуть?

– Можно. Я ведь там был.

– Коль скоро вы там были, туда может проникнуть и еще кто-то?

– Жюстен иногда навещает свою невесту.

– И они остаются чистыми?

– Они оба верят в Бога, и у них не могут появиться нехорошие мысли.

– Ладно. Но тогда почему же Жюстен не похитит, в свою очередь, эту девушку?

– А куда он сможет ее привести?

– Уехать из Франции.

Сальватор усмехнулся.

– Вы думаете, что Жюстен так же богат, как мсье де Вальженез, генерал. Но дело в том, что Жюстен всего лишь простой школьный учитель, который зарабатывает не более пяти франков в день и имеет на содержании мать и сестру.

– И у него нет друзей?

– У него есть два друга, которые готовы отдать за него жизнь.

– Кто же это?

– Мсье Мюллер и я.

– Ну, и?

– Мсье Мюллер – старик, учитель музыки, а я – простой комиссионер.

– Но, как глава венты, разве вы не располагаете значительными суммами денег?

– У меня есть чуть больше миллиона.

– И что же...

– Этот миллион мне не принадлежит, генерал. И я скорее позволю лучшему другу умереть с голода, нежели потрачу хоть один день из этого миллиона для того, чтобы его спасти.

Генерал протянул Сальватору руку.

– Это правильно! – сказал он.

А затем добавил:

– Я предоставляю для нужд вашего друга сто тысяч франков. Этого хватит?

– Это вдвое больше, чем надо, генерал. Но...

– Что но?

– Меня сдерживает одно соображение: когда-то нам, безусловно, станет известно, кто является родителями этой девушки.

– И что дальше?

– Если ее родители окажутся людьми благородными, богатыми и влиятельными, не станут ли они преследовать Жюстена?

– Человека, подобравшего брошенную ими девочку! Того, кто вырастил ее, словно сестру, и спас ее от бесчестия!.. Этого еще не хватало!

– Слушайте, генерал, если бы ее отцом были вы и если бы во время вашего отсутствия ваше дитя подвергалось той опасности, которой подвергается невеста Жюстена, простили бы вы того человека, который, когда вас не было, так позаботился о судьбе вашей дочери?

– Я бы не только с радостью отдал ему руку моего ребенка, но и благословил бы его, как моего спасителя.

– Тогда, генерал, все в порядке. И если у меня и были последние сомнения, ваши слова их полностью устранили. . . Через восемь дней Жюстен и его невеста будут вне пределов Франции, а у нас будут развязаны руки, чтобы осмотреть парк и замок Вири.

Господин Лебатар де Премон сделал несколько шагов для того, чтобы выйти на освещенное луной место.

Сальватор проследовал за ним.

Дойдя до места, которое казалось ему подходящим, генерал вынул из кармана маленькую записную книжечку, написал карандашом на одной из ее страничек несколько слов, вырвал эту страничку и протянул ее Сальватору.

– Держите, мсье, – сказал он.

– Что это такое? – спросил Сальватор.

– То, что я вам и предлагал: чек на сто тысяч франков, которые можно получить в банке мсье де Моранда.

– Я ведь сказал вам, что и пятидесяти тысяч франков будет больше чем достаточно, генерал.

– Вы отчитаетесь передо мной за оставшуюся сумму, мсье. Но нельзя, чтобы в таком важном деле нас остановил какой-нибудь пустяк.

Сальватор кивнул.

Генерал несколько секунд глядел на него, а затем, протянув руку, сказал:

– Вашу руку, мсье!

Сальватор горячо сжал руку графа де Премона.

– Мы знакомы с вами не больше часа, мсье Сальватор, – сказал генерал с некоторым волнением в голосе. – Я не знаю, кто вы, но я в жизни многое видел, многое наблюдал, многое пережил. Я изучил лица всех типов и всех цветов и думаю, что знаю людей. Поэтому, мсье Сальватор, я и говорю вам, хотя слова – только слабое выражение моих мыслей, что вы – один из самых симпатичных людей, которых я встречал в моей жизни.

Таким было, как мы уже, помнится, говорили, впечатление, которое производило на всех людей красивое и доброе лицо нашего молодого героя. С первого же взгляда на него люди чувствовали какое-то непреодолимое влечение к нему. Он восхищал людей. И совесть, выбирая свое воплощение в человеческом лице, не могла найти более нежное и чувственное свое выражение.

Новые друзья снова пожали друг другу руки и, войдя под сень аллеи смоковниц, дошли до погребка, через который за час до этого вышли девятнадцать других заговорщиков.

Книга II



Глава XXXIII

Утро комиссионера

Через день, в семь часов утра Сальватор постучал в дверь дома Петрюса.

Молодой художник еще спал, видя сладкие сны, которые вились над его изголовьем. Вскочив с кровати, он открыл дверь и встретил Сальватора с распростертыми объятиями и полузакрытыми глазами.

– Что нового? – спросил Петрюс с улыбкой на губах. – Вы хотите мне что-нибудь рассказать или снова оказать мне какую-нибудь услугу?

– Все нет, дорогой мой Петрюс, – ответил Сальватор. – Я, напротив, пришел просить вас об одной услуге.

– Говорите же, друг мой, – произнес Петрюс, подавая ему руку. – Я желаю только одного: чтобы она была как можно большей. Вы ведь знаете, что я только и жду случая броситься за вас в огонь.

– Я в этом никогда и не сомневался, Петрюс... Дело вот в чем: у меня был паспорт, и я отдал его месяц тому назад Доминику, который отправлялся в Италию и опасался, что его арестуют, если он будет путешествовать под своим настоящим именем. Сегодня по причине, о которой я расскажу вам чуть позже, Францию покидает Жюстен...

– Он уезжает?

– Сегодня ночью или завтра ночью.

– Надеюсь, с ним не случилось ничего страшного? – спросил Петрюс.

– Что вы, напротив! Но все дело в том, что он должен уехать так, чтобы никто об этом не знал. А для этого ему, как и Доминику, необходимо уехать под чужим именем. Между ним и вами всего два года разницы, все приметы совпадают... Есть ли у вас паспорт и можете ли вы дать его Жюстену?

– Я в отчаянии, дорогой Сальватор, – ответил Петрюс. – Но вы ведь сами знаете, какая деликатная причина заставила меня задержаться в Париже на целых полгода. У меня есть старый паспорт до Рима, но он уже год как просрочен.

– Черт побери! – произнес Сальватор. – Вот это неприятность! Жюстен не может идти за паспортом в полицию: это привлекло бы к нему внимание... Пойду к Жану Роберу. Но Жан Робер на целую голову выше Жюстена!

– Постойте-ка...

– А! Вы чем-то хотите меня порадовать?

– Скажите, а Жюстену не все ли равно, в какую страну отправляться?

– Решительно все равно. Ему надо только выбраться из Франции.

– Ну, тогда я смогу ему помочь.

– Каким же образом?

– Я дам вам паспорт Людовика.

– Паспорт Людовика? А как он у вас оказался?

– Очень просто: он недавно ездил в Голландию и вернулся только позавчера. Я давал ему свой чемодан. Он вернул его мне, но оставил в его кармашке свой паспорт.

– Ладно! Но если Людовику вдруг захочется вернуться в Голландию?..

– Это маловероятно. Но в этом случае он сможет заявить, что потерял паспорт, и попросит новый.

– Отлично.

Петрюс открыл свой баул и вынул из него бумагу.

– Вот паспорт, – сказал он. – И пожелайте другу Жюстену счастливого пути!

– Благодарю вас от его имени.

Молодые люди, пожав друг другу руки, расстались.

Пройдя Восточную улицу, Сальватор проследовал по аллее Обсерватории, свернул на улицу Ада со стороны заставы и достиг приюта подкидышей. В течение секунды он поискал взглядом нужный дом и, казалось, нашел его: это был дом каретника.

Хозяин дома стоял перед дверью. Сальватор ударил его по плечу.

Каретник обернулся, узнал молодого человека и поприветствовал его одновременно дружески и уважительно.

– Мне надо с вами поговорить, мастер, – сказал Сальватор.

– Со мной?

– Да.

– Я к вашим услугам, мсье Сальватор! Не желаете ли войти в дом?

Сальватор кивнул, и они вошли.

Пройдя через лавку, Сальватор вышел во двор и увидел в глубине его под огромным навесом дорожную коляску. Очевидно, он знал, что она должна была оказаться здесь, потому что направился прямо к ней.

– А вот и то, что мне нужно, – сказал он.

– А! Хорошая коляска, мсье Сальватор! Отличная колясочка! И я уступлю ее вам по дешевке: вам просто повезло!

– Достаточно ли она крепка?

– Мсье Сальватор, я за нее ручаюсь. Можете объехать на ней земной шар и вернуть ее мне: я куплю ее у вас со скидкой в двести франков.

Не обращая внимания на слова каретника, который, как и всякий продавец, просто обязан был расхваливать свой товар, Сальватор, взяв коляску за дышло, выкатил ее, словно это была детская коляска, на середину двора и принялся внимательно осматривать с видом человека, прекрасно разбирающегося в каретном деле.

Он нашел, что она вполне подходит, несмотря на некоторые недостатки, о которых тут же заявил каретнику. Тот пообещал устранить их к вечеру того же дня. Каретник не обманул: коляска была и впрямь удобной и, что было особенно ценно, очень крепкой.

Сальватор немедленно договорился о цене: сошлись на шестистах франков. Они договорились, что в половине седьмого вечера коляска, запряженная двумя добрыми почтовыми лошадьми, будет стоять на внешнем бульваре между заставой Крульбарб и Итальянской заставой.

Что же касается оплаты, то тут трудностей не возникло: Сальватор, желавший платить за все только тогда, когда его приказы исполнялись в точности и, вероятно, имевший какие-то дела на завтра, назначил каретнику встречу на утро через день. Каретник, знавший, что Сальватор человек правильный, как говорят на торговом жаргоне, с легкостью согласился подождать деньги сорок восемь часов.

Сальватор расстался с каретником, спустился по улице Ада, прошел по улице Бурб (сегодня она называется улица Королевских Ворот) и достиг порога некой маленькой двери напротив Материнского приюта.

Именно там жил столяр Жан Торо со своей любовницей мадемуазель Фифиной. Любовницей в полном смысле этого слова.

Сальватору не надо было спрашивать у консьержа, дома ли плотник, поскольку, едва ступив на первую ступеньку лестницы, услышал рев, ибо крестный отец, давший Бартелеми Лелону имя Жан Торо, избрал это имя, точно ему подходившее.

Крики мадемуазель Фифины, добавлявшие в этот речитатив пронзительные нотки, доказывали, что Жан Торо исполнял не сольную арию, а часть дуэта. Волны этого шумного концерта, вырываясь из двери, указывали Сальватору, куда ему следовало идти.

Поднявшись на пятый этаж, Сальватор как бы попал под лавину криков. Он вошел не постучавшись, поскольку дверь была приоткрыта. Это было одной из предосторожностей мадемуазель Фифины, всегда оставлявшей себе путь отступления на случай гнева разъяренного гиганта.

Перенеся ногу за порог, Сальватор увидел, что противники стоят лицом к лицу: мадемуазель Фифина с растрепанными волосами и бледная как смерть грозила кулаком Жану Торо, красному как мак и рвущему на себе волосы.

– А! Несчастный! – вопила мадемуазель Фифина. – Ах, глупец! Ах, придурок! Ты думал, что эта малышка твоя?

– Фифина! – рявкнул Жан Торо. – Предупреждаю тебя, что я тебе сейчас врежу!

– Так вот знай: она не от тебя, а от него!

– Фифина, ты что же, хочешь, чтобы я засунул вас обоих в ступку и растер в порошок?

– Ты? – сказала угрожающе Фифина. – Ты, ты, ты?..

И, произнося это *ты*, она сделала шаг вперед. А Жан Торо одновременно отступал на шаг.

– Ты? – произнесла она еще раз, хватая его за бороду и тряся, словно ребенок грушу, надеясь стряхнуть плоды. – Попробуй-ка только тронь меня, мерзавец! Только прикоснись ко мне, негодяй! *Бездельник!*

Жан Торо поднял руку... Если бы этот кулак, удар которого мог завалить быка, опустился, словно молот на скотобойне, на голову мадемуазель Фифины, голова ее разлетелась бы по комнате. Но кулак застыл в воздухе.

– Ну, что у вас опять случилось? – спросил Сальватор довольно грубым голосом.

При звуке этого голоса Жан Торо побледнел, а мадемуазель Фифина, покраснев, отпустила бороду плотника и повернулась к Сальватору:

– Что случилось? – сказала она. – Ах, мсье Сальватор, вы вовремя пришли мне на помощь!.. Что случилось? Случилось то, что это чудовище в человеческом облике, как обычно, колотит меня.

Жан Торо и сам уже поверил в то, что он колотил мадемуазель Фифину.

– Но, мсье Сальватор, меня тоже можно понять: она меня так ругает!

– Ничего! Чем больше ты страдаешь в этой жизни, тем меньше будешь страдать в следующей.

– Мсье Сальватор, – воскликнул Жан Торо со слезами в голосе, – но ведь она говорит, что мой ребенок, моя бедная девочка, так на меня похожая, не моя дочь!

– Но если она так на тебя похожа, – заметил Сальватор, – почему же ты ей веришь?

– Да я ей и не верю, честное слово! Ведь если бы я ей верил, я взял бы ребенка за ноги и разбил бы ей голову о стену!

– Сделай это, злодей! Сделай! И я с удовольствием увижу, как ты взойдешь на эшафот!

– Слышите, мсье Сальватор?.. Это для нее будет удовольствием.

– Слышу.

– Ладно, я пойду на эшафот, – завопил Бартелеми Лелон, – я взойду на него. Но лишь за то, что хорошенько всыплю мсье Фафиу. Когда я думаю, мсье Сальватор, что она выйдет за человека, к которому я не смею прикоснуться из опасения, что сломаю его, как щепку, а поскольку мне стыдно бить его кулаком, я буду вынужден пырнуть его ножом.

– Вы слышите, что говорит этот убийца?

Сальватор это слышал. И бесполезно говорить, что он должным образом оценил всю серьезность угроз Жана Торо.

– Неужели я не могу хоть раз к вам зайти без того, чтобы не найти вас в состоянии драки или ссоры? Вы плохо кончите, мадемуазель Фифина, это я вам говорю. В один прекрасный день вы нарветесь на кого-нибудь, кто будет таким быстрым, что у вас не останется времени на раскаяние.

– Во всяком случае, это будет не он, – завопила мадемуазель Фифина, скрипя зубами и поднеся кулак к носу Бартелеми.

– Почему же не он? – спросил Сальватор.

– Потому что я твердо намерена бросить его, – ответила мадемуазель Фифина.

Жан Торо взвился, словно дотронувшись до вольтовой батареи.

– Ты хочешь меня бросить? – заорал он. – Бросить меня после такой жизни, которую ты мне устроила, тысяча чертей!.. О! Нет. Ты меня не бросишь, клянусь! Или я задушю тебя в том месте, где только поймаю!

– Вы слышите его, мсье Сальватор? Слышите? Если я подам на него в суд, надеюсь, вы будете моим свидетелем.

– Замолчите, Бартелеми, – нежно произнес Сальватор. – Фифина это только говорит, но в глубине души она вас очень любит.

Затем, сурово взглянув на молодую женщину взглядом, которым смотрят на гадюку змееловы сказал:

– По крайней мере она должна бы вас любить. Разве не вы, что бы она ни говорила, отец ее ребенка?

Девушка под взглядом Сальватора смущенно поникла головой, почувствовав угрозу, и произнесла нежным голосом с невинностью девственницы:

– Действительно, в глубине души я его люблю, хотя он меня и лупцует почему зря... Но как же я могу быть нежной, мсье Сальватор, по отношению к человеку, который показывает мне или кулаки или зубы?

Жан Торо был глубоко тронут этим признанием своей любовницы.

– Ты права, Фифина, – сказал он со слезами на глазах. – Ты права: я животное, дикарь, турок. Но это сильнее меня, Фифина, что поделаться!.. Когда ты говоришь мне об этом бандите Фафиу, когда грозисься отнять у меня мою дочку и уйти от меня, я помню только об одном: я должен махать кулаком в пятьдесят фунтов. Тогда я поднимаю руку и говорю: «Кто хочет попробовать? Ну, подходи!..» Но я прошу тебя простить меня, моя маленькая Фифина! Ты же знаешь, что я такой, потому что я тебя обожаю!.. Да к тому же, что значат в конечном счете два-три лишних удара в жизни женщины?

Не знаем, нашла ли мадемуазель Фифина этот довод логичным, но она отреагировала так, как смогла: она царственным жестом медленно протянула руку Бартелеми Лелону, который так поспешно поднес ее к губам, что создавалось впечатление, что он хочет ее съесть.

– Так-то лучше! – произнес Сальватор. – Теперь, когда мир восстановлен, поговорим о других вещах.

– Да, – сказала мадемуазель Фифина, чья наигранная ярость уже полностью прошла, в то время когда волнение Жана Торо еще kloкотало в его груди. – А пока я пойду схожу за молоком.

И мадемуазель Фифина сняла висевшую на стене молочную флягу. И, снова обращаясь к юноше, спросила нежным голосочком:

– Вы выпьете с нами кофейку, мсье Сальватор?

– Спасибо, мадемуазель, – ответил Сальватор. – Я кофе уже пил.

Мадемуазель Фифина сделала рукой жест, который должен был означать: «Какая жалость!», а потом начала спускаться по лестнице, напевая арию из какого-то водевиля.

– В душе она замечательная девочка, мсье Сальватор, – сказал Жан Торо, – и я очень сержусь на себя за то, что делаю ее такой несчастной! Но что поделаться! Человек или ревнив или же не ревнив. Я-то ревнив, словно тигр, но в этом нет моей вины!

И гигант тяжело вздохнул. Во вздохе его слышался упрек в свой адрес и нежность по отношению к мадемуазель Фифине.

Сальватор глядел на него с восхищением и состраданием.

– А теперь поговорим, Бартелеми Лелон! – сказал он.

– О! Я вас внимательнейшим образом слушаю, мсье Сальватор! Я – ваш и душой и телом, – ответил плотник.

– Я знаю это, мой хороший. И если бы вы перенесли на ваших приятелей хотя бы часть той дружбы и благодушия, которые вы питаете по отношению ко мне, мне не стало бы от этого хуже, но зато другие от этого только выиграли бы.

– Ах, мсье Сальватор! Вы не сможете сказать мне больше упреков, чем я их скажу сам себе.

– Ну хорошо, вы сможете их высказать самому себе, когда я уйду. Но вы мне нужны сегодня вечером.

– Сегодня вечером, завтра, послезавтра! Когда угодно, мсье Сальватор. Я к вашим услугам!

– Услуга, о которой я хочу вас попросить, Жан Торо, вынудит вас находиться вне Парижа... Сутки, возможно, двое... А может быть, и больше.

– Да хотя бы целую неделю, мсье Сальватор. Этого вам достаточно?

– Спасибо... А теперь скажите, много ли у вас работы на стройке?

– Сегодня и завтра много.

– В таком случае, Бартелеми, я снимаю свою просьбу: мне не хочется, чтобы вы потеряли рабочий день и лишали своего хозяина ваших услуг.

– О! В таком случае я день не потеряю, мсье Сальватор.

– Каким образом?

– А я сегодня сделаю ту работу, что предстоит мне сделать завтра.

– Но это же трудно.

– Трудно? Бог мой, никакой трудности!

– Да как же вы сможете за один день сделать то, что вам дается на два?

– Хозяин пообещал мне заплатить, как за четыре, если я сделаю эту работу за два дня.

Потому, что, не хвалясь, скажу, что я свою работу делаю на совесть... Так вот, я сегодня поработаю за два дня и получу, как за один. Но зато я буду полезен человеку, за которым пойду в огонь и в воду. Вот так-то!

– Спасибо, Бартелеми, я согласен.

– Так что надо будет сделать?

– Сегодня вечером вы отправитесь в Шатильон.

– Куда именно?

– В «Божью благодарность».

– А, знаю! В котором часу?

– В девять.

– Я там буду, мсье Сальватор.

– Там дождетесь меня... Но не пейте больше одной бутылки.

– Больше одной не буду, мсье Сальватор.

– Обещаете?

– Клянусь!

И плотник поднял руку, словно произнося присягу перед судом. А может быть, и еще торжественнее.

Сальватор продолжал.

– Вы прибудете туда вместе с Туссенем Лувертюром, если он будет свободен сегодня вечером.

– Да, мсье Сальватор.

– Тогда прощайте! До вечера!

– До вечера, мсье Сальватор.

– Так вы решительно не хотите выпить с нами кофе? – спросила, неся кринку со сливками, мадемуазель Фифина.

– Нет, мадемуазель, спасибо, – ответил Сальватор.

И пока молодой человек направлялся к двери, мадемуазель Фифина подошла к плотнику и погладила ладошкой по бороде, которую так яростно трясла всего лишь десяток минут тому назад.

– А вот мой волчонок чашечку выпьет, – сказала она. – Ну же, поцелуйте свою маленькую Фифину и больше не сердитесь!

Жан Торо даже заблеял от радости и, едва не задушив Фифину в объятиях, догнал Сальватора на лестнице.

– Ах, мсье Сальватор, – сказал он, – вы были правы: я грубиян и не заслуживаю такой женщины, как она!

Сальватор, не отвечая, пожал мозолистую руку доброго плотника, кивнул и продолжил свой путь.

Спустя четверть часа он уже стучал в дверь Жюстена.

Ему открыла сестра Селестина. Она как раз в тот момент подметала класс, а сам Жюстен, стоя у окна, очинял перья учеников.

– Здравствуй, сестра, – радостно произнес Сальватор, протягивая руку худенькой девушке.

– Здравствуй, *голубь наш*! – ответила с улыбкой сестра Селестина, услышавшая однажды, что именно так называла молодого человека ее мать в память о его появлении в их ковчеге, куда он всегда приходил только с оливковой ветвью, и продолжавшая называть Сальватора только так.

– Тсс!.. – произнес Сальватор, прикладывая палец к губам. – Я думаю, что принес для брата Жюстена очень хорошую новость.

– Как всегда, – сказала сестра Селестина.

– Что? – произнес Жюстен, услышав и узнав голос Сальватора.

И подбежал к дверям.

Сестра Селестина вышла.

– Ну, что? – спросил Жюстен.

– Есть новости, – ответил Сальватор.

– Новости?

– Да. Их очень много!

– О, бог мой! – произнес, вздрагивая всем телом, молодой учитель.

– Ну, уж если вы сейчас начинаете дрожать, что же с вами будет потом?

– Говорите, друг мой! Говорите же!

Сальватор положил руку на плечо друга.

– Жюстен, – продолжил он, – если бы вам сказали: «Сегодня Мина стала свободной, сегодня Мина вырвана из плена, Мина может принадлежать вам. Но готовы ли вы из страха потерять ее все бросить, покинуть семью, друзей, родину?!», что бы вы на это ответили?

– Друг мой, я не смог бы ничего ответить, потому что умер бы от радости!

– Но для этого нет времени... Продолжим. А что, если я вам скажу: «Мина свободна, это так, но при условии, что вы незамедлительно уедете с ней и у вас не будет времени ни на то, чтобы выразить свое сожаление, ни попрощаться, ни оглянуться назад»?

Бедняга Жюстен уткнулся лицом в грудь друга и грустно ответил:

– Я не смог бы уехать, друг... Вы ведь прекрасно знаете, что уехать я не могу.

– Продолжим, – сказал Сальватор. – Возможно, есть способ все это уладить.

– О боже! – произнес Жюстен, вздевывая руки.

– Чего желают больше всего на свете, – снова заговорил Сальватор, – ваши матушка и сестрица?

– Уехать, чтобы прожить до конца своих дней в той деревне, где они жили раньше, на том клочке земли, где они родились.

– Так вот, – сказал Сальватор. – Завтра они смогут туда уехать и жить там до самой смерти.

– Что это вы такое говорите, дорогой Сальватор?

– Я говорю, что неподалеку от вашей фермы должны быть какие-нибудь аккуратненькие домишки, крытые черепицей или соломой, которые очень хорошо вписываются в пейзаж, когда по вечерам видны из-за раздвигаемых ночным ветерком деревьев поднимающиеся к небу дымки из труб!

– О, Сальватор, их там около десятка!

– И сколько же стоит такой домик с садом в один арпан?

– Не знаю... Наверное, тысячи три-четыре.

Сальватор вынул из кармана четыре банкноты.

Жюстен следил за ним чуть дыша.

– Вот вам четыре тысячи франков, – сказал Сальватор. – А сколько им нужно будет денег на то, чтобы прилично жить в этом доме?

– О, благодаря экономии сестры и строгости в расходах матери пятисот франков в год будет более чем достаточно.

– Ваша матушка калека, дорогой мой Жюстен. А сестрица слаба здоровьем. Посему положим вместо пятисот франков тысячу.

– О, при наличии тысячи франков в год у них не только будет все необходимое, но еще и останутся деньги!

– Вот десять тысяч франков на десять лет, – сказал Сальватор, добавляя к четырем бумажкам еще десять банкнот.

– Друг мой!.. – вскричал сдавленным голосом Жюстен, хватая Сальватора за руку.

– Добавим еще тысячу франков на переезд, – продолжал тот, – получается пятнадцать тысяч франков... Положите эти деньги отдельно – они принадлежат вашей матушке.

Жюстен был бледен от радости и удивления.

– А теперь, – снова заговорил Сальватор, – перейдем к вам...

– Как, ко мне? – пробормотал Жюстен, дрожа от волнения всем телом.

– Естественно. Ведь с вашей матерью мы уже разобрались.

– Говорите, Сальватор, говорите скорее, не то я совсем потеряю рассудок, друг мой!

– Дорогой Жюстен, – сказал Сальватор, – сегодня ночью мы похитим Мину.

– Сегодня ночью... Мину... Мы похитим Мину? – вскричал Жюстен.

– Если только вы не будете против этого возражать...

– Я, возражать?... Но куда же я повезу Мину?

– В Голландию...

– В Голландию?

– Где проживете с ней год, два, десять, если понадобится. До тех пор, пока не изменится настоящий порядок вещей и вы не сможете вернуться во Францию.

– Но для того, чтобы жить в Голландии, нужны деньги!

– Правильно, друг мой. Вот мы сейчас и посчитаем, сколько вам нужно денег.

Жюстен обхватил свою голову руками.

– О, дорогой Сальватор, посчитайте сами, – воскликнул он. – Я уже и сам не знаю, что говорю. Я даже не понимаю того, что говорите мне вы!

– Ну же! – продолжал Сальватор твердым голосом, отнимая руки Жюстена от головы. – Будьте мужчиной! И давайте в дни процветания сохраним в себе силы, которыми отличались в дни несчастий!

Жюстен сделал над собой усилие. Мышцы его перестали дрожать, глаза перестали бессмысленно блуждать, и он осмысленно взглянул на Сальватора. Он поднес носовой платок к покрытому потом лбу.

– Говорите, друг мой, – сказал он.

– Прикиньте, сколько вам будет нужно денег для того, чтобы жить с Миной за границей.

– С Миной?.. Но ведь Мина мне не жена! И значит, я не могу жить с ней!

– О, Жюстен, я прекрасно знаю, как вы добры, честны и благородны! – сказал Сальватор с лучшей из своих улыбок. – Да, вы не сможете жить с Миной, пока она вам не жена, а Мина не может стать вашей женой до тех пор, пока мы не разыщем ее отца для того, чтобы тот дал свое согласие на брак.

– А если мы его никогда не разыщем?.. – воскликнул Жюстен.

– Друг мой, – ответил на это Сальватор, – вы сомневаетесь в Провидении.

– А если он умер?

– Если умер, мы констатируем его смерть. И тогда, поскольку Мина не будет зависеть ни от кого, она станет вашей женой.

– Ах, друг мой... дорогой Сальватор!

– Вернемся же к нашему делу.

– Да-да! Вернемся!

– Мина, поскольку она не может стать вашей женой до тех пор, пока мы не разыщем ее отца, должна быть устроена в какой-нибудь пансион.

– Друг мой, но вспомните про Версальский пансион.

– За границей пансион – вовсе не то же самое, что во Франции. К тому же вы можете устроить так, чтобы видеться с ней ежедневно, и поселиться так, чтобы ваши окна смотрели на окна ее комнаты.

– Допускаю, что, приняв все эти предосторожности...

– Во сколько, по-вашему, обойдется проживание Миной в пансионе и содержание ее там?

– Полагаю, что в Голландии с тысячей франков за проживание в пансионе...

– Тысяча франков за пансион?

– Да, плюс пятьсот франков на содержание...

– Давайте положим тысячу.

– Как это: положим тысячу?

– Так и положим. Это значит, что в год на Мину надо будет тратить две тысячи франков.

До совершеннолетия ей осталось пять лет: вот вам десять тысяч франков.

– Друг мой, я ничего не понимаю.

– К счастью, вам и понимать нечего... А теперь поговорим о вас.

– Обо мне?

– Да. Сколько денег вам нужно на год?

– Мне?.. Да ничего не нужно! Я буду давать уроки французского и музыки.

– Но учеников, возможно, придется ждать целый год. И даже не дожидаться вовсе.

– Ну, с шестьюстами франков в год...

– Кладем тысячу двести.

– Тысячу двести франков в год... На меня одного? Друг мой, да я буду просто богачом!

– Тем лучше. Лишнее вы отдадите беднякам, Жюстен! Бедняков везде хватает. Тысяча двести на пять лет это будет ровно шесть тысяч франков. Вот вам эти шесть тысяч.

– Но кто вам дал эти деньги, Сальватор?

– Провидение, в котором вы в настоящий момент сомневаетесь, друг мой, говоря, что Мина не сможет найти своего отца.

– О, как я вам благодарен!

– Благодарить вы должны не меня, Жюстен: вы ведь знаете, что я беден.

– Значит, этому счастью я обязан какому-то незнакомому мне человеку?

– Незнакомому? Нет.

– Значит, иностранцу?

– Не совсем так.

– Но, друг мой, могу ли я в таком случае принять тридцать одну тысячу франков?

– Можете, – произнес с оттенком упрека в голосе Сальватор. – Ведь их предлагаю вам я.

– Простите, вы правы... Тысячу извинений! – воскликнул Жюстен, сжимая руки друга.

– Так вот, сегодня ночью...

– Сегодня ночью? – переспросил Жюстен.

– Да, сегодня ночью мы похищаем Мину, и вы с ней уезжаете!

– О, Сальватор! – вскричал Жюстен, сердце которого было переполнено радостью, а глаза – полны слез. И сам его возглас говорил: «Брат мой!»

И бедный учитель, словно видя перед собой спустившееся к нему с неба Божество, сложил руки и стал смотреть на Сальватора, с которым он был знаком чуть более трех месяцев и который при каждой встрече давал ему возможность вкушать те душевные радости, которых учитель тщетно просил у Провидения на протяжении двадцати девяти лет!

– Позвольте, – вдруг с тревогой сказал Жюстен, – но ведь мне понадобится паспорт!

– Насчет этого не беспокойтесь, друг мой: вот вам паспорт Людовика. Вы с ним одного роста и волосы ваши почти одного цвета. Что же касается прочего, почти неважно: все приметы, начиная с роста и кончая цветом волос, почти совпадают. И вам абсолютно нечего опасаться. Если только на границе вы не нарветесь на какого-нибудь очень разбирающегося в цветах жандарма.

– В таком случае мне остается только достать карету?

– Ваша карета с лошадьми будет ждать вас сегодня вечером в пятидесяти шагах от заставы Крульбарб.

– Значит, вы уже обо всем позаботились?

– Надеюсь, – с улыбкой ответил Сальватор.

– Кроме моих бедных маленьких учеников, – произнес Жюстен, покачав головой с некоторыми угрызениями совести.

В этот момент в дверь постучались трижды.

– Друг мой, – сказал Сальватор, – не знаю, почему, но у меня такое чувство, что тот, кто стучится к вам в дверь, принес ответ на этот вопрос.

Дело было в том, что Сальватор, стоя у окна, увидел, как к дому через двор шел милейший господин Мюллер.

Жюстен пошел открывать и вскрикнул от радости, увидев перед собой старого сподвижника Вебера, который, пройдя внешним бульварным кольцом, пришел к нему с утренним визитом.

Ему вкратце рассказали о сложившейся ситуации. Когда господин Мюллер выразил свой восторг по поводу этой новости, Сальватор сказал:

– Есть только одно обстоятельство, мешающее Жюстену быть полностью счастливым, дорогой мсье Мюллер.

– Какое же, мсье Сальватор?

– Бог мой, он мучается вопросом, кто сможет его заменить и возьмет себе его бедных маленьких учеников.

– А я-то на что? – просто спросил добрейший господин Мюллер.

– Не я ли говорил вам, дорогой Жюстен, что человек, который стучится к вам в дверь, даст ответ на мучающий вас вопрос?..

Жюстен бросился к господину Мюллеру и благодарно поцеловал ему руки.

Затем было условлено, что, начиная с сегодняшнего дня, господин Мюллер возьмет учеников себе, поскольку состояние тела и души Жюстена не позволяли ему проводить занятия.

А когда наступят каникулы, ученикам будет объявлено, что отсутствие Жюстена может затянуться на неопределенное время, с тем чтобы родители за сентябрь месяц смогли подыскать своим детям нового учителя.

Сальватор ушел, оставив господина Мюллера проводить занятия и поручив Жюстену подготовить госпожу Корби и сестру Селестину к тем переменам, которые должны были произойти в их жизни в то самое время, когда они меньше всего на это надеялись. Затем он быстро прошел по улице Сен-Жак и ровно в девять часов был уже на улице Офер в кабаре «*Золотая раковина*», где, как мы помним, Жибелотта выставила столь фантастический счет своему любимому другу Крючку.

Как мы видим, Сальватор начал день довольно удачно. В следующей главе мы узнаем, как он его закончит.

Глава XXXIV

Вечер комиссионера

Вечером, в назначенный час, дорожная коляска, приведенная каретником в отличное состояние, остановилась в пятидесяти шагах от заставы Крульбарб.

Ямщик, стремглав примчавшийся на место за десять минут до назначенного часа, вначале подумал, что стал жертвой розыгрыша, увидев, что на условленном месте не только никого не было, но и не ощущалось ни малейшего признака того, что кто-то должен там быть.

Однако спустя несколько минут, увидев двух быстро приближавшихся к нему в обнимку молодых людей, ямщик сошел с лошади, пересел на облучок и застыл, словно камень.

Как Сальватор с Жюстеном ни старались идти быстро, первым к коляске все же подскокчил Роланд. Подойдя, Сальватор открыл дверцу, опустил подножку и сказал Жюстену:

– Садитесь!

Услышав всего лишь одно слово, ямщик вздрогнул, как от электрического разряда, и обернулся. Увидев и узнав того, кто произнес это слово, он даже покраснел от удовольствия.

– Здравствуй, приятель! – с улыбкой произнес Сальватор, протягивая ямщику свою тонкую руку аристократа. – Как поживает твой славный батюшка?

– Прекрасно, мсье Сальватор! – ответил ямщик. – Знай он, что это вы собрались в путешествие, он сам приехал бы сюда, несмотря на свои семьдесят шесть лет!

– Хорошо. Я как-нибудь на днях загляну к нему. Он по-прежнему живет на площади Бастилии?

– Черт побери! – с гордостью произнес ямщик. – Если кто-то и имеет право там жить, то только он!

– Да, ты прав, – сказал Сальватор. – Жить там – меньшее из того, чего заслужил человек, бравший эту крепость!

Затем сел в коляску рядом с уже устроившимся там Жюстеном.

– Ты тоже хочешь сесть к нам, Роланд? – спросил он у своей собаки.

Роланд замотал головой.

– Не хочешь? – продолжал Сальватор. – Ага, ты предпочитаешь пробежаться?.. Тогда вперед, Роланд!

– Куда едем, мсье Сальватор? – спросил ямщик.

– По дороге на Фонтенбло... Тише! Ты меня не знаешь!

– Не желая показаться нескромным, мсье Сальватор, поскольку я чувствую, что здесь кроется какая-то тайна, я все же хочу спросить, не скажете ли вы другу, куда надо ехать?

– Тебе скажу, мой маленький Бернар... В Кур-де-Франс.

– Вы там останетесь?

– На ночь.

– Хорошо. За вами никто следить не будет, это я вам обещаю!

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. Это – мое дело, мсье Сальватор. Доверьтесь мне! Надо ли гнать?

– Нет, Бернар. Езжайте спокойно. Мы должны прибыть в Кур-де-Франс не раньше десяти.

– Ну, тогда поедem рысцой... Но мне не так хотелось бы вас прокатить, мсье Сальватор.

– А как, мой мальчик?

– Так, как я вез в 1815 году императора: пять лье в час.

А потом ямщик тихо добавил:

– А разве вы, мсье Сальватор, не наш император? Разве, когда вы скажете: «К оружию!», мы не вооружимся? А если скажете: «Вперед!», разве мы не пойдem?

– Ну, хватит, Бернар!.. – со смехом сказал Сальватор.

– Тсс... Молчу!.. Ба! Но разве друзья наших друзей не наши друзья? Ведь поскольку этот мсье с вами, он – наш друг!

И Бернар сделал масонский знак.

– Да, друг мой, я ваш друг, – ответил Жюстен. – Ты совершенно прав. И мне бы очень хотелось быть с вами в тот день, когда надо будет взяться за оружие и выступить!

– Видите, мсье Сальватор, все нормально! Нам остается только спеть:

Вперед, дети Отчизны!

И, запев национальный гимн, ямщик стеганул лошадей.

Коляска сорвалась с места, подняв за собой облако пыли, позлащенная последними лучами солнца, коляска стала похожей на солнечную колесницу, спускающуюся с небес на землю.

Мы не станем рассказывать вам, о чем говорили сидевшие в коляске приятели в постепенно сгущавшейся вокруг них темноте. Сами понимаете, основной темой их разговора была надежда. Еще четыре часа, еще три, еще два, и они будут на вершине человеческого счастья, которая уже проступала из-за густых облаков и темных туманов.

Госпожа Корби и сестра Селестина были просто счастливы, узнав о предстоящих событиях и переменах. Глубоко набожные женщины надеялись, что Господь не оставит Жюстена в минуту опасности. А предстоящая разлука могла быть только временной, и они надеялись, что вскоре семья вновь сможет соединиться для того, чтобы больше никогда не покидать друг друга.

Таким образом все складывалось как нельзя лучше, и в предстоявших переменах все видели только несказанную радость и Божью благодать.

В Вильжюиф сделали короткую остановку для того, чтобы поменять лошадей. И вновь тронулись в путь.

Высунувшись из окошка коляски, Сальватор посмотрел на часы: была половина десятого.

Спустя час вдали стали видны очертания фонтанов Кур-де-Франс или, назовем их своими именами, фонтанов Жювизи. Это были большие фонтаны, украшенные трофеями и гениями на пьедесталах, – яркий образчик архитектурного стиля Людовика XV середины XVIII века.

Ямщик остановил лошадей, спрыгнул на землю и открыл дверцу.

– Приехали, мсье Сальватор, – сказал он.

– Как? Это ты, Бернар?

– Да, это я!

– Ты проехал два перегона?

– Конечно!

– Я думал, что это запрещено.

– Да разве есть что-нибудь, что запрещено для вас, мсье Сальватор?

– Но как же?..

– Вот как все произошло. Я подумал: «Мсье Сальватору предстоит какое-то благородное дело и ему нужен человек, который бы ничего не видел и ничего не слышал, но имел на всякий случай пару рук. И этот человек – я!» И тогда в Вильжюифе я сделал вот что: я сказал Пьеру Ланглуоме, который должен был ехать с вами: «Слушай, друг мой, Пьер, у бедняги Жака Бернара есть зазноба у фонтанов Кур-де-Франс. Ты должен уступить ему место для того, чтобы он смог сказать пару слов своей подружке. А когда я вернусь, мы раздавим бутылочку. Идет?» Ланглуоме согласился, мы ударили по рукам, и вот я здесь! А теперь, мсье Сальватор, скажите, ведь я не ошибся? Вот так-то! Мне придется проехать на пять лье больше. Но такой преданный своему делу ямщик, как я, от такого пустяка не умрет... Я ведь прав? А теперь я жду ваших

приказаний! И если мне за вас разобьют физиономию, я перевяжу рожу платком и вам не о чем будет беспокоиться.

Сальватор протянул Жаку Бернару руку.

– Друг мой, – сказал он ему. – Не думаю, что ты мне сегодня понадобишься, но будь спокоен, если представится случай обратиться к тебе за помощью, я непременно это сделаю.

– Обещаете, мсье Сальватор?

– Обещаю.

– Отлично!.. Что я теперь должен делать?

– Проезжай вперед примерно сто пятьдесят шагов.

– А дальше?

– Остановись там.

Бернар взобрался на облучок и проехал сто пятьдесят шагов, остановился, спустился на землю и открыл дверцу.

Сальватор вышел из коляски и направился ко рву.

В двадцати метрах от него из темноты поднялся какой-то человек и сосчитал до четырех. Сальватор досчитал до восьми и пошел навстречу этому человеку.

Этим человеком был генерал Лебатар де Премон.

Сальватор подвел генерала к коляске и помог ему подняться в нее. Потом сел сам и сказал Бернару:

– В Шатильон!

– А куда именно в Шатильоне, хозяин?

– К таверне «*Божья благодать*».

– Знаем... Отведать индийских цыплят!

И Жак Бернар, стеганув лошадей, поехал по дороге на Шатильон. Спустя десять минут коляска, заскрипев осями, остановилась перед таверной «*Божья благодать*».

Пока они ехали, Сальватор представил Жюстена генералу. Генерал уже знал, кто такой Жюстен, а тот даже не представлял себе ни кто такой этот генерал, ни какую услугу он ему оказал.

Итак, как мы уже сказали, коляска подкатила к таверне «*Божья благодать*».

Мы уже помним, что именно там Сальватор назначил встречу Жану Торо и Туссену Лувертюру.

Оба могиканина были на месте, но – странное дело! – хотя они уже сидели там целый час, стоявшая на столе бутылка еще не была даже открыта. Можно было бы подумать, что это – уже вторая, но стаканы были такими же чистыми, словно они только что вышли со стеклодувной фабрики.

Жан Торо и Туссен Лувертюр встали, завидев выходящего из коляски Сальватора. Тот вошел в таверну один.

Осмотревшись, Сальватор увидел, что его люди сидели в одиночестве в уголке зала.

Жан Торо понял, что беспокоило комиссионера.

– О! Вы можете говорить, мсье Сальватор, – сказал он. – Здесь нас никто не услышит.

– Да, – подтвердил Туссен Лувертюр. – Давайте приказания и мы их исполним.

– Указания будут краткими, – сказал Сальватор. – Сегодня ночью вы можете мне понадобиться.

– Тем лучше! – сказал Жан Торо.

– Но, возможно, и не понадобятся.

– Тем хуже! – сказал Туссен Лувертюр.

– Но в любом случае вы пойдете со мной.

– Мы готовы!

– И вы даже не спрашиваете, куда я вас поведу?

– А зачем? Вы прекрасно знаете, что мы пойдем за вами даже к черту на рога, – сказал Бартелеми Лелон.

– И что потом? – спросил Туссен Лувертюр.

– Потом... Я поставлю вас на места, где вы должны будете находиться, но не показывайтесь раньше, чем я скажу: «Ко мне!»

– А вдруг вам будет угрожать опасность, мсье Сальватор?

– Это касается только меня.

– Ну вот!

– Дайте слово, что появитесь только тогда, когда я скажу: «Ко мне!»

– Черт! Придется дать.

– Итак, даете слово?

– Слово Бартелеми Лелона!

– Слово Туссена Лувертюра!

– Хорошо! Бартелеми, положи эту веревку в карман. А ты, Туссен, сунь себе в карман вот этот платок.

– Готово.

– А теперь скажите, знаете ли вы парк Вири?

– Я не знаю, – сказал Туссен.

– А я знаком с этим парком, – ответил Жан Торо.

– Отлично! Один из двоих знает, и этого достаточно!

– И что с того?

– А то, что вы пойдете сейчас через поле, а когда увидите высокую белую стену, выходящую углом на дорогу, остановитесь там и спрячетесь где-нибудь неподалеку. Там я вас и разыщу.

– Понятно, – хором ответили Жан Торо и Туссен Лувертюр.

– Ну, тогда до встречи?

– До встречи, мсье Сальватор.

И могики ушли.

Сальватор пошел к коляске, в которой оставил, как мы уже знаем, генерала де Премона и Жюстена.

Коляска поехала назад по дороге, по которой прикатила в Шатильон, и выехала на шляхт на Фонтенбло, в то место, где он идет под уклон к мосту Годо, а оттуда к замку Вири.

Натренированный глаз Сальватора заметил в потемках две крадущиеся тени: это были Бартелеми Лелон и Туссен Лувертюр.

Коляска спустилась вниз, доехала до моста Годо. Пассажиры увидели вдаль белую стену, которая ночью походила на белую реку, текущую по равнине.

Трое мужчин вышли из коляски и помогли ямщику спрятать коляску и лошадей в рощице, росшей рядом с дорогой, которая, казалось, была самой природой создана для того, чтобы служить огромным ангаром. Жаку Бернару было приказано не шуметь. Тот был ужасно доволен, что принимал какое-то участие в подготавливавшейся тайной операции.

Когда карета и лошади были замаскированы, вместо того, чтобы продолжать идти по дороге на Вири, Сальватор, а за ним следом Жюстен и генерал, пошли по тропинке, которая вела к стене замка.

Стояла *«нежная тихая лунная ночь»*, как сказал Вергилий про одну из последних ночей весны или скорее про одну из первых летних ночей. Воздух был влажным, по небу плыли облака и ежесекундно луна помогала нашим друзьям своим дружелюбным молчанием, прячась за облака, словно ребенок прячется за деревьями, потом показываясь на небосклоне для того, чтобы сразу же снова укрыться за тучей.

Так друзья достигли решетки двери парка, о которой мы уже вам говорили. Взяв вправо, они подошли к тому месту стены, в котором Жюстен обычно перелезал. Там генералу показали, что он должен был сделать. Сальватор прислонился спиной к стене и сложил руки на коленях. Жюстен, подавая пример, первым взобрался с помощью Сальватора на стену и спрыгнул в парк с ловкостью, доказывающей большую практику в подобных упражнениях. Генерал последовал за ним и сделал то же самое с такой же легкостью и ловкостью, хотя и был лет на пятнадцать старше Жюстена.

Роланд, решив, что настала его очередь, тоже приготовился было перепрыгнуть через стену, но хозяин знаком остановил его порыв. Сальватор, не забыв о двух помощниках, которые хотя и тронулись в путь раньше них, но отстали от коляски благодаря кнуту Жака Бернара, пошел встретить их у угла стены.

Прождав не более пяти минут, он увидел Жана Торо и Туссена Лувертюра, чьи тени начали вырисовываться на горизонте, как силуэты двух гигантов. Приближение их было не менее фантастическим, поскольку они подошли бесшумно.

Только когда они вплотную приблизились к Сальватору, он увидел, что они шли босиком.

– Bravo! – тихо сказал он им. – Я вас жду.

– И мы пришли! – ответили оба.

– Идите за мной.

Плотник и угольщик молча последовали за ним.

Подойдя к тому месту стены, где перелезли Жюстен и генерал, Сальватор остановился.

– Это здесь! – сказал он.

– Ага! – произнес Жан Торо. – Видимо, надо будет перелезть через нее?

– Ну, конечно же. И сейчас мы вам покажем, как это делается, – сказал Сальватор. –

Роланд, ко мне!

Роланд подошел к хозяину, встал на задние лапы, опершись передними о стену.

Сальватор поднял пса до вершины стены. Тот, ухватившись когтями передних лап за гребень стены и упираясь задними лапами о стену, перевалил через нее и спрыгнул в парк. Сальватор подпрыгнул, ухватился за гребень стены и, медленно подтянувшись на руках, словно гимнаст, стал поднимать тело.

Через секунду он уже сидел верхом на каменной стене.

– Ну, а теперь ваша очередь!

Стоявшие внизу мужчины посмотрели на препятствие.

– Черт возьми! – произнес Жан Торо.

– Как! Ты, плотник, мастер из мастеров, самый умелый из всех?!

– Дьявольщина, если Туссен Лувертюр не побоится, что я его раздавлю, и поможет мне подняться, – сказал Жан Торо, – я смогу попробовать перелезть.

– Я-то не побоюсь! – ответил Туссен Лувертюр.

– Предупреждаю тебя, Туссен, я вешу сто пять килограммов, – сказал Бартелеми Лелон.

– Это чуть больше, чем два мешка угля, – ответил Туссен. – А мне приходилось поднимать и три. А как же потом залезу я?..

– О, как только я поднимусь, тебе не о чем будет беспокоиться.

– Ну, тогда лезь! – сказал Туссен.

И угольщик помог Жану Торо влезть на стену так же, как за четверть часа до этого Сальватор помог сделать это Жюстену и генералу.

Через несколько секунд Жан Торо сидел на стене рядом с Сальватором. Он успел вовремя, поскольку, хотя подъем и длился очень мало времени, Туссен начал уже гнуться под тяжестью гиганта.

– Вот так! – сказал Жан Торо.

Вынув из кармана моток веревки, он сделал на конце что-то вроде петли.

– Держись за веревку, да покрепче, – сказал он Туссену.

Туссен ухватился за конец веревки.

– Держишься? – спросил Жан Торо.

– Да.

– Крепко?

– Крепко, будь спокоен!

– Тогда снимайте, – сказал Жан Торо, – это уже взвешено!

И, подтянув одной рукой руку Туссена, он схватил его за ворот бархатной куртки и поднял до уровня гребня стены, словно тот был маленьким ребенком.

Тут Туссен попытался было ухватиться руками за гребень стены.

– О, это лишнее... – произнес Жан Торо.

И, схватив свободной рукой угольщика между ног, втащил его на стену, опустил вниз ногами по ее другую сторону и отпустил. Тот упал в парк.

Затем, приготовившись последовать за другом, сказал:

– А теперь моя очередь.

Но Сальватор, положив руку на ногу гиганту, заставил его замолчать.

– Слышишь? – спросил он.

– Что?

– Тихо!

Вдали послышался стук копыт скачущей во весь опор лошади.

Стук копыт приближался.

Затем послышалось конское ржание.

Ржала ли это несущаяся галопом лошадь или одна из тех, что были спрятаны вместе с коляской? Единственное, что сумел различить Сальватор, – это тень лошади и всадника, которые начали уже вырисовываться на уровне рожицы, где была спрятана коляска.

Всадник быстро приближался.

– Прыгай, Жан Торо! Прыгай! – крикнул Сальватор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.